

ISSN 0869-4354

Литературный журнал
ДРУГИЕ БЕРЕГА
1-1992

Литературный журнал «ДРУГИЕ БЕРЕГА» 1-1992



Москва

Литературный журнал „ДРУГИЕ БЕРЕГА“

129366, Москва, пр.Мира, д.182-167. Тел.: (095) 286-96-08

Редакция:

Редактор журнала *Галина ГУСЕВА*
Литературный сотрудник *Ася ГУСЕВА*

**ИПО „АВТОР“ на спонсорских началах
осуществляет компьютерный набор журнала**

Операторы: – *Нина КРАВЧЕНКО*
– *Инна МЕЛИКЯН*

Подробности об ИПО „АВТОР“ –
на 3-ей стороне обложки журнала

© Галина Гусева, состав, 1992

Издатель – Редакция „ДРУГИЕ БЕРЕГА“

Подписано в печать 6.08.92 г. Формат 60 x 90/16. Печ. 14 л. Уч.-изд. 15 л.

Тираж 10 000 экз. Заказ № 598. Цена 18 руб.

Отпечатано в Московской типографии № 6.

В номере:

Саша СОКОЛОВ	3
Александр ПУШКИН	9, 46, 55
Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ	12
Вячеслав ПЬЕЦУХ	13
Михаил ГАСПАРОВ	17
Фазиль ИСКАНДЕР	19
Валентин НЕПОМНЯЩИЙ	28, 37
Борис ГРЕБЕНЩИКОВ	43
Александр РАДИЩЕВ	53
Карл МАРКС	60
Андрей КАВАДЕЕВ	63, 67
Гайто ГАЗДАНОВ	80
Владислав ХОДАСЕВИЧ	141
Мадлен САНЧИ (<i>пер. с франц. – Олега Махотина,</i> <i>Валерия Бочарникова</i>)	145
Сергей ВОЛКОНСКИЙ	152
Иван БУНИН (<i>публикация –</i> <i>Алексея Кубрика</i>)	203, 213, 222
Федор СТЕПУН	207
Владимир НАБОКОВ	219
От Редакции	10, 58, 61, 112, 141, 150, 202, 211

Журнал построен по принципу контекста.

Тексты следует один за другим, образуя некий внутренний сюжет, отдельный для каждого журнального номера.

Отказавшись от привычной рубрики и предпочтя ей единую композицию, Редакция опиралась на мысль, что постижение требует, в сущности, не аналитических, то есть расчленяющих усилий, но объемлющего слуха.

Контекст – как аккорд: тоника, доминанта, субдоминанта.

Тоникой этого номера стал Пушкин, „Пиковая дама“.

Редакция

Есть игра. Тот, кто водит, обязан сначала выйти. Оставшиеся загадывают знакомое всем лицо. Возвратясь, водящий задает игрокам вопросы, касающиеся свойств загаданного. Вопросы, как и ответы на них, должны быть аллегоричны, образны. Диалоги строятся по известной схеме. К примеру. Если он или она - река, то какая, может спросить водящий. Если река, то - глубокая, быстрая, могут ответить ему, имея в виду человека глубокого и энергичного. Если звезда, то какая? спрашивает водящий. Если звезда, то - мерцающая, отвечают ему, разумея характер загадочный или непостоянный. Опросив круг участников, водящий по совокупности ответов пытается определить, кто загадан. Массовое увлечение русских этой салонной игрой - следствие того феномена, который неплохо определил Александр Пушкин: Мы, русские, нация литературная. А что нам, русским, известно в этом смысле об американцах? Устная энциклопедия анекдотической этнографии учит нас, что американцы - нация бизнесменов. И слава Богу. У всякого народа - свой путь, своя миссия, и не всем обязательно жить в нищете. Кто-то должен делать деньги, чтобы уделять нуждающимся. Пускай же французы совершенствуются в кулинарии и флирте, англичане - в собаководстве и скачках, немцы - в философии и борьбе за мир; пусть испанцы побивают быков и бренчат по вечерам на гитарах; а русские - те пусть пишут, читают, играют в образы. Чем бы дитя ни тешилось. Будучи типичным представителем своего народа, я занимаюсь литературой жизнь напролет. Пишу с тех пор, как себя помню, и до недавнего времени был уверен, что продолжу писать даже на необитаемом острове. Но вот меня пригласили в один среднезападный колледж в качестве писателя-на-постое. Я пробыл там около года, и уверенность моя пошатнулась. Тот колледж в известном ракурсе стал для меня моделью необитаемого острова. Ни в нем, ни в его окрестностях мне не случилось найти любителей той довольно изящной словесности, в которой я подвизаюсь. Утратив привычное чувство читательского локтя, я

бросил писать и стоял посреди романа, как посреди Небраски. Закончить книгу мне удалось лишь по возвращении на большую землю. Учитывая логику американского индивидуализма, предвижу скептическое: Полноте, так ли уж необходимы чье-то внимание и поддержка, не достаточно ли одного, но зато лучшего читателя - себя самого? На подобный вопрос можно ответить коротко. Но лапидарность хороша при составлении латиногреческих афоризмов, а лекция требует обстоятельности. Поэтому придется начать издалека, а точнее - возвратиться к игре в образы. Я загадал двух русских писателей. Имена их все знают, однако не все, вероятно, знакомы с ними достаточно близко. И хотя я догадываюсь, что вам не терпится поиграть, сегодня я поиграю один. Если бы те писатели были деревьями, то - какими? спрашиваю я себя. И сам себе отвечаю: Тогда одно из них напоминало бы знаменитый дуб из Войны и Мира. Мы видим его глазами Андрея Болконского. Сначала это огромное старое дерево кажется ему мертвым, сухим и олицетворяет собою упадническое настроение князя. Но приходит весна, дуб просыпается к новой жизни и таким образом символизирует духовное возрождение героя. Второе из двух деревьев отсылало бы странным гибридом. Внешне оно напоминало бы трепетный серебристый тополь, хотя листики его были бы клейки, словно у липы. Цвело бы оно на манер петербургской герани или сибирской розы, однако по сути то был бы ядовитый анчар, изуродованный мистралем, самумом, бореєм и другими интернациональными сквозняками. Первое растение называлось бы деревом реализма, второе - деревом модернизма. В парке русской литературы они росли бы на одной аллее, бок о бок, но, по решению главного директора, дереву модернизма регулярно обрубали бы ветви, дабы оно не ветвилось и не цвело, а дерево реализма, наоборот, поощряли бы к размножению. Все это продолжалось бы и после смерти главного директора в 1936 году. Впрочем, пора разгадать загаданных. Дерево реализма - Толстой. Дерево модернизма - Достоевский. Главный директор, именем которого теперь назван парк - Горький. Потомственный мастер на все руки, он смешал реализм Толстого с социализмом Ленина. Став таким образом отцом социалистического реализма, Горький с высоты своего положения объявил, будто литература - не более чем обыкновенное ремесло, и писать прозу, стихи, пьесы - может научиться любой желающий. Так один выдающийся графоман породил множество посредственных. Сочинения эпигонов и бездарей захлестнули редакции. После тяжелых переходных лет количество пишущих сильно увеличилось, отмечал Осип Мандельштам в статье Армия Поэтов. На почве массового недоедания увеличилось число людей, у которых интеллектуальное возбуждение носит болезненный характер и не находит себе выхода ни в какой здоровой деятельности. Пишущие стихи в большинстве случаев очень плохие и невнимательные читатели стихов. Лишенные подготовки, они неизменно обижаются на совет научиться читать, прежде чем начать писать. Никому из

них не приходит в голову, что читать стихи - величайшее и труднейшее искусство, и звание читателя не менее почтенно, чем звание поэта. Это - прирожденные не-читатели. Конец цитаты. Самые амбициозные и пробивные из возбужденных - пробились. Они составили костяк советской литературы, определили ее средний уровень и лицо. В Москве при Союзе Писателей существует Литературный институт. Он тоже назван именем Горького. Однажды в это учебное заведение решил поступить чукча, представитель национального меньшинства, в культурном и географическом отношении близкого алеутам. Как вам не стыдно, восклицает комиссия, выяснив, что абитуриент не прочитал ни единой книги. Чукча не читатель, чукча - писатель, с гордостью отвечает тот. Здесь уместно вспомнить общеизвестную шутку о том, что весь мир делится на писателей и читателей. Но самое смешное, что оба эти анекдота смешны лишь до той степени, после которой печальны. Лет двадцать назад я услышал по радио интервью с Эрскином Колдуэллом. В нем беллетрист признавался, что читает не более книги в год. Соблазн усомниться в искренности его слов был велик: сам я, в те годы студент факультета журналистики, прочитывал около десяти томов в месяц. И я усомнился. Затем, став профессиональным литератором, я осознал, что сомнения мои происходили от недостатка опыта. Дело в том, что чем больше ты пишешь сам, тем меньше читаешь других. Работая по 12-14 часов в день над собственным текстом, по отношению к чужим испытываешь отчетливое раздражение. Они делаются не только неинтересны: они мешают сосредоточиться, отвлекают от творческой медитации. Неприятие чужих текстов неизбежно переносится на их авторов. Не оттого ли в салонах писатели друг на друга взирают волком, а в случае журнальной полемики набрасываются, как шакалы. Но как бы то ни было, это еще победы. Беда же в том, что по мере многократного перечитывания и редактирования своего текста ты от него отчуждаешься и утрачиваешь интимную связь с ним. ЧТО написано - по-прежнему ясно. Однако судить - КАК написано, уже нелегко. Иными словами, теряется свежесть восприятия. Текст становится вещью в себе, делается слепым. Тогда возникает потребность в хорошем читателе. Хороший читатель - это не лишь почитатель. Это - начитанный, чуткий критик, советчик. Это - читатель-друг. Без хорошего читателя невозможен хороший писатель. Творческая среда состоит в основном из читателей высокого класса. Посреди Небраски таких читателей не бывает. А те, кто есть по ее краям, в силу крайнего индивидуализма и разобщенности - среды не образуют. А без среды нет нормального литературного процесса, ибо утрачиваются критерии, утрачивается традиция. Та самая традиция, что в искусстве играет роль истины. Без традиции, без коллективной эстетической памяти, без коллекции старых ценностей - возможно ли создать новые? Традиция - это почва и дух искусства. Из ничего, в пустоте творит один Вседержитель. А

художник, трудясь в Его мастерской, творит, исходя из готового, сработанного Им и прежними Его подмастерьями. Традиция обеспечивает развитие. Другим необходимым его условием видится мне свобода. Она - свет и крылья искусства. В России культурные революционеры во главе с Горьким извратили традицию и аннулировали художественную свободу. В результате в качестве официальной словесности мы имеем продукцию духовных чукчей. В Америке литературная панорама выглядит оригинальней; но - многим ли? Впрочем, мне ли судить? Ведь я человек здесь сторонний. А главное - мне необыкновенно близок Колдуэлл. Близок в том смысле, что я недалеко от него ушел по части расширения кругозора. То есть близок не как писатель, а как читатель. Ожидание Нобеля отнимает все больше времени, а на чтение остается каких-нибудь полчаса перед сном. Причем первые пятнадцать минут уходят на то, чтобы решить, на каком из двух языков читать, а вторые на то, какую взять книгу. Ведь даже в небольшой домашней библиотеке, вроде моей, книг больше, чем кажется высокоумному гостю. Короче, успеваешь прочесть только первую фразу. Что, разумеется, лучше, чем ничего. Особенно если вспомнить, какое значение первой фразе придавали классики. Хемингуэй говорил, что от нее зависит судьба остального произведения. Порою он бился над первой фразой часами. Моя любимая первая фраза у Хемингуэя - та, которой он начинает Праздник, Который Всегда С Тобой. Съев в этой области основательную собаку, я берусь утверждать, что словосочетание: А потом погода испортилась, - одна из лучших первых фраз в литературе столетия. Поражает своим совершенством и первое предложение Моби Дика: Зовите меня Исмаил. Мой принцип: первые аккорды прозы должны звучать, как первая строка стихотворения. Вот почему начальную фразу данной лекции я заимствовал из стихотворения Александра Блока, которое начинается так: Есть игра. Осторожно войти... Конец цитаты. Проза поэтов бывает прекрасна именно потому, что они умеют прекрасно начать. Автобиография Маяковский - Сам начинается так: Я - поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу. Другой русский стихотворец, Андрей Вознесенский, начинает свое эссе о великом испанском поэте столь же блестяще: Люблю Лорку. Все процитированные фразы столь равно хороши, что кажется - они одного пера. Да, в сущности, так и есть. Ибо их мерцающий блеск - это отблеск общей для призванных путеводной звезды - загадочной Искры Божьей. Чтобы убедиться в моей правоте, сравните свечение каждой из них с тем, которое мы наблюдаем в первой строке богочеловеческой Библии: В начале сотворил Бог небо и землю. А я тем временем сравню первую фразу прозаического произведения с нотой, взятой настройщиком на камертоне, с символическим ключом, которым определяют тональность грядущей музыки. Первую фразу можно назвать словесным ключом от крепости формы. Ключом, отвечающим на вопрос: Каким образом? Ключом в виде краткого слова: Как. Вид этого

инструмента ласкает мне взор. Ведь я произошел из той литературной среды, где Как стократно важнее и лелеемей, нежели Что. Возможно, найдутся педанты, которые не примут на веру мои недомолвки и спросят, что такое КАК и что такое ЧТО. Я не готов дать четких определений. Наоборот, в разговоре про Что и Как мне хотелось бы некоторой размытости. Кстати, размытость как метод мировосприятия и способ его отражения лежит в основе моего любимого направления в искусстве и литературе. Я говорю, разумеется, об импрессионизме. Пожалуй, единственно четкое и определенное, что можно усмотреть в работах импрессионистов, - это протест против четкости и определенности. Это протест против узаконенной узости норм и правил. Это воплощенное в красках и слове бегство из постылой обители Что - на феерический карнавал ключевого слова. Это парение юной мятежной души поверх барьеров. Душа абстракциониста уносится все выше и дальше. Нам не терпится воспарить следом, но, к сожалению, нас удерживает якорь логоса. И пусть размыто - но нам предстоит ответить за свои слова. Разговор про Что и Как - отзвук извечной дискуссии между материалистами и идеалистами. Что первично, спорят эти философы, - материя или дух? Заменяв материю понятием Что, а дух понятием Как, мы получим формулу нашей проблемы. Очевидные поборники последнего в искусстве - Кандинский, Флобер, Рембо, Джойс, Шостакович и другие идеалисты. Странники Что - это социалистические реалисты и капиталистические примитивисты. Это люди, работающие во злобу дня, выбирающие модные темы. Типичные их представители - Джеймс Митчнер и мой сосед Дуглас Терман, автор увлекательных романов про ядерную войну. Это люди, составляющие свои сочинения на компьютере и уверенные, что предмет их активности - литература. В подтверждение своим размытым умозаключениям мне хочется привести цитату из романа первого русского нобелианца Ивана Бунина - Жизнь Арсеньева. Творчество Бунина, которого я осмеливаюсь считать своим учителем, отвечает на вопрос Как. И герой его романа, молодой писатель, хочет посвятить себя именно такому творчеству. Цитирую по памяти. Я заходил в извозчицью чайную, сидел в ее людном и парном тепле, смотрел на мясистые лица с рыжими бородами, на ржавый и шелушащийся поднос, на котором стояли передо мной два больших чайника с мокрыми веревочками, привязанными к их крышкам и ручкам. Наблюдение народного быта? Ничуть не бывало. Наблюдение только этого подноса, только этих мокрых веревочек. Писать! Вот о крышах, галошах, спинах надо писать, а не для того, чтобы бороться против тирании и несправедливости, защищать несчастных и угнетенных. Конец цитаты. В той среде откуда я родом, в той школе живы традиции так называемого чистого искусства. Я говорю - так называемого, потому что искусство чисто по определению, и грязного искусства быть не может. В той школе писать черновик на машинке или компьютере почитается

неслыханным моветоном. Простите, что я так настойчив, но искусство должно быть прекрасным. И проза - да будет изящна и максимальна, подобно поэзии. Простите, но я сомневаюсь, что на компьютере можно писать максимальную прозу. Сиюминутную, полугазетную - да. Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи, говорит хороший хозяин. А я, говорит хороший прозаик, не настолько вечен, чтобы писать сиюминутную прозу. И я не буду писать на компьютере романов своих. Достаточно того, что все время приходится читать компьютерные романы. Верней, не все время, а перед сном. И не романы, а первые их предложения. В первый день я не сочла это забавным. (Нора Эфрон, Ожог Сердца). Джон Джоел сидел высоко на дереве, на том высоком, что во дворе. (Энн Витти, Становление). Это рассказ о встрече двух одиноких, худых и довольно старых белых мужчин на планете, которая быстро гибнет. (Курт Воннегут, Завтрак чемпионов). 24 октября 1944 года планета Земля послушно следовала своей орбитой вокруг Солнца, как она делала это прежде на протяжении почти пяти миллиардов лет. (Джеймс Митчнер, Космос). Вялость, серость, необязательность - вот качества, отличающие эти образчики. Если автор не знает, как выстроить первую фразу, ожидать откровений в последующих не приходится. Виноват, но мне, максималисту, необходимы в ней: звук, поиск, всплеск, искус, изыск, посыл. Предъявите мне ваше Как - пропуск в истинное, а Что - уберите, Что - я придумую сам. Мысля так, я закрываю книгу, глаза и засыпаю сном олимпийского чукчи. Мне снится, что на дворе - последняя четверть двадцатого века. За минувшую сотню лет в балете, в живописи, в скульптуре, в музыке, на театре, в архитектуре имели место невероятные формалистические дерзания, произошло обновление принципов, методов, средств. Все искусство переродилось и соответствует своему времени: все - за исключением словесности. Она не воспринимается более как блестящая светская дама. С ней приключилось печальное. На старости лет она пошла по рукам и вышла на панель Голливуда. Она одряхла и подурнела и питается манной кашей. За нею не посылают авто, и она по-прежнему ездит на паре гнедых одров, запряженных зарей реализма, до изобретения электричества и потока сознания. И все это происходит в стране, где Горький побывал лишь проездом, где никто никогда не рубил ветвей древу модернизма, и алеуты, как ни в чем не бывало, занимаются своим делом. Пытаясь принять участие в потерпевшей, я решаю дать объявление в газету. Униженной и оскорбленной срочно требуется возвышенное, общее выражение лица. Звонить в любое время. Спросить Литературу. Бегу по редакциям. Однако редакции заперты и на всех дверях - одна и та же табличка: Все ушли в писатели. Пытаюсь проснуться - вотще. Ведь у литературных кошмаров на редкость цепкие когти. В отчаянии порываюсь вспомнить какую-нибудь молитву, но вместо молитвы на ум приходит первая иоаннова фраза. И без усталости повторяю:

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И всякий раз добавляю: Да будет.

I

Пиковая дама означает тайную недоброжелательность.

Новейшая
гадательная книга

А в ненастные дни
Собирались они
Часто;
Гнули - Бог их прости! -
От пятидесяти
На сто,
И выигрывали
И отписывали
Мелом.
Так, в ненастные дни,
Занимались они
Делом.

Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом, прочие, в рассеянности, сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие.

- Что ты сделал, Сурин? - спросил хозяин.

- Проиграл, по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив: играю мирандолом, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь!

- И ты ни разу не соблазнился? ни разу не поставил на руте?.. Твердость твоя для меня удивительна.

- А каков Германн! - сказал один из гостей, указывая на молодого инженера, - отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного паролы, а до пяти часов сидит с нами и смотрит на нашу игру!

- Игра занимает меня сильно, - сказал Германн, - но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее.

- Германн немец: он расчетлив, вот и все! - заметил Томский. - А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка графиня Анна Федотовна.

- Как? что? - закричали гости.

- Не могу постигнуть, - продолжал Томский, - каким образом бабушка моя не понтирует!

- Да что ж тут удивительного, - сказал Нарумов, - что осьмидесятилетняя старуха не понтирует?

Александр Пушкин. Пиковая дама
По: "А. С. Пушкин. Собр. соч. в 10 т.", т. 5, изд. "Худ. лит.", М., 1976

- Так вы ничего про нее не знаете?

- Нет! право, ничего!

- О, так послушайте:

Надобно знать, что бабушка моя, лет шестьдесят тому назад, ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтобы увидеть la Venus moscovite. Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости. (Продолжение следует.)

Ч и т а я "П и к о в о ю д а м у"

"Он проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы: было без четверти три. Сон у него прошел; он сел на кровать и думал о похоронах старой графини.

В это время кто-то с улицы взглянул ему в окошко, - и тотчас отошел. Германн не обратил на то никакого внимания..."

Он не обратил внимания? Значит это не померещилось ему, это не из-за расстроенных нервов. Это было на самом деле. А он не обратил внимания. Из-за расстроенных нервов как раз и не обратил? А кто обратил? Рассказчик? Александр Пушкин? Так ведь и рассказчик - не очевидец: это из текста ясно. Кто этот Очевидец? Кто все видел и рассказал Пушкину? Или показал? Комнату в лунном свете, Германна, не замечающего, что к нему уже заглянули в окошко. Удостоверились и тотчас отошли.

Первое ощущение от "Пиковой дамы" еще в детстве - мерцание смысла, какой-то фундаментальный намек.

Об этом же, уже теперь, говорил мне Валентин Непомнящий: академик В.В.Виноградов заметил странную редукцию первой фразы "Дамы".

"Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра..."

Кто играл в карты и потом сел ужинать? "Мы" или "Они"? От чьего лица идет рассказ? Очевидец себя не обнаруживает.

Или вот еще другая вещь, конечно, субъективная (но кто же читает книги объективно? и что это за литература, которая позволяет себя объективно читать?), так вот - старая графиня. Вздорная старуха, размалеванный труп и все прочее, что мы знаем о ней из оперы и с точки зрения приживалки-Лизы.

Графиня и Германн, молодой мужчина, дельный (разночинная добродетель и само слово из разночинного обихода очень ему подходят), не вздорный и не размалеванный. Вот они оказываются один на один. И что же? Кто смешон, а кто - обаятелен? В ком - жизнь, а кто полутруп?

"- Вы можете, - продолжал Германн, - составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить: я знаю, что вы можете угадать три карты сряду..."

Германн остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали; казалось, она искала слов для своего ответа.

- Это была шутка, - сказала она наконец; - клянусь вам! это была шутка!

- Этим нечего шутить, - возразил сердито Германн. - Вспомните Чаплицкого, которому помогли вы отыгаться".

Ну, и так далее. Как себя вел Германн - ясно.

А вот - графиня? Что замерцало в этих словах, последних в ее жизни? "Это была шутка, клянусь вам! это была шутка!"

Мелькнула правда? Была красавица. И она играла. И однажды крупно проигралась. Зато нелюбимый муж, живший постоянно в ее тени, впервые получил возможность отыгаться. Он и отыгрался - не дал денег. Ей помог Сен-Жермен, очень богатый и очень таинственный человек. Чем помог - деньгами? Это выглядело бы уж очень щекотливо. И тогда они вдвоем изобрели шутку, которая объясняла появление у графини этих денег... Шутка была так талантлива, что прижилась и не забылась.

А потом графиня еще один раз пустила ее в ход. Но не для детей и не для внуков, естественно, хоть и они и проигрывали, и проигрывались, а для Чаплицкого...

Знаменитая тайна касалась не карт и не денег, а она касалась любви? И разве можно объяснить все это вульгарному молодому человеку, который ворвался к ней в спальню среди ночи, не имея уважения ни к полу, ни к возрасту. Ползает на коленях, грозит пистолетом: чужой выигрыш ему покоя не дает... Впрочем, она попыталась: "Это была шутка, клянусь вам!" Но он, конечно, не понял. Был бы он способен это понимать - была бы и другая история.

Могло быть все так? Мне кажется, что похоже.

Но сколько обаяния в этой старухе! Как в ней блеснула вдруг еще одна талантливая шутница, еще одна любимая героиня детского чтения - барышня-крестьянка...

И вот, по мере сил восстановив непредвзятые впечатления азартного первого чтения, редакция уже теперь вознамерилась выяснить, пусть даже и только для себя одной, действительно ли есть это мерцание в "Даме", известной больше в виде оперного либретто?

С этой целью, изобретая три вполне неглупых и в духе дня вопроса, годных для начала беседы, редакция обратилась с ними к уважаемым ею людям. Среди них и писатели разных поколений, и бесстрашный ученый, и блестящий пушкинист.

Вот эти три позиции:

1. "Пиковая дама", единственное произведение Пушкина, в котором он настойчиво, несколько раз на протяжении текста, упоминает профессию героя. Германн - инженер. Военный инженер из немцев.

Не предощущал ли Пушкин наступление практического, излишне рационального мышления, ущербного и разрушительного. Ведь, рассчитав так точно свою жизнь, Германн закончил ее в сумасшедшем доме. Не тот ли это просчитанный сумасшедшим бухгалтером сумасшедший дом, в который все мы угодили?

И может быть из Германна вышла потом огромная литература? И базаровский нигилизм, и Раскольников (это ведь Германн - первый "убийца старушек" у нас).

2. В среде, скажем так, интеллектуалов утвердилось пренебрежительное отношение к остроумной литературе. Это как бы второй сорт, "бульварщина".

Редакция усомнилась: так ли уж занимательность, даже авантюристность сюжета, анекдота, а именно таков сюжет "Дамы", исключает глубину? И всегда ли глубокомысленна честная скука? Уж не в таланте ли все дело?

3. И еще одно. Об орфографии и языке. Может быть следует печатать Пушкина так, как он писал? То есть в старой орфографии. Редакция убеждена, возможно и ошибочно, что введение в 18-ом году нового правописания с отменой ряда букв русского алфавита способствовало сползанию произношения, вслед за ним и языка, и мышления. Упрощение может быть и облегчило правописание, приблизило его к возможностям троечника, но все ли хорошо, что легко?

Первая языковая реформа была предпринята Петром: церковная азбука была заменена гражданской.

Вторая, та самая, была в 18-ом году. Тогда же была организована постоянная специальная комиссия, чтобы продолжать начатое. С тех пор комиссия работает бесперебойно. Реформы следуют, готовится очередная. Боюсь, они посещают нас гораздо чаще, чем происходит, скажем, смена оборудования в нашей промышленности. Горняки Донбасса могут быть спокойны - не успеют они получить и освоить новые машины, как уже будут снова переучиваться писать по-русски.

Итак, вооружившись тремя этими позициями, понимая прекрасно, что любую из них можно спрямить до прямой глупости, ибо "...нет истины, где нет любви", редакция приступила к собеседованиям под магнитофон.

Андрей Вознесенский

Пушкин - график. И, конечно, пиковка, изображение пики по отношению к Германну - это маленький чугунный бюст Наполеона, это силуэт Наполеона в шляпе на белой стене - отсюда появилась пиковка.

Я думаю, что для Пушкина это олицетворение зла - магического, обаятельного, завораживающего...

"Тройка", "семерка" и - туз... Это и предвидение кинематографа - размножающиеся пиковки, фокусирующиеся в одну, в туз. Германн как бы ждал зеркала, своего отражения: туза. Потому что он сконцентрирован только на самом себе.

Безусловно, что прагматическое, математическое начало - этот зародыш есть в Германне. Но мы идем от графики: пиковка - в ней и черный квадрат Малевича, тоже на белом - символ техницизма XX века. Ведь опорная линия пиковки - квадрат.

Для поэта слово - не только звук, но и графический знак: пиковка стала квадратом.

Для поэта начертание слова очень важно. Поэт не только слышит, но и видит слова. В этом случае вся литература XIX века была оскоплена для нас - мы не т а к ее читаем.

Произношение наше безусловно потеряло с введением новой орфографии.

Сельвинский восполнял недостаточность новой орфографии, вводя в текст дополнительный синтаксис, запятое, музыкальные знаки – это попытка не потерять в произношении, в музыкальной выразительности языка.

И эта (у Пьецуха) ссылка на Блока, который слово "сад" не воспринимал без "ер" на конце... Блок, конечно, видел в этом "ер" рисунок решетки Летнего сада – там ведь в орнаменте – эта перевернутая буква.

И когда советская власть снимала с Кремля орлов, она снимала и эту букву: это все к тому же – мы потеряли очень много психологического. И когда мы плачем об утрате моральных ценностей, – они ушли вместе с буквой "ять".

Сейчас возникло много репринтных изданий в старой орфографии, она не мешает людям читать и понимать. И когда я читаю "Слово о полку Игореве" даже и на древнерусском – это не очень трудно.

Упростить можно все, можно и Рембрандта перевести в черно-белое изображение... Все можно.

О сюжете. Сюжет всегда есть. Иногда авантюрный, внешний. Иногда, как в "Улиссе", – сюжет ритма, цвета.

Безусловно, когда Достоевский говорил, что весь он вылез из какого-то рукава гоголевской "Шинели", – это не совсем точно.

Он вылез и из черной дыры "Пиковой дамы". Достоевский и авантюрен, детективно-сюжетен.

И это из черной дыры пиковки вылез "Мастер".

Магия, обаяние черной дыры нас и сегодня тянет...

Вячеслав Пьецух

– Провозвестником будущих базаровых и раскольниковых Германн мне не кажется. Он скорее фигура, не имевшая продолжения в нашей литературе, в дальнейшем не разработанная. Пушкин, по-моему, закинул нам удочку, подбросил тему, а мы не разглядели.

По-моему, центральный персонаж и тема так могут быть определены: Германн жертва России, русского способа существования.

Деловой человек, умеющий организовать свою жизнь, подчинить ее пусть низменной, но цели, – ведь формула всей европейской философии: дешево купить и дорого продать, других нет, – и вот такой человек, Германн, оказывается в стране, где результат деятельности неадекватен протоимпульсу. Так и Столыпин, желая капитализовать сельское хозяйство, получил в итоге Октябрьскую революцию.

– *"...на чужой манер хлеб русский не родится?"*

– Германн попал в страну, где писатель, направляясь на

заседание своего литобъединения, попадает не на это заседание, а под трамвай. Потому что какая-то Аннушка пролила подсолнечное масло.

- *Приблизительно под этот трамвай попал и Германн.*

- Именно. Теперь что касается сюжета и жанра. Мы имеем дело с гением, непосредственным детищем Господа Бога. Это Гегель в свое время сказал, что гений - доверенное лицо Мирового Духа. Так что когда гений рассказывает и банальную, в сущности, историю, получается шедевр.

Высшее проявление писательского гения - это абсолютно простая история, рассказанная от начала до конца очень просто. Она снабжена естественными обстоятельствами любого рассказа: завязка, кульминация, развязка, - а в результате мы получаем абсолютное волшебство. Волшебство - волшебное превращение количества слов в качество откровения. Между прочим, именно так и сделаны "Тарантас" Гоголя, "Степь" Чехова... Все это истории достаточно банальные, а между тем это проза мирового значения.

Относительно орфографии, старого правописания. Стоит ли печатать Пушкина так, как он писал? - Мне это мешало бы, глаз будет цепляться - я боюсь, это будет мешать читателю.

Хотя Блок и жаловался, что слово "сад" без буквы "ер" на конце для него не сад.

(Продолжение.) Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости.

В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить.

Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня; однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счета, доказал ей, что в полгода они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости.

На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений; думала усовестить его; снисходительно доказывая, что долг долгу розь и что есть разница между принцем и каретником. - Куда! дедушка бунтовал. Нет, да и только! Бабушка не знала, что делать.

С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за Вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского

камня, и прочая. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих Записках говорит, что он был шпион; впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят о нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть. Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать.

Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность.

Сен-Жермен задумался.

"Я могу вам услужить этой суммою, - сказал он, - но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство: вы можете отыгаться". - "Но, любезный граф, - отвечала бабушка, - я говорю вам, что у нас денег вовсе нет". - "Деньги тут не нужны, - возразил Сен-Жермен: - извольте меня выслушать". Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал...

Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал:

- В тот же самый вечер бабушка явилась в Версали, au jeu de la Reine [на карточную игру у королевы (франц.)]. Герцог Орлеанский метал; бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другою: все три выиграли ей соника, и бабушка отыгралась совершенно.

- Случай! - сказал один из гостей.

- Сказка! - заметил Германн.

- Может статься, порошковые карты? - подхватил третий.

- Не думаю, - отвечал важно Томский.

- Как! - сказал Нарумов, - у тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не перенял у ней ее кабалистики?

- Да, черта с два! - отвечал Томский, - у ней было четверо сыновей, в том числе и мой отец: все четыре отчаянные игроки, и ни одному не открыла она своей тайны; хоть это было бы не худо для них и даже для меня. Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он меня уверял честью. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл - помнитесь Зоричу - около трехсот тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то сжалилась над Чаплицким. Она дала ему три карты, с тем, чтоб он поставил их одну за другою, и взяла с него честное слово

впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю: они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту пятьдесят тысяч и выиграл соника; загнул пароли, паролипе, - отыгрался и остался еще в выигрыше... Однако пора спать: уже без четверти шесть.

В самом деле, уже рассветало: молодые люди допили свои рюмки и разъехались.

II

- Il paraît que monsieur est décidément pour les suivantes.
- Que voulez-vous, madame?
Elles sont plus fraîches.

[*"Вы, кажется, решительно предпочитаете камеристок".*
- *"Что делать, сударыня? Они свежее" (франц.).*]

Светский разговор

Старая графиня*** сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохранила все привычки своей молодости, строго следовала модам семидесятых годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и шестьдесят лет тому назад. У окошка сидела за пальцами барышня, ее воспитанница.

- Здравствуйте, grand'maman, - сказал, вошедши, молодой офицер. - Bon jour, mademoiselle Lise. Grand'maman, я к вам с просьбою.

- Что такое, Paul?

- Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привезти его к вам в пятницу на бал.

- Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь. Был ты вчера у***?

- Как же! очень было весело; танцевали до пяти часов. Как хороша была Елецкая!

- И, мой милый! Что в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна?.. Кстати: я чай, она уж очень постарела, княгиня Дарья Петровна?

- Как постарела? - отвечал рассеянно Томский, - она лет семь как умерла.

Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть, для нее новую, с большим равнодушием.

- Умерла! - сказала она, - а я и не знала! Мы вместе были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то государыня...

И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот.

- Ну, Paul, - сказала она потом: - теперь помоги мне встать. Лизанька, где моя табакерка?

И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышнею.

- Кого это вы хотите представить? - тихо спросила Лизавета Ивановна.

- Нарумова. Вы его знаете?

- Нет! Он военный или статский?

- Военный.

- Инженер?

- Нет! кавалерист. А почему вы думали, что он инженер?

Барышня засмеялась и не отвечала ни слова.

- Paul! - закричала графиня из-за ширмов, - пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних.

- Как это, grand'taman?

- То есть такой роман; где бы герой не давил ни отца, ни матери и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников!

- Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?

- А разве есть русские романы?.. Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли! *(Продолжение следует.)*

Ч и т а я " П и к о в у ю д а м у "

Михаил Гаспаров.

От Михаила Гаспарова редакция получила ответы в письменном виде.

1. В "Пиковой даме" герой - инженер, немец, прагматик и в результате убивает старуху; не предтеча ли он Базарова и Раскольниковова?

- Германн - романтический герой; его прагматизм - лишь малая часть его душевного мира, который рисуется как подавленно-страстный. Главное в позиции этого романтического героя - самоутверждение и вызов своей судьбе. Ближайший литературный родственник - герой "Красного и черного" и сверстные ему кандидаты в Наполеоны (об этом много написано). Раскольников - тоже кандидат в Наполеоны и, если угодно, может считаться "потомком" Германна (и многих, многих ему подобных); связи Достоевского - особенно раннего, но не только раннего - с романтической традицией хорошо изучены. Но если он и потомок, то без гена прагматизма: эта черта в нем подчеркнута еще меньше, чем в Германне, и свое преступление он совершает не с практической, а с экспериментально-психологической целью. А с Базаровым у Германна родство еще более дальнее. Он задуман как герой антиромантический и поэтому изображен действительно прагматиком. Но зато именно поэтому он свободен от претензий быть Наполеоном: он утверждает не себя, а все свое поколение - "детей" своих отцов. Что отцы эти были в молодости романтиками, напоминает фигура Аркадия, их наследника. Разумеется, в Базарове прорываются и самоутверждение, и сильные страсти, но не в

большей мере, чем в Германне – прагматизм: лишь для оттенения и намека на добавочную глубину и сложность. Можно ли сказать, что романтический герой был предтечей романтического героя, вывернутого наизнанку? Я бы не решился. Конечно, сам реализм XIX в., одним из героев которого был Базаров, являлся лишь гипертрофированным отростком того же романтизма; но это уже слишком далеко от "родства" двух конкретных литературных персонажей.

2. В "Пиковой даме" много примет бульварного жанра – призраки, игра, подмигивающая с карты старуха; не значит ли это, что занимательный сюжет и философская глубина – вещи, вполне совместные?

– Во-первых, о "бульварности" этих примет говорить рано: они были приметами вполне серьезной, элитарной романтической литературы, еще далеко не девальвированной в бульварщину. Так и "Робинзон Крузо", и романы Вальтера Скотта были серьезной литературой и лишь потом стали детским чтением: судьба всех произведений, отслуживших свой срок, – быть уцененными, если только им не посчастливится получить репутацию шедевров, которая изолирует их золотой рамкой от историко-литературного контекста. Во-вторых и в главных: философская глубина сплошь и рядом не содержится в тексте произведения, а примысливается к нему читателями – современниками и особенно потомками. Пушкин отнюдь не предлагает читателю видеть в "Пиковой даме" философскую или историко-психологическую притчу – он рассказывает свою повесть как занимательное происшествие и только, интонация его – сторонняя, часто ироническая. (Достаточно сравнить это с "Героем нашего времени", активно приглашающим читателя к сопереживанию и к размышлению о геройстве и о времени, – и разница станет ясна. Впрочем, и Лермонтов вставляет дневник Печорина в объективно-авторскую рамку, и Пушкин редкими перебивками предлагает читателю несобственно-прямые чувства своего героя, – но и то и другое лишь для оттенения.) Примысливание вечных философских проблем (вечными каждая эпоха считает, как известно, только свои проблемы) постигает именно те произведения, которые исторической случайностью признаны шедеврами, вырваны из контекста и этим отданы на произвол непредвиденного потребителя, – так называемый золотой фонд мировой классики. Выбор их определяется, повторяю, только исторической случайностью (точно так же, как победа той или иной тенденции в такой-то литературный момент может определяться случайностью рождения такого-то талантливого писателя) – "Гамлет" ничуть не более предрасполагает к философскому осмыслению, чем любая другая трагедия шекспировской эпохи. Доказательство относительности таких канонизаций – бесконечные ниспровержения литературных кумиров и утверждение новых (или забытых старых).

3. Не следует ли печатать "Пиковую даму" по старой орфографии? Может быть, переход на новую орфографию был толчком к сползанию нашего языка и мышления в худшую сторону?

- В академических изданиях следует печатать произведения по орфографии их времени, а в массовых можно переводить на новоупотребительную - так делается во всем мире. Конечно, с переменной орфографии в старых текстах кое-что теряется: печатая слово "он" (о Христе) с маленькой буквы, мы обесмысливаем некоторые фразы Достоевского и других авторов, а отменяя "ять", заставляем многие рифмы начала XIX в. казаться более неточными, чем они были. Но говорить о "сползании к худшему" можно только при простосердечном убеждении, что все старое хорошо, а все новое плохо, - убеждении, таком же ложном, как и противоположное. Язык развивается, и орфография медленно следует за ним. Оттого, что при Вольтере произошла реформа французского правописания, французская литература XIX в. не стала хуже, и переход с церковной азбуки на гражданскую при Петре I не помешал явиться Пушкину. Когда меня спрашивают: "Как правильно говорить - или писать - то-то и то-то?" - я отвечаю: "В XIX веке правильно было только так-то, а в XXI веке будет только так-то; а вы в нашем веке выбирайте по вашему усмотрению". Ни из чего не следует делать культа, а из орфографии и подавно.

Фазиль Искандер

- Я думаю, что Пушкин подсознательно, может быть даже и не задумываясь над этим специально, предугадал путь человека моноидеи, отсутствия равновесия, гармонического отношения к жизни.

Это наличие единственной страсти - уже признак ненормальности. Пушкин сам был ведь человеком на редкость разносторонним, гармоничным беспредельно. А этот доминирующий рационализм... Кстати, ведь шизофреникам свойственна эта разумность, рациональность. Они как-то все прекрасно рассчитывают, а одного чего-то не учитывают. Так вот и Ленин - все прекрасно рассчитал, одного только не учел, что человек совсем другой.

Однако у Пушкина, я думаю, была такая мысль, что жить одной какой-то идеей есть признак безумия. И приведет к безумию.

- Теперь так. Был ли Пушкин религиозным человеком, имел ли религиозный взгляд на человека и историю.

- У него всегда, даже и в юности, хотя он был воспитан на Вольтере, была стихийная религиозность. Это читается в любом его тексте. Эта религиозность выражалась в форме приятия Божьего мира.

- С этой точки зрения вся история в "Пиковой даме" - цепь нарушений главных заповедей.

Не отдает ли она духом святочных рассказов, обаянием нянинных сказок с леденящим душу, замогильным преступлением в начале и твердой рукой провидения в конце. Возмездие не размыто, не умозрительно - оно происходит с ясностью закона природы. Я думаю, что сюжет "Пиковой дамы" религиозен в самой основе. И изложен с нарочитым отзвуком "няниной сказки", рассказанной светским человеком.

- На мой взгляд, это романтическое призведение с призраками, клятвами, мрачными ночами... Но это романтизм как бы и спародированный. Излишняя легкость есть в этом рассказе для традиционного романтизма - она-то и дает ощущение спародированности жанра.

Эта история написана как бы с верхней точки. Это взгляд сверху, аристократический взгляд. Это очень важно. Пушкин как бы не дает себя увлечь страстями этих людей - в высшем аристократическом смысле это было бы неприлично... Он ироничен.

- Историю об инженере, его предприимчивости и самолюбивых страстях он рассказывает насмешливо, играя. Так же, как и в "Выстреле" герой, играя, пришел на дуэль - помните? - с черешнями.

- Это у Пушкина была такая дуэль. Это автобиографично.

- Да. А завистник Сильвио на всю жизнь оскорблен этим веселым высокомерием.

Слово "высокомерие" имеет сегодня негативное значение. Высокомерие - это плохо. Мы забываем значение слов, которыми пользуемся. А язык мудр. В слове заключен опыт нации. Ведь что такое высокомерие? Это - высокая мера. Так ли уж это плохо? А в паре с этим словом стоит слово "снисходительность". Снисходительность, то есть мягкость, способность простить. А ведь быть снисходительным, то есть снизить, можно только сверху, с высокой точки, с высокой меры. Снисходителен - высокомерный. Мстителен - низкий.

- Если просто вдуматься в истоки слов, много откроется философского смысла. Вот слово "дерзость". Вы знаете, оно ведь изначально имело резко отрицательный смысл: дерзость - холопское свойство. Надерзил - значит нахамил. За что его и отправляли на конюшню. А потом это слово и это свойство стало как бы доблестью.

- Холопской доблестью.

- Она и осталась холопской. Но в нашем, может быть очень извращенном и загрязненном сознании бытует как уже и бесспорная доблесть. Помните, у Бальмонта - "Хочу быть дерзким..."

- Многие тогда хотели "быть дерзкими". Как, впрочем, и сейчас.

- И тоже ведь, по сути, холопство.

И еще одно соображение. "Пиковая дама" - произведение, ничего общего не имеющее с привычным нам уже психологизмом. Это допсихологическая литература. Вот сколько страниц понадобилось бы Достоевскому, чтобы описать, что чувствует

Германн, тайно входя в чужой дом с крайне сомнительными целями? Сколько понадобилось ему страниц, чтобы описать состояние Раскольникова накануне убийства процентщицы? А Пушкин это делает прямо, просто, на одном дыхании...

- *Берет барьер, как всадник...*

- Да. Это свойство воспитывалось в них. Это считалось плохим тоном - слишком много рассуждать. Что-то е с т ь в этом отсутствии излишнего психологизма, в прямом и сильном движении. Что-то от Возрождения.

- *А знаете, я как-то с опаской отношусь именно к Возрождению. Не тогда ли, во времена городского, буржуазного, то есть мещанского бунта утвердился мещанский же, плебейский идеал бунтаря, ниспровергателя, мстителя?*

И не зависть ли мещанина за всем этим? Не корень ли всех наших сегодняшних приключений?

- Я имею в виду догамлетический характер.

Ну, а что касается прежней орфографии, я считаю, что современному читателю надо давать тексты в современной орфографии. Если, конечно, вы не ставите себе глобальной задачи вернуть прежнее правописание.

- *Мы и даем тексты в новой. Не потому что этот вопрос снят с обсуждения, а из-за технических трудностей в данный момент. А все же, как отнеслись бы вы к постановке глобальной, как вы выразились, задачи.*

- Я думаю, это бессмысленное занятие. Новая орфография стала привычной. Всеми освоена. Язык, действительно, испортился, но причиной не правописание.

- *Не только правописание.*

- Мандельштам, Пастернак, Булгаков, Платонов писали в новой орфографии.

- *Но учились они по старой, это уж точно.*

- Значит переучились.

- *Великая русская литература была написана по другим правилам, уже при моей жизни - в пятидесятом, шестидесятом, семьдесят пятом году эта великая литература продолжала создаваться по прежним правилам, я имею в виду Бунина, Набокова, других. Я чувствую себя как бы выставленной за дверь. Это не их за дверь выставили. Это нас.*

- Напрасно, напрасно. Солженицын пишет в новой.

- *Будучи выставленным за дверь?..*

(Продолжение.)...- пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних.

- Как это, grand'taman?

- То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников!

- Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?

- А разве есть русские романы?.. Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли! - Простите, grand'taman: я спешу...

Простите, Лизавета Ивановна! Почему же вы думали, что Нарумов инженер?

И Томский вышел из уборной.

Лизавета Ивановна осталась одна: она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки: она принялась опять за работу и наклонила голову над самой канвою. В это время вошла графиня, совсем одетая.

- Прикажи, Лизанька, - сказала она, - карету закладывать, и поедем прогуляться.

Лизанька встала из-за пьезцев и стала убирать свою работу.

- Что ты, мать моя! глуха, что ли! - закричала графиня. - Вели скорей закладывать карету.

- Сейчас! - отвечала тихо барышня и побежала в переднюю.

Слуга вошел и подал графине книги от князя Павла Александровича.

- Хорошо! Благодарить, - сказала графиня. - Лизанька, Лизанька! да куда ж ты бежишь?

- Одеваться.

- Успеешь, матушка. Сиди здесь. Раскрой-ка первый том; читай вслух...

Барышня взяла книгу и прочла несколько строк.

- Громче! - сказала графиня. - Что с тобою, мать моя? с голосу спала, что ли?.. Погоди: подвинь мне скамеечку; ближе... ну!

Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула.

- Брось эту книгу, - сказала она, - что за вздор! отошли это князю Павлу и вели благодарить... Да что ж карета?

- Карета готова, - сказала Лизавета Ивановна, взглянув на улицу.

- Что ж ты не одета? - сказала графиня, - всегда надобно тебя ждать! Это, матушка, несносно.

Лиза побежала в свою комнату. Не прошло двух минут, графиня начала звонить изо всей мочи. Три девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую.

- Что это вас не докличешься? - сказала им графиня. - Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду.

Лизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпке.

- Наконец, мать моя! - сказала графиня. - Что за наряды! Зачем это?.. кого прельщать?.. А какова погода? - кажется, ветер.

- Никак нет-с, ваше сиятельство! очень тихо-с! - отвечал камердинер.

- Вы всегда говорите набум! Отворите форточку. Так и есть: ветер! и прехолодный! Отложить карету! Лизанька, мы не поедем: нечего было наряжаться.

"И вот моя жизнь!" - подумала Лизавета Ивановна.

В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени

чужого крыльца, а кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи? Графиня***, конечно, не имела злой души; но была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу, разбурьянная и одетая по старинной моде, как уродливое и необходимое украшение бальной залы; к ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо. Многочисленная челядь ее, разжирев и поседев в ее передней и девичьей, делала что хотела, наперерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицею. Она разливала чай и получала выговоры за лишний расход сахара; она вслух читала романы и виновата была во всех ошибках автора; она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалованье, которое никогда не доплачивали; а между тем требовали от нее, чтоб она одета была, как и все, то есть как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали и никто не замечал; на балах она танцевала только тогда, как недоставало vis-a-vis, и дамы брали ее под руку всякий раз, как им нужно было идти в уборную поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя, - с нетерпением ожидая избавителя; но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостоивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была сто раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, клеенные обоями, комод, зеркальце и крашенная кровать и где сальная свеча темно горела в медном шандале!

Однажды - это случилось два дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились, - однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пальцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой; через пять минут взглянула опять - молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около двух часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пальцы и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было, - и она про него забыла...

Дня через два, выходя с графиней садиться в карету, она

опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бровным воротником: черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым.

Возвратясь домой, она подбежала к окошку, - офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза: она отошла, мучась любопытством и волнуемая чувством, для нее совершенно новым.

С того времени не проходило дня, чтоб молодой человек, в известный час, не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение, - подымала голову, смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был за то ей благодарен: она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась...

Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось. Но узнав, что Нарумов не инженер, а конногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому.

Германн был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Германн не касался и процентов, жил одним жалованием, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему (как сказывал он) жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее, - а между тем целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры.

Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. "Что, если, - думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу, - что, если старая графиня откроет мне свою тайну! - или назначит мне эти три верные карты! Почему ж не попробовать своего счастья?.. Представиться ей, подбиться в ее милость, - пожалуй, сделаться ее любовником, - но на это все требуется время - а ей восемьдесят семь лет, - она может умереть через неделю, - через два дня!.. Да и самый анекдот?.. Можно ли ему верить?.. Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усмерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!"

Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры. Улица

была заставлена экипажами, кареты одна за другою катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Германн остановился.

- Чей это дом? - спросил он у углового будочника.

- Графини***, - отвечал будочник.

Германн затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок; долго не мог заснуть, и когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини***. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Германн увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь.

III

Vous m'crivez, mon ange, des
lettres de quatre pages plus vite que
je ne puis les lire.

[Вы пишете мне, мой ангел, письма
по четыре страницы, быстрее,
чем я успеваю их прочитать
(Франц.).]

П е р е п и с к а

Только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за нею и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера; он схватил ее руку; она не могла опомниться от испугу, молодой человек исчез: письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы: кто это с нами встретился? - как зовут этот мост? - что там написано на вывеске? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и невпопад и рассердила графиню.

- Что с тобою сделалось, мать моя! Столбняк ли на тебя нашел, что ли? Ты меня или не слышишь, или не понимаешь?.. Слава богу, я не картавлю и из ума еще не выжила!

Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо: оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви: оно было нежно,

почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна.

Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные, тесные сношения с молодым мужчиной. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении и не знала, что делать: перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям? - отослать ли ему письмо? - отвечать ли холодно и решительно? Ей не с кем было посоветоваться, у ней не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решила отвечать.

Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу - и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо, - и рвала его: то выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. "Я уверена, - писала она, - что вы имеете честные намерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманном поступком; но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение".

На другой день, увидя идущего Германна, Лизавета Ивановна встала из-за пьестцов, вышла в залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Германн подбежал, поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал, и возвратился домой, очень занятый своей интригой.

Три дня после того Лизавете Ивановне молоденькая быстроглазая мамзель принесла записочку из модной лавки.

Лизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Германна.

- Вы, душенька, ошиблись, - сказала она, - эта записка не ко мне.

- Нет, точно к вам! - отвечала смелая девушка, не скрывая лукавой улыбки. - Извольте прочитать!

Лизавета Ивановна пробежала записку. Германн требовал свидания.

- Не может быть! - сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспешности требований и способу, им употребленному. - Это писано, верно, не ко мне! - И разорвала письмо на мелкие кусочки.

- Коли письмо не к вам, зачем же вы его разорвали? - сказала мамзель, - я бы возвратила его тому, кто его послал.

- Пожалуйста, душенька! - сказала Лизавета Ивановна, вспыхнув от ее замечания, - вперед ко мне записок не носите. А тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно...

Но Германн не унялся. Лизавета Ивановна каждый день

получала от него письма то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Германн их писал, вдохновенный страстию, и говорил языком, ему свойственным: в них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать: она упивалась ими; стала на них отвечать, - и ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец она бросила ему в окошко следующее письмо: "Сегодня бал у ^{***}ского посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до двух. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет, - и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя, все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите все прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите две маленькие двери: справа в кабинет, куда графиня никогда не входит; слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница: она ведет в мою комнату".

Германн трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В десять часов вечера он уж стоял перед домом графини. Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты. Изредка тянулся ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока. Германн стоял в одном сертуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец графинину карету подали. Германн видел, как лакеи вынесли под руки согбенную старуху, укутанную в соболью шубу, и как вослед за нею, в холодном плаще, с головой, убранныю свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери. Окна померкли. Германн стал ходить около опустевшего дома: он подошел к фонарю, взглянул на часы, - было двадцать минут двенадцатого. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в половине двенадцатого Германн ступил на графинино крыльцо и взшел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Германн взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою, в старинных, запачканных креслах. Легким и твердым шагом Германн прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Германн вошел в спальню.

Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полиялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, с сошедшей позолотою, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже m-me Lebrun [*госпожой Лебрэн (франц.)*]. Один из них изображал мужчину лет сорока, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездой; другой - молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудренных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы

славного Leroу [Леруа (франц.)], коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым шаром и Месмеровым магнетизмом. Германн пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать; справа находилась дверь, ведущая в кабинет; слева, другая - в коридор. Германн ее отворил, увидел узкую, витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы... Но он воротился и вошел в темный кабинет.

Время шло медленно. Все было тихо. В гостиной пробило двенадцать; по всем комнатам часы одни за другими прозвонили двенадцать, - все умолкло опять. Германн стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен; сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра, - и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтеровы кресла. Германн глядел в щелку: Лизавета Ивановна прошла мимо его. Германн услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел.

Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами; сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Германн был свидетелем отвратительных таинств ее туалета; наконец графиня осталась в спальнной кофте и ночном чепце: в этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасна и безобразна. Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницею. Раздевшись, она села у окна в вольтеровы кресла и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одною лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли; смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма.

Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились: перед графинею стоял незнакомый мужчина. (Продолжение следует.)

Ч и т а ' я " П и к о в у ю д а м у "

Валентин Непомнящий. Часть I

...культура может быть в нецивилизованном обществе, а в цивилизованном может не быть культуры: эта мысль подбиралась

к Пушкину, конечно, через Европу – через Наполеона, через вольтерьянское воспитание, чтение скептических поэм того же Вольтера, Парни, западную амурную лирику, через Байрона – через всех кумиров, через которых он прошел.

Пушкин – человек русской культуры, а это культура со сложной судьбой: ее хребет был надрублен Петром. И вот в Пушкине этот багаж, шлейф допетровской культуры существовал даже и не в сознании, а в крови, в генетической памяти, а сознанием была усвоена новая культура, послепетровская – в ее традициях он был воспитан, обучен. И вот между этими двумя началами наступил острый кризис, он пришелся как раз на первую половину двадцатых годов – в результате возникло начало "Онегина" и "Борис Годунов". После "Бориса Годунова" Пушкин становится другим писателем. Он заявил об этом в одном из предисловий к "Борису": "Я являюсь, отказавшись от ранней своей манеры". Прямо так и сказал. Он отдавал себе отчет в том, что вступил в новое пространство, – он написал русскую трагедию, на русском материале и с русским взглядом. И если определять, что такое Великий Пушкин, то речь идет о человеке, который сопоставил серьезно две культуры – допетровскую и послепетровскую. И тут возникла масса следствий.

"Маленькие трагедии" мне видятся, например, как взгляд автора "Бориса Годунова" на иную ему жизнь: все "Маленькие трагедии" – из европейской жизни, хотя в первоначальном замысле в этот цикл входили и русские сюжеты – Курбский, Павел I... он все это откинул и взял только западные сюжеты. И это очень важно: автор "Бориса" смотрит на Европу.

Сидя в Михайловском в ссылке, в гуще русских людей, глядя на русский храм и читая русские летописи, он вспомнил – кто он и откуда. Это вовсе не значит, что он обвиняет в чем-то Европу. Ничего подобного. Он просто видит разницу. Между русской культурой и европейской цивилизацией.

Наверное, первое произведение, а может быть, и единственное, где проблема эта явилась очень крупно, – "Пиковая дама". Бессмысленно гадать, что хотел он сказать, но в конечном итоге возникает ощущение западной цивилизации как опасности. Для этого вот пространства. Опасность, которую надо знать.

Ведь Пушкин – человек, благодаря которому Россия вошла в Европу в культурном отношении, – это не нужно доказывать. Но мы еще и обязаны знать, что все то, что хлынуло к нам через окно, прорубленное Петром, он, Пушкин, чудом ухитрился разделить на какие-то потоки, ручейки, рукава, направить в соответствующие русла...

- *То есть - окультурить.*

- В известном смысле да. Весь этот беспорядочный поток он упорядочил, именно окультурил. И только этим мы спаслись от того, чтобы не стать ухудшенным вариантом Европы.

- *Третьим миром.*

- Именно. А остались Россией. (Он тогда был в положении, аналогичном нашему теперешнему.) И эта опасность выразилась в "Пиковой даме". Ведь рационализм или расчетливость Германна - это не психологическая черта, это способ мышления. Недавно мне довелось читать одну статью, математическую. Я не математик, но там содержалась мысль, которая как бы навела меня на суть разницы между восточным и западным мышлением. А суть в том, что для западного мышления мироздание - это некая сумма единиц. Для восточного - оно единица, нечто целостное. Там внутри, в этом целом, оно производит все свои операции. Не складывает и вычитает, а делит и умножает.

Вот эта целостность, необъятность и неразъятость картины мира, которая иногда выглядит как неопределенность, расплывчатость, бесформенность - вот она присуща нам. Но тем Россия и поразительна, что сочетает в себе эти два способа мышления, однако с приоритетом все же целостности. Отсюда многое вытекает, - скажем, разница между иконой и западной картиной с религиозным сюжетом. И православие, восточное христианство, мистическая сущность которого, в отличие от католицизма, ложилась на национальный характер...

Это западное мышление - оно и социальный строй определяет, и он Пушкину в далекой перспективе тоже маячит и тоже страшит, конечно, в том числе и западная демократия - очень страшит. И знаменитое пушкинское "Клеветникам России" не каким-то там реакционным западным правительствам адресовано, как нас учили, а это был отклик на опасность западной демократии.

И отсюда тот inferнальный ужас, который исходит от фигуры Германна. И не зря он уподоблен и Мефистофелю, и Наполеону - это все реалии того мира, того набора, где все можно высчитать, рассчитать и предвидеть, если умеешь складывать и вычитать.

Он разбирает сам феномен этого сознания. И я глубоко убежден, я считаю это своим маленьким открытием: "Маленькие трагедии" - это исследование западного сознания, которое трагично по своему глубокому существу.

Вот говорят, что он писал их, чтобы изучить форму драмы. Да зачем ему "изучать форму драмы"! Он сам создавал форму. Нет. Он изучал феномен трагического сознания, потому что человек после Ренессанса...

- Противопоставивший себя Богу, природе и обществу, - одинок.

- Да. Этот человек одинок. Это, очевидно, фундаментальная черта европейского сознания - одиночество перед непостижимым роком, перед некоей условной силой. В сущности, это довольно варварское сознание, языческое, то есть - суеверное. Это у нас сейчас пышно расцвело - все эти колдуны, гадалки, предсказатели - это естественно: люди, лишенные вообще какой бы то ни было веры, кидаются в суеверие.

И вот это расчетливое, небескорыстное и одновременно,

суеверное сознание сталкивается с универсумом, с непостижимым, таинственным, не им созданным миром, пытается что-то просчитать и выгадать и терпит в результате крах – не выдерживает, наступает безумие. Мир целостен и неделим, а сознание это дискретно, частично и характеру этого мира чуждо. Вот это для меня и есть один из самых главных смыслов "Пиковой дамы": катастрофичность безрелигиозного сознания.

К Германну, молодому мужчине, военному инженеру, возвращается архаическое суеверие. Есть замечательная работа у Лотмана – европейская цивилизация XVIII века (да и у нас тоже) была чрезвычайно увлечена проблемами рока, судьбы, счастливого случая, успеха – и все это пошло в литературу. Поскольку Небо было ликвидировано, пришло суеверие.

Так что в "Пиковой даме" действительно поставлены гигантские проблемы, экзистенциальные для человечества. Потому что тот тупик, в который уперся Германн – тупик безумия, он в глобальном масштабе осуществился с нами. Это настоящее безумие.

Теперь – второе. Пушкин весь остросюжетен, весь занимателен, увлекателен, он – мастер сюжета. Если занимательность, остросюжетность – признаки "бульварщины", то бульварен, второсортен и весь Достоевский. С другой стороны, все, что заполняет сегодня экран, сцену, журналы, я имею в виду так называемую правду жизни, все это хоть и не занимательно, и не остросюжетно, а вполне "глубокомысленно" – и есть настоящая бульварщина.

- Да. Наша "честность" сильно отзывается пошлостью. Впрочем, понятие это, пошлость, трудно уловимо. Оно и в боле культурные, чем наше, времена улавливалось трудно. Нашими разnochинцами, например.

- В том-то и дело. Воссоздают эту самую "правду, как она есть" – без постижения, без осмысления, без освещения. А свет, он только из глубины, от толщи слоев.

- Относительно идеи печатать Пушкина в журнале, в периодическом издании. Мне приходилось слышать, что затея эта в принципе пустая: кому нужно, тот возьмет Пушкина с полки и прочтет.

- Совсем нет. Во-первых, периодика стимулирует чтение. Во-вторых, помещенное в современный контекст, это будет уже совсем другое чтение.

А что касается старой орфографии, печатать так Пушкина, по-моему, очень хорошо, это даст дополнительный обертон восприятия. Кроме того, я уверен, что новая орфография, облегчив правописание, действительно приблизив его к уровню троечника, сильно искажила речь на протяжении всех этих десятилетий. Я помню, еще в пятидесятые годы у певцов, знающих норму, "ять" еще слышалось. В слове "ревность" звук "р" был твердым, потому что в нормальной орфографии после него не "е". Речь была гибче, музыкальнее, богаче.

Все это было потом уничтожено, было срезано, сбито все, что росло над каким-то уровнем, унифицировано, усреднено... а

то, что написание влияет на произношение, это доказывать нечего.

- *А произношение, в свою очередь, на мышление.*

- Даже артикуляция отражает состояние мышления. Это ведь факт.

А то, что сейчас происходит с языком, что звучит по радио, по телевизору - это ведь какая-то катастрофа языковая. Еще сравнительно недавно на московском радио существовала произносительная норма. Человек мог говорить неправильно, но он знал, что существует норма. Сейчас ее нет. Никто не знает, что такое правильный русский язык. Я не говорю уж о том, что идет прямая неграмотность: "инцидент" вместо инцидент, "прецедент" - это просто преследует. Это тот самый процесс, когда одно цепляет за другое и все сползает вниз буквально на глазах.

Сейчас много появилось репринтных изданий в старой орфографии и - ничего, люди читают, никому не трудно.

Утешение, что мы знаем - это не в первый раз происходит. Но каждый раз язык выздоравливал. Язык - система самонастраивающаяся.

- *Но люди, профессионально в это включенные, должны прилагать усилия.*

- Вообще-то я считаю, что все в истории происходит не почему-то, а для чего-то. С одной стороны мы знаем относительно "колеса истории", что его "повернуть вспять нельзя"...

- *...с другой - что такое "вспять"? Кто это знает?*

(Продолжение.) ... это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились: перед графиней стоял незнакомый мужчина.

- Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь! - сказал он внятными и тихим голосом. - Я не имею намерения вредить вам; я пришел умолять вас об одной милости.

Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слышала. Германн вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему.

- Вы можете, - продолжал Германн, - составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить: я знаю, что вы можете угадать три карты сряду...

Германн остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали; казалось, она искала слов для своего ответа.

- Это была шутка, - сказала она наконец, - клянусь вам! это была шутка!

- Этим нечего шутить, - возразил сердито Германн. - Вспомните Чаплицкого, которому помогли вы отыгратся.

Графиня видимо смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность.

- Можете ли вы, - продолжал Германн, - назначить мне эти три верные карты?

Графиня молчала; Германн продолжал:

- Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без того; они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не мот; я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут! Ну!..

Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала; Германн стал на колени.

- Если когда-нибудь, - сказал он, - сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери, - всем, что ни есть святого в жизни, - не откажите мне в моей просьбе! - откройте мне вашу тайну! - что вам в ней?.. Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором... Подумайте: вы стары; жить вам уж недолго, - я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастье человека находится в ваших руках; что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню...

Старуха не отвечала ни слова.

Германн встал.

- Старая ведьма! - сказал он, стиснув зубы, - так я ж заставлю тебя отвечать...

С этим словом он вынул из кармана пистолет.

При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головою и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела... Потом покатилась навзничь... и осталась недвижима.

- Перестаньте ребячиться, - сказал Германн, взяв ее руку. - Спрашиваю в последний раз: хотите ли назначить мне ваши три карты? - да или нет?

Графиня не отвечала. Германн увидел, что она умерла.

IV

7 Mai 18**.

Homme sans mœurs
et sans religion!

[7 мая 18**.

Человек, у которого нет
никаких нравственных правил
и ничего святого! (франц.)]

П е р е п и с к а

Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав

домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу, - сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германна и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства, в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло трех недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека, - и уже она была с ним в переписке, - и он успел вытребовать у нее ночное свидание! Она знала имя его потому только, что некоторые из его писем были им подписаны; никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала... до самого сего вечера. Странное дело! В самый тот вечер, на бале, Томский, дуясь на молодую княжну Полину***, которая, против обыкновения, кокетничала не с ним, желал отомстить, оказывая равнодушие: он позвал Лизавету Ивановну и танцевал с нею бесконечную мазурку. Во все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать, и некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна.

- От кого вы все это знаете? - спросила она, смеясь.

- От приятеля известной вам особы, - отвечал Томский, - человека очень замечательного!

- Кто ж этот замечательный человек?

- Его зовут Германном.

Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги поledenели...

- Этот Германн, - продолжал Томский, - лицо истинно романическое; у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодеяния. Как вы поблуднели!..

- У меня голова болит... Что же говорил вам Германн, - или как бишь его?..

- Германн очень недоволен своим приятелем: он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе... Я даже полагаю, что Германн сам имеет на вас виды, по крайней мере он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля.

- Да где ж он меня видел?

- В церкви, может быть, - на гулянье!.. Бог его знает! может быть, в вашей комнате, во время вашего сна: от него станет...

Подошедшие к ним три дамы с вопросами - *oubli ou regret?* [забвение или сожаление? (франц.)] - прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны.

Дама, выбранная Томским, была сама княжна***. Она успела с ним изъясниться, обежав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом. Томский, возвратясь на свое

место, уже не думал ни о Германне, ни о Лизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор; но мазурка кончилась, и вскоре после старой графиня уехала.

Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня, но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самою, и, благодаря новейшим романам, это уже пошлое лицо пугало и пленяло ее воображение. Она сидела, сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранный цветами... Вдруг дверь отворилась, и Германн вошел. Она затрепетала...

- Где же вы были? - спросила она испуганным шепотом.

- В спальне у старой графини, - отвечал Германн, - я сейчас от нее. Графиня умерла.

- Боже мой!.. что вы говорите?..

- И кажется, - продолжал Германн, - я причиною ее смерти.

Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе: у этого человека по крайней мере три злодеяния на душе! Германн сел на окошко подле нее и все рассказал.

Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. Итак, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование, все это было не любовь! Деньги, - вот чего алкала его душа! Не она могла утолить его желания и осчастливить его! Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетельницы!.. Горько заплакала она в позднем, мучительном своем раскаянии. Германн смотрел на нее молча: сердце его также терзалось, но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения.

- Вы чудовище! - сказала наконец Лизавета Ивановна.

- Я не хотел ее смерти, - отвечал Германн, - пистолет мой не заряжен.

Они замолчали.

Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу: бледный свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германна: он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну.

- Как вам выйти из дому? - сказала наконец Лизавета Ивановна. - Я думала провести вас по потаенной лестнице, но надобно идти мимо спальни, а я боюсь.

- Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу; я выйду.

Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила

его Германну и дала ему подробное наставление. Германн пожал ее холодную, безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову и вышел.

Он спустился вниз по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела окаменев; лицо ее выражало глубокое спокойствие. Германн остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине; наконец вошел в кабинет, ощупал за обоими дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствованиями. По этой самой лестнице, думал он, может быть, лет шестьдесят назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанный а l'oiseau goyal ["королевской птицей" (франц.)], прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться...

Под лестницею Германн нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу.

V

В эту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон В***. Она была вся в белом и сказала мне: "Здравствуйте, господин советник!"
Ш в е д е н б о р г

Три дня после роковой ночи, в девять часов утра, Германн отправился в *** монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердивший ему: ты убийца старухи! Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь, - и решился явиться на ее похороны, чтобы испросить у ней прощения.

Церковь была полна. Германн насилу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние: слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках; родственники в глубоком трауре, - дети, внуки и правнуки. Никто не плакал; слезы были бы - une affectation [притворством (франц.)]. Графиня так была стара, что смерть ее никого не могла поразить и что ее родственники давно смотрели на нее, как на отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное усупение праведницы, которой долгие годы были тихим, умирительным приготовлением к христианской кончине. "Ангел смерти обрел ее, - сказал оратор, -

бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного". Служба совершилась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом. Потом двинулись и многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницею в их суетных увеселениях. После них и все домашние. Наконец приблизилась старая барская барыня, ровестница покойницы. Две молодые девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли, - и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей. После нее Германн решился подойти ко гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бледен как сама покойница, взошел на ступени катафалка и наклонился... В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Германн, поспешно подавшись назад, оступись и навзничь грянулся об землю. Его подняли. В то же самое время Лизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а художавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: "Oh"?

Целый день Германн был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он, против обыкновения своего, пил очень много, в надежде заглушить внутреннее волнение. Но вино еще более горячило его воображение. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать и крепко заснул.

Он проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы: было без четверти три. Сон у него прошел; он сел на кровать и думал о похоронах старой графини.

В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко, - и тотчас отошел. Германн не обратил на то никакого внимания. (Продолжение следует.)

Ч и т а я " П и к о в у ю д а м у "

Валентин Непомнящий. Часть II

- Вообще-то я считаю, что все в истории происходит не почему-то, а для чего-то. С одной стороны мы знаем относительно "колеса истории", что его "повернуть вспять нельзя"...

- ...с другой - что такое "вспять"? Кто это знает?

- А будет то, что должно быть.

- **"Пиковая дама"**. Маленькая повесть, в которой так много сказано и так много скрыто, зашифровано...

- Да просто бездна. Здесь есть и гигантская матримониальная, и мистическая тема. Эти догадки Германна о

былых любовниках графини. И слова молодого архиерея на ее панихиде - "Ангел смерти обрел ее", она скончалась "в ожидании жениха полунощного"...

- Уж не Германна ли? Он еще рассчитывал, не стать ли ему ее любовником... Этого много по всему тексту. И эта странная близость в убийстве...

- Это очень сильный здесь слой, вообще, брачная, семейная тема была чрезвычайно важной для Пушкина. Нужно только уметь прочесть.

Или еще такой мотив: эти люди, которые пришли после французской революции, не умели шутить. Одна из фундаментальных черт этих людей - отсутствие юмора. Деловитость, расчетливость и неумение шутить.

- То есть - неполнота, ущербность.

- Это хорошо в стихотворении "К вельможе" сказано, там вся европейская история, история французской революции:

Все изменилось. Ты видел вихорь бури,
Падение всего, союз ума и фурий,
Свободой грозною воздвигнутый закон,
Под гильотиною Версаль и Трианон
И мрачным ужасом сменные забавы.
Преобразился мир...

"Мрачным ужасом сменные забавы" - вот что это было. И еще там же:

Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились младые поколения.
Жестоких опытов собирая поздний плод,
Они торопятся с расходом свести приход.
Им некогда шутить, обедать у Темиры
Иль спорить о стихах...

- Да-да. Вот и Германн - "этим нечего шутить". Это о карточном-то секрете, о деньгах!

- Или, скажем, есть еще одна догадка, автор ее - Виктор Есипов - не известный еще пушкинист. Он считает, что в "Пиковой даме" есть еще и зашифрованный намек на декабризм и на последние дворцовые перевороты. Три эти карточные игры - метафора трех переворотов. Первый, екатерининский, удачный - "тройка". Второй, с Павлом, удачный - "семерка". И третий - декабрьский, неудавшийся.

- Должен был выйти туз, но пиковая дама подмигнула. Действительно остроумно. А все-таки похоже на произвольное толкование.

- Не сказал бы. Этот пушкинист приводит очень убедительные документальные подтверждения своей версии. А кроме того и в самой "Даме" многое в этом смысле читается. Германн написан похожим на Пестеля, тот был, по свидетельствам очевидцев, скрытным, рассудочным человеком, умевшим затаиться в ожидании своего часа. И тоже был внешне похож на Наполеона.

И потом, песенка, взятая эпиграфом к "Даме" - она написана в той же строфике и в том же размере, что и знаменитая

бестужевско-рылеевская "Ах, где те острова, / Где растет
трын-трава" - и т.д. И там ниже:

"Ты скажи-говори,
Как в России цари
Правят.
Ты скажи поскорей,
Как в России царей
Давят..."

Это была знаменитая декабристская песня. И пушкинский эпиграф - поразительно прозрачный намек на нее, намек для посвященных.

- Да. Похоже. Не зря Пушкин специально в письме к Вяземскому, кажется, упоминал, что стихи эпиграфа написаны им самим. Стоило об этом сообщать специально! Явно - для перлюстраторов.

- Вот тебе и занимательный острый сюжет... кроме того, там еще масса тайнописи, которая относится к его близким друзьям, к родным, к интимным, частным событиям, подробностям его жизни - этого масса там.

- Такой литературной игры, озорства, мистификации очень много было потом у Набокова - тайн, которые записаны и опубликованы на весь белый свет, а остаются тайнами. Это наша традиция: литература - вовсе не деятельность, чуть ли не официальная, во всяком случае общественно полезная, а личное, частное дело. И чем более она личная, тем более, оказывается потом, - и общая.

- Чем он еще замечателен: и русская история - для него как бы история семьи. Какой-нибудь Петр - человек, имевший к этой семье непосредственное отношение, знакомый, чуть ли не сосед. И к истории он относился, как к своей семейной частной истории. И поэтому то, что относилось к его частному быту, так же относилось и к истории. Он это прекрасно чувствовал: шестисотлетний дворянин...

- Это не важно, что не все слои в его произведениях прочитывались, понимались. Это как средневековая musica reservata - она технически не могла быть исполнена, не исполнялась - она существовала на бумаге. И на небесах. Он оставил нам свои тексты, как musica reservata: прочтут. Кому надо - прочтут.

(Продолжение.) ...было без четверти три. Сон у него прошел; он сел на кровать и думал о похоронах старой графини.

В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко, - и тотчас отошел. Германн не обратил на то никакого внимания. Через минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Германн думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку: кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась, вошла женщина в белом платье. Германн принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в

такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним, - и Германн узнал графиню!

- Я пришла к тебе против своей воли, - сказала она твердым голосом, - но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть, с тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне...

С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Германн слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко.

Германн долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу; Германн насилу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению: от него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сени была заперта. Германн возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение.

VI

- Атанде!
- Как вы смели мне сказать
атанде?
- Ваше превосходительство,
я сказал атанде-с!

Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз - скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз - не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил: "Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная". У него спрашивали: "который час", он отвечал: "без пяти минут семерка". Всякий пузатый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз - преследовали его во сне, принимая все возможные виды: тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком. Все мысли его слились в одну, - воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых игрецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот.

В Москве составилось общество богатых игроков, под председательством славного Чекалинского, прошедшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург. Молодежь к нему нахлынула, забывая балы для

карт и предпочитая соблазны фараона обольщениям волокитства. Нарумов привез к нему Германна.

Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько генералов и тайных советников играли в вист; молодые люди сидели, развалиясь на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной за длинным столом, около которого теснилось человек двадцать игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет шестидесяти, самой почтенной наружности; голова покрыта была серебряной сединою; полное и свежее лицо изображало добродушие; глаза блистали, оживленные всегдашнею улыбкою. Нарумов представил ему Германна. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать.

Талья длилась долго. На столе стояло более тридцати карт.

Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянною рукою. Наконец талья кончилась. Чекалинский стасовал карты и приготовился метать другую.

- Позвольте поставить карту, - сказал Германн, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился молча, в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германна с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала.

- Идет! - сказал Германн, написав мелом куш над своею картою.

- Сколько-с? - спросил, прищуриваясь, банкومت, - извините-с, я не разгляжу.

- Сорок семь тысяч, - отвечал Германн.

При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германна. "Он с ума сошел!" - подумал Нарумов.

- Позвольте заметить вам, - сказал Чекалинский с неизменной своею улыбкою, - что игра ваша сильна: никто более двухсот семидесяти пяти семпелем здесь еще не ставил.

- Что ж? - возразил Германн, - бьете вы мою карту или нет?

Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия.

- Я хотел только вам доложить, - сказал он, - что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту.

Германн вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германнову карту.

Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка.

- Выиграла! - сказал Германн, показывая свою карту. Между

игроками поднялся шепот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо.

- Извольте получить? - спросил он Германна.

- Сделайте одолжение.

Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расшелся. Германн принял свои деньги и отошел от стола.

Нарумов не мог опомниться. Германн выпил стакан лимонаду и отправился домой.

На другой день вечером он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал. Германн подошел к столу; понтеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился.

Германн дождался новой тальи, поставил карту, положив на нее свои сорок семь тысяч и вчерашний выигрыш.

Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево.

Германн открыл семерку.

Все ахнули. Чекалинский видимо смутился. Он отсчитал девяносто четыре тысячи и передал Германну. Германн принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился.

В следующий вечер Германн явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтоб видеть игру, столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов; все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германна. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Германн стоял у стола, готовясь один понтировать противу бледного, но все улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Германн снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом.

Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз.

- Туз выиграл! - сказал Германн и открыл свою карту.

- Дама ваша убита, - сказал ласково Чекалинский. Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться.

В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его...

- Старуха! - закричал он в ужасе.

Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Германн стоял неподвижно. Когда отошел он от стола, поднялся шумный говор. - Славно спонтировал! - говорили игроки. Чекалинский снова стасовал карты: игра пошла своим чередом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Германн сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет

необыкновенно скоро: "Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!.."

Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние: он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница.

Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.

Ч и т а я " П и к о в у ю д а м у ". P.S.

Борис Гребенщиков

Читая ее сегодня, спустя полтора года после записи последнего интервью, а именно столько времени прошло с тех пор, как номер журнала был уже сделан и без дела скучал - а Редакция не скучала, в поисках денег на его издание, встречая на родных просторах более германнов, чем было их во времена старой графини, - так вот, читая ее сегодня, Редакция обнаружила, вообразите себе, что время летит: сегодня можно высказать соображение, вернее, предчувствие, которое в те поры Редакция высказать не рискнула, чтобы не показаться странной. Вот это предчувствие: городская жизнь людей с Просвещением и мещанским умом в ущерб сердцу, с ужасом городских революций, как их ни назови - буржуазные ли, пролетарские - с чисто мещанским же практицизмом и инженерностью - уже на излете. Во всяком случае, в том пространстве, которое прежде называли христианским миром, и которое включает в себя Россию. С концом века и тысячелетия приближается к нам деревня и дом родной - поместная, крестьянско-аристократическая жизнь. Значит - средневековье?..

И тут-то со страниц нашей взъерошенной прессы, сменившей в последние годы румянец Октябрьской развесистой клюквы на желтизну, не менее Октябрьскую, со страниц этой прессы неожиданно мелькнуло Редакции слово - "предчувствие средневековья". Произнес его не философ, не маститый писатель, не историк и не аналитик литературы, а знаменитый рок-музыкант Борис Гребенщиков.

Редакция и прежде нет-нет, да и нажимала клавишу магнитофона, чтобы среди шумного бала, случайно, под шумок послушать кумира более юных, чем сама она, соотечественников. Теперь же, после "предчувствия средневековья" Редакция поехала в Петербург беседовать с Гребенщиковым о деревне, средневековье и русском роке на фоне "Пиковой дамы".

- Рок - это ведь городская вещь? - снаивничала Редакция.

- Городская - это минимум того, что можно о нем сказать, - ответил Борис Гребенщиков. - Это форма городского... урбанистического шаманства. Рок - это шаманизм. И ничего больше. Но шаманизм это достаточно большое явление.

- *Что имеется ввиду?*

- Использование определенной ритмики, фонетических построений, чтобы вызывать в человеке состояния, при которых становится возможным восприятие многих невидимых, иных миров.

Тут есть опасность попасть в ловушку. Мы имеем дело с шаманизмом, - значит автоматически опять-таки со средневековьем, - то есть, все же, с неким общением с другим слоем реальности. Так вот, - о ловушке, - общение не с духами, прошу заметить, а все происходит без отклонения от церковных канонов...

- *Что за другой слой?*

- Я имею ввиду невидимые миры, которые из-за нашего воспитания, образования в повседневной жизни скрыты от нас, мы не имеем возможности их понять. Но мы их чувствуем. Мы называем это интуицией, суеверием - но мы их ясно ощущаем. И это совершенно нормально.

По индейскому определению шаман - это человек, который совершил путешествие туда и назад. И если шаман известен под своим именем, то значит это мирское. Это не настоящее. Поэтому говорить тут о роке или лидерстве в роке означает впасть в заблуждение. Я просто выражаю какие-то вещи, которые должны быть выражены.

- *Вы математик по образованию, в какой-то степени коллега Германна. Мы о "Пиковой даме" беседуем...*

- Я не был инженером. Я теоретиком был.

- *Тем не менее - мышление такое должно быть регламентированное, строгое?*

- Мышление строгое в том смысле, что я знаю правду, когда я ее чувствую. А с этой работой - с математикой, я программистом был - у меня не получилось по счастью.

- *Почему "по счастью"?*

- Просто мне не нужны ненужные знания. К этим знаниям я для себя отношу математику.

- *К чему я, собственно, веду: есть практическое, трезвое знание о жизни, господствовавшее еще вчера, о том, что, скажем, этот стол твердый, прочный, материальный. Но если углубиться в этот материал - обнаружится материя, молекула, атом... а дальше уж, вообще, неизвестно что: материя и материальность исчезают под более пристальным и непредвзятым взглядом. Оказывается, что материя это...*

- Материя - это энергия.

- *И тогда окажется, что этот стол есть законсервированная энергия. А мы вместе с Германном живем в сознании, что стол есть стол и ничего больше. Так вот, чем в сегодняшней расчетливой городской жизни так привлекателен Ваш рок?*

- Я не люблю научно дефинировать. Я постараюсь с помощью примера. Вот раньше висели в храме иконы. Храм этот отапливался или не отапливался - иконы висели и работали. Сегодня они в музее. Здесь есть остроумные технические приспособления, чтобы поддерживать нужную температуру и

влажность и т.д. Можно сказать, что эти технические приспособления важнее икон? Ваш вопрос аналогичен.

Машинная цивилизация есть лишь средство, приспособление, чтобы освободить человека для главного. **Мы об этом забываем.** И здесь ошибка: машинная городская цивилизация становится самоцелью.

- *Вы, значит, занимаетесь чем-то, что выходит за рамки машинной цивилизации и инженерного ума. И люди к этому тянутся. Я не знаю, к чему сегодня сильнее тянется новое поколение горожан. Предчувствуют ли они возврат к негородской жизни?*

- Он уже начался. Вы посмотрите, что происходит в империи нашей. В Новгороде уже отказались от мэра, хотят посадника...

- *Не будет ли этот посадник слишком похож на мэра, точнее - на секретаря горкома?*

- Пусть будет сначала. Потом - все меньше. Это размывается, крошится. Мы возвращаемся к самим себе. Мы сейчас проехали всю Россию. Я это видел собственными глазами.

- *Стоит ли печатать Пушкина в прежней орфографии? Написание влияет на произносительную норму. Ну, и так далее.*

- Да. Я хорошо понимаю, о чем речь. Конечно, нужно печатать так, как он писал.

- *А в принципе вернуть прежнее правописание?*

- Это произойдет само собой. Без насилия, я думаю.

- *Отчасти уже происходит.*

- Пока только как форма эпатажа.

- *Как Вы относитесь к сюжетной литературе? К Дюма? К той же "Пиковой даме" или "Барышне-крестьянке"? Многие считают, что занимательная фабула - признак второсортности литературы. Что такая литература как бы недостаточна умна.*

- Кто эти люди? Я не знаю, кто так считает? Я так не считаю. А вот относительно возможных трактовок "Пиковой дамы". Я не могу тут не вспомнить всем уже осточертевшее, но верное, по-моему, замечание Пикассо. Он не понимал, почему все пытаются понять его картины. Почему никто не хочет понять, как растет дерево. Вот растет дерево? - Хорошо. Вас радует? - Радует. Вот и картина - есть она? Вас радует? - Ну, и хорошо. То же самое с Пушкиным. Есть "Пиковая дама". Отличная вещь. И она работает. На своем уровне. Она действует. Есть, конечно, и интересные игры с ее разбором и анализом. Но это все же - игры.

- *Впечатление, что вся наша литература, если уж продолжить сравнение с живописью, записана сверху другим слоем. Неталантливый. Литература вся склиширована, сфальсифицирована и в таком виде вводится в нас. Задача журнала чисто реставрационная. Отмыть.*

- Тогда нужен растворитель.

- Может быть, единственное, что у нас есть, - наша литература. Как всякий настоящий текст, это литература бездонная...

От пушкинского текста - вспомню здесь набоковское выражение - "веет ветром счастья"...

Il ne faut pas qu'un honnête
homme mérite d'être pendu.
[Не следует, чтобы честный
человек заслуживал
повешения (франц.).]
Слова Карамзина
в 1819 году.

В конце первого десятилетия царствования Екатерины II несколько молодых людей, едва вышедших из отрочества, отправлены были, по ее повелению, в Лейпцигский университет, под надзором одного наставника и в сопровождении духовника. Учение пошло им не впрок. Надзиратель думал только о своих выгодах; духовник, монах добродушный, но необразованный, не имел никакого влияния на их ум и нравственность. Молодые люди проказничали и вольнодумствовали. Они возвратились в Россию, где служба и заботы семейственные заменили для них лекции Геллерта и студенческие шалости. Большая часть из них исчезла, не оставя по себе следов; двое сделались известны: один на чреде заметной обнаружил совершенное бессилие и несчастную посредственность; другой прославился совсем иначе.

Александр Радищев родился около 1750-го года. Он обучался сперва в Пажеском корпусе и обратил на себя внимание начальства как молодой человек, подающий о себе великие надежды. Университетская жизнь принесла ему мало пользы. Он не взял даже на себя труда выучиться порядочно латинскому и немецкому языку, дабы по крайней мере быть в состоянии понимать своих профессоров. Беспокойное любопытство, более нежели жажда познаний, была отличительная черта ума его. Он был кроток и задумчив. Тесная связь с молодым Ушаковым имела на всю его жизнь влияние решительное и глубокое. Ушаков был немногим старше Радищева, но имел опытность светского человека. Он уже служил секретарем при тайном советнике Теплове, и его честолюбию открыто было блестящее поприще, как оставил он службу из любви к познаниям и вместе с молодыми студентами отправился в Лейпциг. Сходство умов и занятий сблизили с ним Радищева. Им попался в руки Гельвеций. Они жадно изучили начала его пошлой и бесплодной метафизики. Гримм [1], странствующий агент французской философии, в Лейпциге застал

Александр Пушкин. Александр Радищев

По: "А. С. Пушкин. Собр. соч. в 10 т.", т. 6, изд. "Худ. лит.", М., 1976

русских студентов за книгу "О Разуме" и привез Гельвецию известие, лестное для его тщеславия и радостное для всей братии. Теперь было бы для нас непонятно, каким образом холодный и сухой Гельвеций мог сделаться любимцем молодых людей, пылких и чувствительных, если бы мы, по несчастию, не знали, как соблазнительны для развивающихся умов мысли и правила новые, отвергаемые законом и преданиями. Нам уже слишком известна французская философия 18-го столетия; она рассмотрена со всех сторон и оценена. То, что некогда слыло скрытым учением гиерофантов, было потом обнародовано, проповедано на площадях и навек утратило прелесть таинственности и новизны. Другие мысли, столь же детские, другие мечты, столь же несбыточные, заменили мысли и мечты учеников Дидрота и Руссо, и легкомысленный поклонник молвы видит в них опять и цель человечества, и разрешение вечной загадки, не воображая, что в свою очередь они заменятся другими.

Радищев написал "Житие Ф.В.Ушакова". Из этого отрывка видно, что Ушаков был от природы остроумен, красноречив и имел дар привлекать к себе сердца. Он умер на 21-м году своего возраста от следствий невоздержанной жизни; но на смертном одре он еще успел преподать Радищеву ужасный урок. Осужденный врачами на смерть, он равнодушно услышал свой приговор; вскоре муки его сделались нестерпимы, и он потребовал яду от одного из своих товарищей [А.М.Кутузова, которому Радищев и посвятил "Житие Ф.В.Ушакова" (прим. Пушкина)]. Радищев тому воспротивился, но с тех пор самоубийство сделалось одним из любимых предметов его размышлений.

Возвратясь в Петербург, Радищев вступил в гражданскую службу, не преставав между тем заниматься и словесностию. Он женился. Состояние его было для него достаточно. В обществе он был уважаем как сочинитель. Граф Воронцов ему покровительствовал. Государыня знала его лично и определила в собственную свою канцелярию. Следуя обыкновенному ходу вещей, Радищев должен был достигнуть одной из первых степеней государственных. Но судьба готовила ему иное.

В то время существовали в России люди, известные под именем мартинистов. Мы еще застали несколько стариков, принадлежавших этому полуполитическому, полурелигиозному обществу. Странная смесь мистической набожности и философического вольнодумства, бескорыстная любовь к просвещению, практическая филантропия ярко отличали их от поколения, которому они принадлежали. Люди, находившие свою выгоду в коварном злословии, старались представить мартинистов заговорщиками и приписывали им преступные политические виды. Императрица, долго смотревшая на усилия французских философов как на игры искусных бойцов и сама их ободрявшая своим царским рукоплесканием, с беспокойством видела их торжество и с подозрением обратила

внимание на русских мартинистов, которых считала проповедниками безначалия и адептами энциклопедистов. Нельзя отрицать, чтобы многие из них не принадлежали к числу недовольных; но их недоброжелательство ограничивалось брюзгливым порицанием настоящего, невинными надеждами на будущее и двусмысленными гостями на франмасонских ужинах. Радищев попал в их общество. Таинственность их бесед воспламенила его воображение. Он написал свое "Путешествие из Петербурга в Москву", сатирическое воззвание к возмущению, напечатал в домашней типографии и спокойно пустил его в продажу.

Если мысленно перенесемся мы к 1791 году, если вспомним тогдашние политические обстоятельства, если представим себе силу нашего правительства; наши законы, не изменившиеся со времен Петра I, их строгость, в то время еще не смягченную двадцатипятилетним царствованием Александра, самодержца, умевшего уважать человечество; если подумаем, какие суровые люди окружали еще престол Екатерины, - то преступление Радищева покажется нам действием сумасшедшего. Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины! И заметьте: заговорщик надеется на соединенные силы своих товарищей; член тайного общества, в случае неудачи, или готовится изветом заслужить себе помилование, или, смотря на многочисленность своих соумышленников, полагается на безнаказанность. Но Радищев один. У него нет ни товарищей, ни соумышленников. В случае неуспеха - а какого успеха может он ожидать? - он один отвечает за все, он один представляется жертвой закону. Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а "Путешествие в Москву" весьма посредственною книгою; но со всем тем не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным; политического фанатика, заблуждающегося конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарскою совестью.

Но, может быть, сам Радищев не понял всей важности своих безумных заблуждений. Как иначе объяснить его беспечность и странную мысль разослать свою книгу ко всем знакомым, между прочими к Державину, которого поставил он в затруднительное положение? Как бы то ни было, книга его, сначала не замеченная, вероятно потому, что первые страницы чрезвычайно скудны и утомительны, вскоре произвела шум. Она дошла до государыни. Екатерина сильно была поражена. Несколько дней сряду читала она эти горькие, возмутительные сатиры. "Он мартинист, - говорила она Храповицкому (см. его записки), - он хуже Пугачева; он хвалит Франклина". - Слово глубоко замечательное: монархиня, стремившаяся к соединению воедино всех разнородных частей государства, не могла равнодушно видеть отторжение колоний от владычества Англии. Радищев

предан был суду. Сенат осудил его на смерть (см. Полное собрание законов). Государыня смягчила приговор. Преступника лишили чинов и дворянства и в оковах сослали в Сибирь.

В Илимске Радищев предался мирным литературным занятиям. Здесь написал он большую часть своих сочинений; многие из них относятся к статистике Сибири, к китайской торговле и пр. Сохранилась его переписка с одним из тогдашних вельмож, который, может быть, не вовсе был чужд изданию "Путешествия". Радищев был тогда вдовцом. К нему поехала его свояченица, дабы разделить с изгнанником грустное его уединение. Он в одном из своих стихотворений упоминает о сем трогательном обстоятельстве.

Воздохну на том я месте,
Где Ермак с своей дружиной,
Садясь в лодки, устремлялся
В ту страну ужасну, хладну,
В ту страну, где я средь бедствий,
Но на лоне жаркой дружбы,
Был блажен, и где оставил
Души нежной половину.
Б о в а, В с т у п л е н и е.

Император Павел I, взошед на престол, вызвал Радищева из ссылки, возвратил ему чины и дворянство, обошелся с ним милостиво и взял с него обещание не писать ничего противного духу правительства. Радищев сдержал свое слово. Он во все время царствования императора Павла I не написал ни одной строчки. Он жил в Петербурге, удаленный от дел и занимаясь воспитанием своих детей. Смиранный опытностью и годами, он даже переменял образ мыслей, ознаменовавший его бурную и кичливую молодость. Он не питал в сердце своем никакой злобы к прошедшему и помирился искренно со славной памятью великой царицы.

Не станем укорять Радищева в слабости и непостоянстве характера. Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении. Муж, со вздохом иль с улыбкою, отвергает мечты, волновавшие юношу. Моложавые мысли, как и молоджавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют. Мог ли чувствительный и пылкий Радищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во время Ужаса [2]? Мог ли он без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои мысли, проповедуемые с высоты гильотины, при гнусных рукоплесканиях черни? Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра.

Император Александр, вступив на престол, вспомнил о Радищеве и, извиняя в нем то, что можно было приписать

пылкости молодых лет и заблуждениям века, увидел в сочинителе "Путешествия" отвращение от многих злоупотреблений и некоторые благонамеренные виды. Он определил Радищева в комиссию составления законов и приказал ему изложить свои мысли касательно некоторых гражданских постановлений. Бедный Радищев, увлеченный предметом, некогда близким к его умозрительным занятиям, вспомнил старину и в проекте, представленном начальству, предался своим прежним мечтаниям. Граф З. удивился молодости его седин и сказал ему с дружеским упреком: "Эх, Александр Николаевич, охота тебе пустословить по-прежнему! или мало тебе было Сибири?" В этих словах Радищев увидел угрозу. Огорченный и испуганный, он возвратился домой, вспомнил о друге своей молодости, об лейпцигском студенте, подавшем ему некогда первую мысль о самоубийстве, и... отравился. Конец, им давно предвиденный и который он сам себе напроорочил!

Сочинения Радищева в стихах и прозе (кроме "Путешествия") изданы были в 1807 году. Самое пространное из его сочинений есть философическое рассуждение "О Человеке, о его смертности и бессмертии". Умствования оно пошло и не оживлены слогом. Радищев хотя и вооружается противу материализма, но в нем все еще виден ученик Гельвеция. Он охотнее излагает, нежели опровергает доводы чистого афеизма. Между статьями литературными замечательно его суждение о Тилемахиде и о Тредьяковском, которого он любил по тому же самому чувству, которое заставило его бранить Ломоносова: из отвращения от общепринятых мнений. В стихах лучшее произведение его есть "Осьмнадцатый век", лирическое стихотворение, писанное древним элегическим размером, где находятся следующие стихи, столь замечательные под его пером.

Урна времен часы изливает каплям подобно,
Капли в ручьи собрались; в реки ручьи возросли,
И на дальнейшем берегу изливают пенистые волны
Вечности в море, а там нет ни предел, ни берегов.
Не возвышался там остров, ни дна там лот не находит;
Веки в него протекли, в нем исчезает их след,
Но знаменито вовеки своею кровавой струею
С звуками грома течет наше столетье туда,
И сокрушен наконец корабль, надежды несущий,
Пристани близок уже, в водоворот поглощен.
Счастье и добродетель и вольность пожрал омут ярый,
Зри, всплывают еще страшны обломки в струе.
Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро,
Будешь проклято во век, в век удивлением всех,
Крови в твоей колыбели, припевание громы сраженьев.
Ах, омочено в крови, ты ниспадаешь во гроб.
Но зри, две вознеслися скалы во среде струй кровавых,
Екатерина и Петр, вечности чада! и росс.

Первая песнь "Бовы" имеет также достоинство. Характер Бовы обрисован оригинально, и разговор его с Каргою забавен. Жаль, что в "Бове", как и в "Алеше Поповиче", другой его поэме, не включенной, не знаем почему, в собрание его сочинений, нет и тени народности, необходимой в творениях такого рода; но Радищев думал подражать Вольтеру, потому что он вечно кому-нибудь да подражал. Вообще Радищев писал лучше стихами, нежели прозою. В ней не имел он образца, а Ломоносов, Херасков, Державин и Костров успели уже обработать наш стихотворный язык.

"Путешествие в Москву", причина его несчастья и славы, есть, как уже мы сказали, очень посредственное произведение, не говоря даже о варварском слого. Сетования на несчастное состояние народа, на насилие вельмож и проч. преувеличены и пошлы. Порывы чувствительности, жеманной и надутый, иногда чрезвычайно смешны. Мы бы могли подтвердить суждение наше множеством выписок. Но читателю стоит открыть его книгу наудачу, чтоб удостовериться в истине нами сказанного.

В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидрота и Реналя [3]; но все в нескладном, искаженном виде, как все предметы криво отражаются в кривом зеркале. Он есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, наобум припоровленные ко всему, - вот что мы видим в Радищеве. Он как будто старается раздражить верховную власть своим горьким злоречием; не лучше ли было бы указать на благо, которое она в состоянии сотворить? Он поносит власть господ как явное беззаконие; не лучше ли было представить правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния крестьян; он злится на цензуру; не лучше ли было потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, дабы с одной стороны сословие писателей не было притеснено и мысль, священный дар Божий, не была рабой и жертвою бессмысленной и своенравной управы, а с другой - чтоб писатель не употреблял сего Божественного орудия к достижению цели низкой или преступной? Но все это было бы просто полезно и не произвело бы ни шума, ни соблазна, ибо само правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но еще требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения, принимало их советы - чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью. Какую цель имел Радищев? чего именно желал он? На сии вопросы вряд ли бы мог он сам отвечать удовлетворительно. Влияние его было ничтожно. Все прочли его книгу и забыли ее, несмотря на то, что в ней есть несколько благоразумных мыслей, несколько благонамеренных предположений, которые не имели никакой нужды быть облечены

в бранчивые и напыщенные выражения и незаконно тиснуты в станках тайной типографии, с примесью пошлого и преступного пустословия. Они принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей искренностью и благоволением; ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви.

3 апреля 1836 г.

П Р И Б А В Л Е Н И Я

I

От императрицы главнокомандовавшему
в Санкт-Петербурге генерал-аншефу Брюсу

Граф Яков Александрович!

Недавно издана здесь книга под названием: "Путешествие из Петербурга в Москву", наполненная самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное ко власти уважение, стремящимися к тому, чтоб произвести в народе негодование противу начальников и начальства, наконец оскорбительными изречениями противу сана и власти царской. Сочинителем сей книги оказался коллежский советник Александр Радищев, который сам учинил в том признание, присовокупив к сему, что после цензуры Управы Благоденствия взнес он многие листы в помянутую книгу, в собственной его типографии напечатанную, и потому взят под стражу. Таковое его преступление повелеваем рассмотреть и судить узаконенным порядком в Палате Уголовного Суда Санкт-Петербургской губернии, где, заключа приговор, взнести оный в Сенат наш.

*Пребываем вам благосклонны.
Екатерина.*

II

26-го июня. Говорили (государыня) о книге "Путешествие из Петербурга в Москву". "Тут рассеяние заразы французской: автор мартинист. Я прочла тридцать страниц". Посылала за Рылевым (обер-полицмейстером). Открывается позорение на Радищева.

2 июля. Продолжает писать примечания на книгу Радищева. А он, сказывают, препоручен Шешковскому и сидит в крепости.

7 июля. "Примечания на книгу Радищева послать к Шешковскому". Сказать изволили, что он бунтовщик, хуже Пугачева, показав мне, что в конце хвалит Франклина и себя таким же представляет. Говорили с жаром и чувствительностью.

11 августа. Доклад о Радищеве с приметною чувствительностию приказано рассмотреть в Совете, "чтоб не быть пристрастною, и объявить, чтоб не уважали до меня касающееся, понеже я презираю".

(Записки Храповицкого.)

III

КЛИН

"Как было во городе во Риме, там жил да был Евфимиаи князь..." Поющий сию народную песню, называемую Алексеем Божиим человеком, был слепой старик, сидящий у ворот почтового двора, окруженный толпою по большей части ребят и юношей. Сребровидная его глава, замкнутые очи, вид спокойствия, в лице его зримого, заставляли взирающих на певца предстоять ему со благоговением. Неискусный хотя его напев, но нежностию изречения сопровождаемый, проникал в сердца его слушателей, лучше природе внемлющих, нежели взрощенные во благогласии уши жителей Москвы и Петербурга внемлют кудрявому напеву Габриелли, Маркези или Тодь. Никто из предстоящих не остался без зыбления внутрь глубокого, когда клинский певец, дошед до разлуки своего ироя, едва прерывающимся ежесекундно гласом изрекал свое повествование. Место, на коем были его очи, исполнилося иступающих из чувствительной от бед души слез, и потоки оных пролилися по ланитам воспевającego. О природа, колико ты властительна! Взирая на плачущего старца, жены возрыдали; со уст юности отлетела сопутница ее улыбка; на лице отрочества явилась робость, неложный знак болезненного, но неизвестного чувствования: даже мужественный возраст, к жестокости толико привыкший, вид восприял важности. О! природа, возопил я паки...

Сколь сладко неязвительное чувствование скорби! Колико сердце оно обновляет и одного чувствительность. Я рыдал вслед за ямским собранием, и слезы мои были столь же для меня сладостны, как исторгнутые из сердца Вертером... О мой друг, мой друг! почто и ты не зрел сея картины? ты бы прослезился со мною и сладость взаимного чувствования была бы гораздо усладительнее.

По окончании песнословия все предстоящие давали старику как будто бы награду за его труд. Он принимал все денежки и полушки, все куски и краюхи хлеба довольно равнодушно; но всегда сопровождадая благодарность свою поклоном, крестясь и говоря к подающему: "Дай Бог тебе здоровья". Я не хотел отъехать, не быв сопровождаем молитвою сего конечно приятного Небу старца. Желал его благословения на совершение пути и желания моего. Казалось мне, да и всегда сие мечтаю, как будто соблагословение чувствительных душ облегчает стезю в шествии и отъемлет терние сомнительности. Подошел к нему, я в дрожащую его руку толико же дрожащею от боязни, не тщеславия ли ради то делаю, положил ему рубль. Перекрестясь, не успел он изрещи обыкновенного своего благословения подающему, отвлечен от того необыкновенностию ощущения лежащего в его горсти. И сие уязвило мое сердце. Колико приятнее ему, вещал я сам себе, подаваемая ему полушка! Он чувствует в ней обыкновенное к бедствиям болезнование человечества, в моем рубле ощущает, может быть, мою гордость. Он не сопровождает его своим благословением. О! колико мал я сам себе тогда казался, колико завидовал давшим полушку и краюшку хлеба певшему старцу! - Не пятак ли? - сказал он, обращая речь свою неопределенно, как и всякое свое

слово. - Нет, дедушка, рублевик, - сказал близ стоящий его мальчик. - Почто такая милостыня? - сказал слепой, опуская места своих очей и лица, казалось, мысленно вообразить себе то, что в горсти его лежало. - Почто она немогущему ею пользоваться. Если бы я не лишен был зрения, сколь бы велика моя была за него благодарность. Не имея в нем нужды, я мог бы снабдить им неимущего! Ах! если бы он был у меня после бывшего здесь пожара, умолк бы хотя на одни сутки вопль алчущих птенцов моего соседа. Но на что он мне теперь? не вижу, куда его и положить; подаст он, может быть, случай к преступлению. Полушку не много прибыли украсть, но за рублем охотно многие протянут руку. Возьми его назад, добрый господин, и ты и я с твоим рублем можем сделать вора. - О истина! koliko ты тяжка чувствительному сердцу, когда ты бываешь в укоризну. - Возьми его назад, мне, право, он ненадобен, да и я уже его не стою; ибо не служил изображенному на нем государю. Угодно было Создателю, чтобы еще в бодрых моих годах лишен я был вождей моих. Терпеливо сношу его прещение. За грехи мои он меня посетил... Я был воин; на многих бывал битвах с неприятелями отечества; сражался всегда неробко. Но воину всегда должно быть по нужде. Ярость исполняла всегда мое сердце при начатии сражения; я не щадил никогда у ног моих лежащего неприятеля и просящего, безоруженному помилования не дарил. Вознесенный победою оружия нашего, когда устремлялся на карание и добычу, пал я ниц, лишенный зрения и чувств пролетевшим мимо очей, в силе своей, пушечным ядром. О! вы, последующие мне, будьте мужественны, но помните человечество. - Возвратил он мне мой рубль и сел опять на место свое покойно.

- Прими свой праздничный пирог, дедушка, - говорила слепому подошедшая женщина лет пятидесяти. С каким восторгом он принял его обеими руками. - Вот истинное благодаяние, вот истинная милостыня. Тридцать лет сряду ем я сей пирог по праздникам и по воскресеньям. Не забыла ты своего обещания, что ты сделала во младенчестве своем. И стоит ли то, что я сделал для покойного твоего отца, чтобы ты до гроба моего меня не забывала? Я, друзья мои, избавил отца ее от обыкновенных нередко побой крестьянам от проходящих солдат. Солдаты хотели что-то у него отнять, он с ними заспорил. Дело было за гумнами. Солдаты начали мужика бить; я был сержантом той роты, которой были солдаты, прилучился тут; прибежал на крик мужика и его избавил от побой; может быть, чего и больше, но вперед отгадывать нельзя. Вот, что вспомнила кормилица моя нынешняя, когда увидела меня здесь в нищенском состоянии. Вот, чего не позабывает она каждый день и каждый праздник. Дело мое было невеликое, но доброе. А доброе приятно Господу; за ним никогда ничто не пропадает.

- Неужели ты меня столько пред всеми обидишь, старичок, - сказал я ему, - и одно мое отвергнешь подаяние? Неужели моя милостыня есть милостыня грешника? Да и та бывает ему на пользу, если служит к умягчению его ожесточенного сердца. - Ты огорчаешь давно уже огорченное сердце естественною казнию, - говорил старец; - не ведал я, что мог тебя обидеть, не приемля на вред послужить могущего подаяния; прости мне мой грех, но дай мне, коли хочешь мне что дать, дай, что может мне быть полезно... Холодная у нас была весна, у меня болело горло - платчишка не было чем повязать шеи - Бог помиловал, болезнь миновалась... Нет ли старенького у тебя платка? Когда у меня заболит горло, я его повяжу; он мою согреть шею; горло болеть перестанет; я тебя вспоминать буду, если тебе нужно воспоминание нищего. - Я снял платок с моей шеи, повязал на шею слепого... И расстался с ним.

Возвращаясь через Клин, я уже не нашел слепого певца. Он за три дня моего приезда умер. Но платок мой, сказывала мне та, которая ему приносила пирог по праздникам, надел, заболев, пред смертью на шею, и с ним положили его во гроб. О! если кто чувствует цену сего платка, тот чувствует и то, что во мне происходило, слушав сие.

Вот каким слогом написана вся книга!

Любители нашей словесности были обрадованы предприятием графа Орлова, хотя и догадывались, что способ перевода, столь блестящий и столь недостаточный (5), нанесет несколько вреда басням неподражаемого нашего поэта. Многие с большим нетерпением ожидали предисловия г-на Лемонте; оно в самом деле очень замечательно, хотя и не совсем удовлетворительно. Вообще там, где автор должен был необходимо писать понаслышке, суждения его могут иногда показаться ошибочными; напротив того, собственные догадки и заключения удивительно правильны. Жаль, что сей знаменитый писатель едва коснулся до таких предметов, о коих мнения его должны быть весьма любопытны. Читаешь его статью [По крайней мере в переводе, напечатанном в "Сыне отечества". Мы не имели случая видеть французский подлинник (прим. Пушкина).] с невольной досадою, как иногда слушаешь разговор очень умного человека, который, будучи связан какими-то приличиями, слишком многого не договаривает и слишком часто отмалчивается.

Бросив беглый взгляд на историю нашей словесности, автор говорит несколько слов о нашем языке, признает его первобытным, не сомневается в том, что он способен к усовершенствованию, и, ссылаясь на уверения русских, предполагает, что он богат, сладкозвучен и обилен разнообразными оборотами.

Мнения сии нетрудно было оправдать. Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный. отселе заемлет он гибкость и

Александр Пушкин. О предисловии г-на Лемонте [4]
к переводу басен И.А. Крылова. Там же.

правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей.

Г-н Лемонте напрасно думает, что владычество татар оставило ржавчину на русском языке. Чуждый язык распространяется не саблею и пожарами, но собственным обилием и превосходством. Какие же новые понятия, требовавшие новых слов, могло принести нам кочующее племя варваров, не имевших ни словесности, ни торговли, ни законодательства? Их нашествие не оставило никаких следов в языке образованных китайцев, и предки наши, в течение двух веков стоная под татарским игом, на языке родном молились русскому Богу, проклинали грозных властителей и передавали друг другу свои сетования. Таковой же пример видели мы в новейшей Греции. Какое действие имеет на поработанный народ сохранение его языка? Рассмотрение сего вопроса завлекло бы нас слишком далеко. Как бы то ни было, едва ли полсотни татарских слов перешло в русский язык. Войны литовские не имели также влияния на судьбу нашего языка; он один оставался неприкосновенною собственностью несчастного нашего отечества.

В царствование Петра I начал он приметно искажаться от необходимого введения голландских, немецких и французских слов. Сия мода распространяла свое влияние и на писателей, в то время покровительствуемых государями и вельможами; к счастью, явился Ломоносов.

Г-н Лемонте в одном замечании говорит о всеобъемлющем гении Ломоносова; но он взглянул не с настоящей точки на великого сподвижника великого Петра.

Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстию сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник: первый углубляется в историю отечества, утверждает правила общественного языка его, дает законы и образцы классического красноречия, с несчастным Рихманом предугадывает открытия Франклина, учреждает фабрику, сам сооружает машины, дарит искусства мозаическими произведениями и наконец открывает нам истинные источники нашего поэтического языка.

Поэзия бывает исключительною страстию немногих, родившихся поэтами; она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни: но если мы станем исследовать жизнь Ломоносова, то найдем, что науки точные были всегда главным и любимым его занятием, стихотворство же - иногда забавою, но чаще должностным упражнением. Мы напрасно искали бы в первом нашем лирике пламенных порывов чувства и воображения. Слог его, ровный, цветущий и живописный, заимлет главное достоинство от глубокого знания книжного славянского языка и от счастливого слияния оногo с

языком простонародным. Вот почему предложения псалмов и другие сильные и близкие подражания высокой поэзии священных книг суть его лучшие произведения. [Любопытно видеть, как тонко насмехается Тредьяковский над с л а в я н щ и з н а м и Ломоносова, как важно советует он ему перенимать легкость и щеголевитость речений изрядной компании! Но удивительно, что Сумароков с большою точностью определил в одном полустииши истинное достоинство Ломоносова-поэта:

Он наших стран Мальгерб,
он Пиндару подобен! [6]
Enfin Malherbe vint, et, le premier en France, etc. [7]

[Пришел наконец Мальгерб, и, первый во Франции, и т. д. (прим. Пушкина).] Они останутся вечными памятниками русской словесности; по ним долго еще должны мы будем изучаться стихотворному языку нашему; но странно жаловаться, что светские люди не читают Ломоносова, и требовать, чтобы человек, умерший 70 лет тому назад, оставался и ныне любимцем публики. Как будто нужны для славы великого Ломоносова мелочные почести модного писателя!

Упомянув об исключительном употреблении французского языка в образованном кругу наших обществ, г. Лемонте столь же остроумно, как и справедливо, замечает, что русский язык чрез то должен был непременно сохранить драгоценную свежесть, простоту и, так сказать, чистосердечность выражений. Не хочу оправдывать нашего равнодушия к успехам отечественной литературы, но нет сомнения, что если наши писатели чрез то теряют много удовольствия, по крайней мере язык и словесность много выигрывают. Кто отклонил французскую поэзию от образцов классической древности? Кто напудрил и нарумянил Мельпомену Расина и даже строгую музу старого Корнеля? Придворные Людовика XIV. Что навело холодный лоск вежливости и остроумия на все произведения писателей 18 столетия? Общество M-es du Deffand, Boufflers, d'Epinau [8], очень милых и образованных женщин. Но Мильтон и Данте писали не для благосклонной улыбки прекрасного пола.

Строгий и справедливый приговор французскому языку делает честь беспристрастию автора. Истинное просвещение беспристрастно. Приводя в пример судьбу сего прозаического языка, г. Лемонте утверждает, что и наш язык, не столько от своих поэтов, сколько от прозаиков, должен ожидать европейской своей общезительности. Русский переводчик оскорбился сим выражением; но если в подлиннике сказано civilisation Europeenne, то сочинитель чуть ли не прав. [9]

Положим, что русская поэзия достигла уже высокой степени образованности: просвещение века требует пищи для размышления, умы не могут довольствоваться одними играми гармонии и воображения, но ученость, политики и философия еще по-русски не изъяснялись; метафизического языка у нас вовсе не существует. Проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты для изъяснения понятий самых обыкновенных, так что леньность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы давно готовы и всем известны.

Г-н Лемонте, входя в некоторые подробности касательно жизни и привычек нашего Крылова, сказал, что он не говорит ни на каком иностранном языке и только понимает по-французски. Не правда! - резко возражает переводчик в своем примечании. В самом деле, Крылов знает главные европейские языки и, сверх того, он, как Альфиери, пятидесяти лет выучился древнему греческому. В других землях таковая характеристическая черта известного человека была бы прославлена во всех журналах; но мы в биографии славных писателей наших довольствуемся означением года их рождения и подробностями послужного списка, да сами же потом и жалуемся на неведение иностранцев о всем, что до нас касается.

В заключение скажу, что мы должны благодарить графа Орлова, избравшего истинно народного поэта, дабы познакомить Европу с литературою Севера. Конечно, ни один француз не осмелится кого бы то ни было поставить выше Лафонтена, но мы, кажется, можем предпочитать ему Крылова. Оба они вечно останутся любимцами своих единоземцев. Некто справедливо заметил, что простодушие (*naivete, bonhomie*) есть врожденное свойство французского народа; напротив того, отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться: Лафонтен и Крылов представители духа обоих народов.

Н.К. [10] 12 avgusta

P.S. Мне показалось излишним замечать некоторые явные ошибки, простительные иностранцу, например сближение Крылова с Карамзиным (сближение, ни на чем не основанное), мнимая неспособность языка нашего к стихосложению совершенно метрическому и проч.

1. *Гримм, странствующий агент французской философии... - Гримм Фридрих Мельхиор - немец по происхождению, французский литератор и идеолог просвещенного абсолютизма.*

2. *...во время Ужаса... - во время революционного террора во Франции (1791-1793).*

3. *...политический цинизм Дидрота и Реналья... - Реналь Гильом-Тома, французский публицист. Его книга "Философская и политическая история*

установлений и торговли европейцев в обеих Индиях" (1770) оказала большое влияние на Радищева.

4. Лемонте, Пьер-Эдуард, французский историк, автор предисловия к двухтомному изданию басен Крылова, которое вышло на французском и итальянском языках в Париже в 1825 году. Издание было организовано графом Орловым (при участии в переводе 59 поэтов и литераторов).

Статья Пушкина является откликом на появление перевода предисловия Лемонте к этому изданию в том же году в "Сыне отечества".

5. Способ перевода столь блестящий и столь недостаточный... - Перевод басен был осуществлен не с русского оригинала, а с французских и итальянских прозаических подстрочников.

6. Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен! - стих из эпистолы "О стихотворстве Сумарокова" (1748).

7. Enfil Malherb vint... - стих из "Поэтического искусства" Буало.

8. Общество M-mes du Deffand, Bouffers, d'Erinau... - Маркиза дю Деффан, графиня Буффлер и госпожа д'Эрине - создательницы французских великосветских литературных салонов середины XVIII в.

9. ...европейской своей общезнательности... - Во французском оригинале этому понятию соответствовало выражение "sociabilité Europeene", а не "civilisation Europeene" (европейская цивилизация), неприятие которой Пушкин столь недвусмысленно выразил.

10. Н.К. - так Пушкин иногда подписывал свои произведения.

Составляя примечания к пушкинским статьям, помещенным в номере, Редакция опиралась на примечания Ю.Г.Оксмана к критике и публицистике Пушкина ["А.С.Пушкин. Собрание сочинений в десяти томах", т. 6, М., изд. "Художественная литература", 1976].

Не так примечательны кажутся примечания Ю.Г.Оксмана, как его комментарии. В частности к очерку "Александр Радищев":

"Пушкин был вынужден пользоваться здесь, "эзоповским языком", подчеркивая не только некоторые свои разногласия с Радищевым, но и явную якобы беспочвенность и устарелость его идеологических позиций. Статья все же была задержана цензором "Современника", а затем окончательно запрещена главным управлением цензуры 26 августа 1836 г. на основании резолюции министра народного просвещения С.С.Уварова, признавшего "излишним возобновлять память о писателе и книге, совершенно забытых и достойных забвения".

Интерес Пушкина к Радищеву и его запрещенной книге начался еще в лицее и продолжался на протяжении всей жизни. Положительные оценки Радищева как поэта, публициста и общественного деятеля рассеяны во многих произведениях и письмах Пушкина. Поэма "Бова" (1815) и ода "Вольность" (1819) написаны в подражание одноименным произведениям Радищева. В письме к А.А.Бестужеву от 13 июня 1823 г., откликаясь на исторический обзор русской литературы, помещенный им в "Полярной звезде", Пушкин писал: "Как можно в статье о русской словесности забыть Радищева? Кого же мы будем помнить?" Его же значение Пушкин с исключительной выразительностью подчеркнул в своем "Памятнике" (1836)".

В отличие от снисходительного министра просвещения С.С.Уварова Редакция не считает "излишним возобновить

память“ о комментарии Ю.Г.Оксмана к очерку Пушкина „Александр Радищев“.

Не столько ради самого комментария, сколько в связи с полной своей растерянностью: кто-то лжет. То ли Пушкин, когда пишет о Радищеве, то ли Ю.Г.Оксман, когда пишет о Пушкине.

Публикуя в дальнейшем произведения русских и зарубежных писателей, Редакция намерена уделять посильное внимание их многочисленным советским толкователям.

Я высоко воздвигну мой престол, (2)
Холодной и ужасной будет его вершина.
Основание его – суеверная дрожь,
Церемонимейстер – самая черная агония.

Кто посмотрит здоровым взором,
Отвернется, смертельно побледнев и онемев
Схваченный слепой и холодной смертностью,
Да приготовит его радость себе могилу.

* * *

Из драматической поэмы „Оуланем“ (3).

Ибо он отбивает время и дает знамения.
Все смелее и смелее я играю танец смерти.
И он тоже: Оуланем, Оуланем.
Это имя, звучит как смерть.
Звучит, пока не замрет в жалких корчах.
Стой! Теперь я понял.
Оно поднимется из мой души
Ясное, как воздух, прочное, как мои кости...
И все же тебя,

персонифицированное человечество, (4)
Силою моих могучих рук я могу схватить
и раздавить с яростной силой,
В то время, как бездна зияет
передо мной и тобой в темноте.
Ты провалишься в неё, и я последую за тобой,
Смеясь и шепча тебе на ухо:
„Спускайся со мною, друг!“

.....
Погиб, погиб. Мое время истекло.
Часы остановились,
ничтожное строение рухнуло.
Скоро я прижму вечность
к моей груди и диким воплем
Изреку проклятие всему человечеству.
.....

Ха, вечность, эта наша вечная боль,
Неописуемая, неизмеримая смерть!
Отвратительная, искусственно зачатая,
Чтобы презирать нас –
Нас, которые сами, как часовой механизм
Слепо механичны, созданы для того, чтобы быть
Глупыми календарями времени и пространства,
Не имеющими никакой цели,
Кроме случайного появления для уничтожения...
.....

Ха! Колесуемый на огненном колесе,
Я должен весело плясать в круге вечности:
Если бы вне её было бы что-нибудь,
Я прыгнул бы туда, хотя бы разрушив при этом мир,
Нагроможденный между ею и мною!
Он должен быть разрушен с проклятиями.
Я сдавлю руками его упрямое бытие.
И, обнимая меня, он должен безмолвно угаснуть
И затем – вниз, погрузиться в ничто.
Совершенно исчезнуть, не быть, – это была бы жизнь...

* * *

С презрением я швырну мою перчатку (5)
Прямо в лицо миру.
И увижу падение пигмея-гиганта.
Которое не охладит мою ненависть.
Тогда, богоподобный и победоносный, я буду бродить
По руинам мира,
И, вливая в мои слова могучую силу,
Я почувствую себя равным Творцу.

|| 1. Книга странная и на вкус Редакции чересчур уж таинственная. Кроме имени автора (Георгий Марченко) и названия („Карл Маркс?“) она не несет на себе никаких опознавательных знаков: издательство, год и страна издания отсутствуют. ||

Между тем, книжка, точнее, брошюра (чуть больше двух авторских листов текста) имеет заграничный вид, а титульный лист отпечатан на бумаге, вообразите, с водяными знаками.

Главная мысль, которую высказывает автор, та, что Маркс был членом, если даже и не главой тайной секты сатанистов. И, стало быть, ставил своей целью не осчастливить человечество, а наоборот – погубить его и уничтожить.

Мысль эта подкреплена богатой и фундаментальной фактографией, многочисленными ссылками на первоисточники и труды биографов Маркса. В конце дан солидный список использованной литературы. Словом, фактическая сторона дела произвела на Редакцию благоприятное впечатление.

Что же касается сатанизма, который по мнению Георгия Марченко восходит к Древнему Востоку (а именно к Пергаму) и идейно подпитывал фашистскую и коммунистическую элиту (доказательство – символика: свастики, звезды и т.д.) – так вот, что касается „пергамского“ сатанизма, то здесь Редакция сомневается.

Не то, чтобы она сомневалась в реальности Пергамского царства – нет и нет. Или в существовании тайных сект с гробовыми целями – почему бы и нет: убили ведь они Столыпина.

Несомненной кажется и склонность Маркса и марксистов к мрачным тайнам и уголовной романтике – именно патетикой подворотни дохнули на Редакцию еще в студенческие её годы уже первые строчки знаменитого „Манифеста“, навсегда отведя тогда еще юную и беспечную Редакцию от чтения основоположников.

Сомнения Редакции другого рода: не в сектах и Пергаме дело, а в плохом воспитании и больном самолюбии. В каком-то „негрятянском“ самоощущении.

Вот тогда-то и возникают и тайны, и секты, и террористы, и пролетарская кепочка на сыне гувернантки Бланк, и краденая фамилия – Ленин. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Несмотря на недоверчивость Редакции в отношении полуанонимных книжек на слишком хорошей бумаге, мы все же решили поместить стихи Маркса в журнале. Они, на наш взгляд, удачно строят аккорд „Германн-Радищев-Маркс“.

2. K. Marx. Collected Works. vol. I. New York. International Publ., 1974.

3. См. в кн.: О. Корню. „К. Маркс и ф. Энгельс Жизнь и деятельность“. Пер. с немецкого. М., изд. „Иностранная литература“, 1959, том 1, стр. 108.

„Оуланем“ – анаграмма имени „Эммануил“, библейского имени Христа. „Эммануил“ в переводе с древнееврейского означает „С нами Бог“.

НЕИЗБЕЖНЫЕ ТИТРЫ

Ныне – время обратных формул и форм, проза всё ближе подбирается к поэзии, поэзия сыплет прозаизмами, драма веселит как комедия, а комедия тосклива как ода. Переиначивая Тютчева, можно сказать, что ныне „ложь изреченная есть мысль“.

И в этом, кажется, нет ничего постыдного, ибо характер нынешней „лжи“, в отличие от лжи недавней и официальной, становится синонимом „фантазии“ и „гиперболы“. Речь как бы „понесла“, вырвавшись из-под кнутовищ вечного кучера и нынешнее бытие ее по ритму и темпу пробегаемых мест очень напоминает синемаграф с его скоростными кадрами и иллюзией целостности и даже неподвижности. Речь стремится соответствовать кадру, описывать, озвучивать его, но каковы должны быть мощности и обертона речи, чтобы поспеть за синемаграфом событий? Это, в конечном счете, вопрос дара и слуха. „Синемаграф речи“ – попытка именно такого успеваения, когда синемаграфичность обретает выпуклость кадра и это сходно с идеей камен, чья визуальная, как бы выходящая из камня часть дополняет скрытую в ней другую, н е в и д и м у ю .

РУССКИЙ ГЕРОЙ

Опыт синтетического прочтения

Он возвышен, с Кавказа, ему соответствует вид дуэлянта, на груди его шрам от чечни, на лопатках шинель залоснилась; он слывет каллиграфом – отцом – сердцеedom – повесой – комбатом; месть его высока, он и метит и мстит, и танцует – из Москвы в Петербург, в Соловки, на Кавказ – крест его, география русского чуда.

Он торгует – торговля идет на „ура“ и высокое чувство в душе сохраняет дорогой, а дорога – одна: музыкальные версты как ноты: „соль-фа-до“, и скрипичным ключом – станционный смотритель, надсмотрщик дороги, бродячий сюжет от Эсхила, торопящий дочь, по-над пропастью знающей место удушья.

О, герой разъездной, о, пожар полыхающей тройки, рост пространства в тебе на дуэльную тянет рифмовку. Путь – длиной в пистолет, синеватый дымок, санный путь и последний подъем на брюхатые полки. О, герой! О, злодей! Степь желта как жена, как жена недвижна, степь,

с которой венчался ты юным. Знать бы цвет облаков, оперенье, окрас над последним российским героем...

Три дороги его – корни пущены вниз, три дороги его: туз, шестерка и тройка, три дороги его – три струны, три сестры, три стихии – т р и л и с т н и к , т р и с т и н а .

„Анно Домини“ – будет молитва ему.

„Анно Домини“ – крест его алый.

„Анно Домини“ – всадник, – скачи, топочи. „Анно Домини“ – свыкнись с разлукой. „Анно Домини“ – скатертью, пухом стелись вниз летящая тройка-дорога.

В НОЧИ

Россия – мала. Ведь до каждой станции её – ночь.

Время в России измеряется ночами. Время накладывается на пространство и диктует ему свои условия существования. Никуда в России нельзя доехать м и н у я ночь. Даже в Казань, даже в Рязань. Как ни скачи, как ни доказывай очевидной близости дороги, – то ли тепловоз будет идти шагом, то ли дорога будет огибать неизбежное болото, – только не миновать вам ночи, не миновать. А ночью исчезнет всё – и будет нестись за окнами мгла и нескончаемый один и тот же ветер, и подозрительно похожий на предыдущего путевой обходчик пощупает вагону- брюхо: „докатится ли колесо до Казани?“

Никто не знает в России, куда и где он едет н о ч ь . Всё сплюснуто, поглощено: поглощены деревья, шпалы, горизонт, нарушены координаты света, опущен занавес, огни – как светляки, способные лишь осветить надкрылья. Вчера ты видел вечером Москву, на карте утверждал её присутствие, наутро будешь в Киеве и вновь поверишь, что приехал точно. Но где ты был и б ы л л и в эту ночь, когда состав, как в приступе падучей, себя не помня, рассекал простор, ушком иголки в нитку попадая? Ты видел сноп каких-то ярких искр, ты слышал речь уснувшего напротив, ты трепетал, а между тем – плыл над рассерженной землей, не зная – чьей и чьи – вокруг дома, и чьи – незримые – вокруг лежали тени, и мрак стоял – над чьей головой.

К т о с к а ж е т н о ч ь ?

Кто видел весь свой путь? Кто убежден, что видел всю дорогу?

Никто в России не осветит ночь.

Никто её не обоймет дороги.

Она м а л а . Она мала как ночь. А ночь – одна, совиными крылами она скрывает землю под собой и мы не видели ещё Россию-матю.

Не видел князь – в какую бездну крест он погружал – и сыщите ли ныне – вы этот крест, на дно упавший – вниз. А ночь – одна и мы с ней – ездоки, на лицах наших – ночи капюшоны и лишь возница знает где чужбина.

А мы – лишь ночь...

И то, что позже назовут "часть сада" было черным домом; внутри и вне струил дымок свою отчетливую шейку-иероглиф. Весна пришла. У грача ломался голос: пеньё баритоном пугало Левашовых мезонин. Усталый путник шагом ехал мимо, или, крестясь, полпевывал в окно: двор был нечист. Нечист дворовый флигель, где схимником сидел безумный ротмистр, адъютант, герой при Кульме, награжденный дважды глаголом жечь, неистовый анчар - Анчар пера в долине Дагестана - в полдневный зной - лежал в своем доме лет двадцать пять - в каком-то полумире уснувший быть: вносили свечи, жар золотил четвертку, еще неосушенную за день. Входили гости, оставляя пятна: курчавое, одно сулило пожар и медь, другое - прах и силу. У адъютанта - всегда был сплин: он Русь любил любовью дуэлянта и, смеясь, кивал на колокол и пушку - двух уродцев Белокочанной и Неглинной. Посасывая лапу, спал огонь, берлогой греясь, лысый ротмистр ронял журнал иль туфлю в усыпленьи с собой борясь - и побеждая. Врачи его оставили, устав от бесконечного молчанья с пациентом. День догорал.

С ним догорали журнал и туфля.

Догорали свечи.

Лампада.

Гости.

Кремль. Москва.

Война.

Киреевский.

Подобие свободы.

В Париже мир.

Безумный ротмистр в доме догорал, под рукописью слыша мышь и что-то, слегка похожее, но тише - "беготню" и "лепетанье" - с л а в у, что слышал и другой, но лет на тридцать раньше и вернее...

ГРАФСКИЙ КУЧЕР

Стихомонограф

"Недавно в Химках скончался старейший житель города - С.Т. По утверждению его дочери в молодости С.Т. служил кучером у графа Л.Н.Толстого. Остается только сожалеть, что этот интереснейший биографический факт стал известен только после смерти нашего уважаемого земляка"

(Из газет)

Я узнал о графском кучере и сразу проникся. Ничего не предвещало сюжета: кучер был мертв, и граф был мертв, и души лошадей давно возили седоков лишь души. „Записки кучера“ - вот перл, которого ждала природа. Как очевидец, графский кучер

мог: отправить графа в дальнее изгнание: поспорить дом; в повадке языка расслышать молчаливое "уйдите"; себя поставить в нужном наклонении; поставить графа в нужном падеже; от конских дел вдруг перейти к интимным; отменно описать каким был снег под Рождество начального в столетия года; свечу поставить и зажечь лампаду; уйти в себя и выйти из себя.

Однако лет 60 отставленный от дома за убытjem графа, смолчал и уберег перо. Он жил в пределах Химок одиноко (страсть к лошадям - воистину не прелесть). Возил он воду по утрам куда-то. Должно быть был во рту романс и вечная отрыжка от махорки. Он был таким: приземист, весь ушедший в плечи, гнет кнутовищ оставил метки на ладонях; ладони - мир из линий незнакомых, глаза наивны и глубоки, в полпальца брови высотой. Когда глядел, то видел душу (не глядя, плакала душа).

Что вижу дальше? Вижу сына. В желтой раме на погибель имеющего козырек и ленточки прилежного матроса. Поблeкший вид внушает подозренье: он не жилец и не жилец давно. "Павлуша" - слышу голос наудачу. Еще есть дочь: она уже стара. Ей голодно пришлось на вдовьем веке. Молчит всегда, когда отец не кучер, а в доме - простой изношенный старик. Он - тайна, в нем - шкатулка, п а л е х, в нем заперт Лев, но ключ, увы, не тот. Он много раз, за чаем, распалившись, глядел с н е в ы р а з и м ы м в ы р а ж е н ь е м. Казалось, вот сейчас, поставив блюдец, прищурится и скажет: "граф был юн". Но что-то пришепetyвает в горле, дрожит оснастка, стар корабль-пергамент, из телячьей кожи снова возвращается в телка.

Он, этот кучер, пересилил графа: молчанье - вот н е п р о т и в л е н ь е где. Ему не нужно было голоса участие. Что голос наш? Тавро на табуне. Он, все дороги обскакавший в Ясной, он, извозивший странников, гостей, юродивых, поэтов, гимназистов, артистов, англичан, детей, - познал на деле цену бессловесья. Была ль тут лошадь всем ему примером, иль речи графа ухо в нем нашли - неведомо, не в этом дело. Он не с к а з а л, когда сказали: секретарь-студентик, мудрый доктор, дочь, сын, кухарка, ближний друг и масса однодневных визитеров. Что это было? Боль, тоска? В себя ушедшее здоровье? Он так блю молчь, что ни одна собака в Химках... И размышляя над его уходом, без лишних слов, и даже без ухода, я думал: вот лучший текст, вот лучшая подробность, вот лучшие записки. Про графа. Умолчанье слова. Жить, избегая знаменитства, в неподчинении, в негордыне, знать: "кучер", знать: "ездок", быть в лошадином глазе отраженным, и быть ему - своим...

..."Так вот где таилась погибель моя!"

Забутый скакун - и отместка. И песнь не о нем - о к о н е. Он ждал должно быть шума, шума. Но тишина стыдливей языка. Он, граф, "сказал", но в о з д е р ж а л с я кучер. Смолчал и конь. Змея под ним спала.

Не зная дома, я бродил по Химкам - размыто все: размытая дорога, разрытый холм, раскрытая дыра. Как трудно было

переждать столетье, нещадно приплюсовывая „нуль“ к изменчивому счетчику десятых. Смолчавший кучер, убежавший граф – какое-то высокое искусство, бестселлер неразрезанный, роман – наколотый, татуировки – главы.

Я понял, как высоко он вознесся, мой гордый век, как низко нужно пасть, чтоб на его не посягнуть гордыню.

1909 года

Моей прабабушке, Фёкле Андреевне
ПУХОВОЙ-КАВАДЕЕВОЙ, гимназистке серебряного века

Я люблю Николая Васильевича Гоголя. Он хорошо пишет гусиными перьями прямодушные повести юга, в которых я узнаю свои сны смешного человека. Снится он мне всегда с красным трезубцем бога морских пучин и китов, волосы его – зеленые водоросли морских полей, в которых запуталось досадное солнцелуние. Обилие вод морских переполняет хорошо сложенную повесть. Прехорошенькие дамочки в шляпках и в ус не дуют. Гоголю бог передает младенчиков. Гоголь берет младенчиков большими красными руками счастья и делает им всякие несчастья. Одному мальчику делает ноги кривыми сучьями, другому наращивает тяжеленькое брюшко жука, третьего душит огромным платьем без рукавов. Девочкам же он придает лисьи носики на остреньких мордочках, говорит им ласковые мерзости низких людей.

Учитель нашего класса Грибоедов 2-ой знает в нем толк и считает его лучшей пищей ума школьника начальных классов. Руки у него большие и красные как у Гоголя, на шее – рубец от запекшихся ран. Я люблю его смелые речи на уроках ботаники, так как именно на ботанике мы чаще всего говорим о нашем гении, чем в прочие часы отдыха и веселья. Впрочем, я люблю и ботанику, так как она напоминает мне литературу больших народов.

Есть романы покрытосеменные с косточками внутри себя и есть романы голосеменные с косточками наружу из тел.

Я привлекательна для мужчин разнообразного возраста и пола. Они ходят за мной по пятам и видят во мне необыкновенной красоты ребенка своих родителей.

В мужчинах много параллельных прямых из геометрии. Геометрию как царицу наук изобрели они же, разглядывая в зеркало свои параллельные линии тел. Первым мужчиной был древний Евклид. Он нашел способ размножения чисел и открыл, что все они имеют свой пол. Я тоже так думаю, как он: единица – мужчина, двойка – женщина, тройка – мужчина, четверка – женщина.

Сама я – восьмерка, так как больше всего на неё фигурно похожа. Все мужчины хотят женться на мне, но всё больше молчат в сторону.

Андрей Кавадеев. Гимназистка
серебряного века. Дневник 1909 – 1911 г.г.

Во мне подозревают ранний разум и мощное развитие абстрактной души. Кроме того, я хорошенькая сама по себе и умею красивой волной укладывать волосы, как жена древнего императора Траяна, чтобы понравиться Траяну.

Русский мой чист, а чернильница всегда суха от трудов моего пера. Вчера я красноречиво убедила нашего грамматика Попова в этом факте, что „барышник“ было как слово изначально другом „барышник“, имея в виду общее родство между ними в слове „барыш“.

Во мне много светлого ума ребенка, но немало и разума взрослой женщины, носящей шляпку и имеющей мужчину с параллельными линиями фигуры. На уроке анатомии и гигиены наша пылкая мадам Гусева, часто болеющая гриппом от сырости города, как-то сказала, что дисфункция есть часто следствие усиления вращения Земли вокруг своей оси и лунной активности вечного спутника Земли. Тогда с кипящей во мне злостью на колдунью Голубишникову, перепачкавшую мое хорошенькое платьице руками в зеленке от неслыханных чувств ко мне, я зашла поутру в кабинет географии и неистово завертела глобус с тем, чтобы вызвать у оной Голубишниковой вечную дисфункцию и раннюю беременность от чрезмерной страсти к чертежнику Буцефаловичу, пригретого ею от любви к параллельным линиям его фигуры.

Глупости во мне много, следовательно я – поэт. Я люблю острые ощущения на Игоре Северяnine и на автомобиле с рожком из Мендельсона. Наш шофер Котов возит меня в отделанные местности Третьего Рима и, заглушая мощные обертоны автомобильного сердца, целует меня в рот обветренными как у Нансена губами. Я тоже целую его обветренными как у Нансена губами и нахожу в этом немалую поэзу своей молодой жизни.

Люблю я когда устанавливаются твердые московские погоды. Снег хрустит под новенькими калошами, явно напоминая мне о том, что географический экватор делит нашу матушку-землю на две несчастные половины. В той половине счастья, где иду я, морозное времяпрепровождение жизни стимулирует дикую любовь к чаю и восьмиведерному самовару с вареньем из свежей облепихи, зипунам у мужичков-отходников деревенской скуки и котиковым шубейкам настоящих женщин. В той же половине счастья, где меня по забывчивости природы и провидения нет, какой-нибудь смуглокожий малаец Ли ест хрупкое мясо таинственных животных Борнео, испеченное им в настоящих кокосовых листьях.

Дорогой меня обыкновенно сопровождает скорым шагом Грибоедов 2-ой и мы премило говорим о Николае Васильевиче Гоголе или о краснокожих, которые презабавно верят в метемпсихозию.

Тяжелый крест быть ребенком Начала Века. Вихрь впечатлительности обурекает душу пещерного девятнадцатого

столетия. Когда я качусь на конке и веселюсь, мне внезапно кажется, что Страстной непременно должен быть разрушен. И я, как Катон Старший, всегда повторяю длинные нравоучительные слова бездарному второгоднику Белкину: „И все же, господа, я полагаю, что Страстной должен быть разрушен!“. Боже, почему я так полагаю?

Я часто бешусь от избытка не востребовавшего материнства. Но я твердо решила: я никогда не буду матерью своих детей. Я буду путешествовать как Блаватская в пещерах, джунглях Индостана, я отыщу мистическую совмещенность всех существ на земле конфессий и опишу свой беспредельный опыт в высоченной книге под названием „Хроника Мировой Души“. Царь-господин прознает о величии моего Духа и даст мне вечный пансион и имение в Псковской губернии.

Ко мне будут съезжаться люди необычайной правдивости души и необыкновенной учености в геометрии и ботанике; мы разложим на молекулярные сущности идею Хаоса первовещества, мы откроем секрет черноты Кришны и разведем ореол потемок с русской души.

Сегодня на вопрос Учителя Биологии Отродясьева, высказанный с благими намерениями по отношению к моим знаниям об эволюции рогатых млекопитающих, я ответила с достойной сухостью дамы, знающей систему Спенсера и идеализм Платона:

– Они, сударь, завелись все от росы божией, – ответствовала я, в живописнейших красках описав свое мнение и доказав его примерами из „домашнего скотолечебника“.

Отродясьев – человек молодых порывов и влюбленный по уши в Дарвина магнетизмом его открытий – вдруг взбесился и перестал быть мною безнадежно очарован. Да, не всегда нужно обнаруживать ученость в деле кровоточащего Сердца и пламенной разночинской страсти.

В обществе распространяется сейчас грустная вера в приметные встречи с разными сословными людьми. Говорят, например, что встретить кадета в сочельник – быть в слезах целую половину наступающего года Полной Луны, увидеть попа на митинге – быть головной мигрени, а то и горловой чахотке. Не совсем хорошо говорят и об Учителе Начальных Классов – встреча с ним вечер под пятницу обещает скорую предательскую разлуку с нежнейшим созданием твоей мечты. Я, поэтому, избегаю излишних встреч с Грибоедовым 2-ым по пятницам, ибо я имею Господина Моего Сердца, нежного друга моей души. Имя его – великая тайна моей застенчивости, синоним всего сокровенного, что есть в моем влюбчивом цилиндрическом Сердце.

Говорят, что Сердце состоит из двух цилиндров с клапанами, в которых клокочет кровь наших чувств. Эта отвратительная физиология разночинцев не мешает мне представлять Сердце Моего Нежного Друга в виде бутона розы изящных изгибов и форм. Чувство раздвигает его лепестки как маленькая пчелка Любви, перебирая тонкими изумительными лапками судорожных наслаждений.

Сегодня на уроке живописи и ваiania я заявила нашему горехудожнику Репинскому, что живопись геометрическими фигурами Малевича и Лентулова есть ничто иное, как "Сватовство майора" и "Свежий кавалер". Репинский - мрачный квазимодо нашей гимназии - бросился на меня с рычанием зверя, за что и получил от Грибоедова 2-го звонкую оплеуху честного человека. Жаль, что теперь так высмеяли дуэли, а не то лежать бы кому-то из них на кровавом снегу за приреченное мне неудобство.

Прошлым четвергом ездили мы всей нашей гимназической братией на пикник в Мойсей остров. Учитель Истории - премилый карлик роста Катышин - с важностью античного лиса Тита Ливия объявил нам красноречиво и с мимикою, что название сие происходит от исторического разговора бывшего царя нашего Петра Первого с его голубиным другом пирожником Меньшиковым. - Меньшиков, - сказал Камышин, - спрашивает как-то Петра:

- Чей сей остров?

А Петр, остроумнейший наш царь, отвечает пирожнику:

- Мой сей остров. Так и повелось подобное название в благодарном народе этих мест. На пикнике все мы весело резвились на коньках. Я дважды объехала господина Попова и мадам Гусеву, которые опасались пропасти и все время вспоминали про Ледовое Побоище.

Нежный Друг Моего Сердца катался лучше всех. Им двигала моя Любовь и другие лучшие чувства.

Накатавшись, пили французский кофе с булочками от Прево и спорили о декадентах, отравляющих мир испорченной линией своих сердец.

Какая долгая и смелая ожидает меня жизнь Сердца! Сколько губительных тонн чувства следует перекачать моим нежным цилиндрикам из анатомии, сколько нежных пчелок пороеется в сладком бутоне роз Моего Господина Сердца! Это рассуждение придает грусть моему лицу, когда веселою гурьбою возвращаемся мы с Мойсейки, притоптывая скорее от кокетства, чем от холода

дробным конским топотом. Да, великая жизнь Счастья расстилается впереди, где уже означена своими золотыми огоньками зимняя Москва, разумно принимающая в свое лоно своих серебряных от инея гимназистов.

1910 года

Вот и отбежало, отпрыгало Рождество колючиком дождиком карликовой сосны и снега. Это было первое Рождество вдвоем, с подлым родительским обманом их лучших чувств и идеалов, воспитанных во мне ими. Мой Нежный Друг поджидал меня - бедную Машу Дубровскую его Сердца - на залитой Луной нашего злодейства Малой Никитской. За его кожаным поясом блистал длинный пистолет бретера и браво, он приобнял меня за плечи и мы живо побежали на последнюю конку нашей жизни.

- Ах, любите ли вы, любите ли вы меня, Маша? - всю дорогу неистовым гасконцем выкрикивал он, размахивая своим пистолетом в смертельной близости от беззащитной пылкой груди самозванца.

- Да, Владимир, я люблю Вас, - кротко ответствовала я, навек порывая с таинственными дедьями Индостана, мистикой восточных стран и субъективным идеализмом древнего Платона.

Метель, пристрашненькая менада русского ландшафта, выбегала простоволосой мешанкой из Горького и Андреева и долго трусила нам вслед, напоминая о судьбе маленького человека жизни, тоже справляющего свое Рождество в компании многих деток и многих кошек.

- Владимир! - вскричала я как пророк, - есть ли у Вас деньги?

- Да, - ответил Нежный Друг Моего Сердца, - два рубля серебром на гимназические завтраки.

- Отдайте их людям, кротким и бедным, как княжна Тараканова и князь Мышкин, - закричала я и, веселые, мы стали расхаживать по салону и раздавать бедным щедрые дары Вифлеемской ночи.

Квартиру Владимира охраняли влюбленные разбойники его шайки благородных убийц и донжуанов. Когда мы поднимались по замерзшим ступеням, они отдавали нам честь, неловко снимая свои разбойничьи картузы отпетых негодяев.

Стол был украшен яствами теплых морей и полуденных стран.

В бокалах хрустала ленилась огнедышащая лава аи.

Отослав послушную китайскую прислугу своих забав, Владимир встал на колени, желая одолжить мне свое Сердце Бутона. И оставить его у меня по возможности дольше...

Я расцеловала его лоб глубокомысленного человека.

Рождественская ночь, проведенная на счастье с горячо любимым Господином Моего Сердца, долго не давала мне

спокойно предаваться зрелым размышлениям Ума на истории и географии. В великой рассеянности Сердца прочертила я важную границу Отечества от Босфора и Дарданелл до Северной Аляски, выдавая желаемое в жизни русского за действительное в его судьбе мечтателя. Учитель истории, карлик роста Камышин, взглянул на меня из-под пенсне из "Вишневого Сада" грустным генералом войны Витте.

- Ах, Зиночка, вашими бы ручками...

И - заплакал, задрезжал, затренькал слезами всякого честного человека, помнящего несмыслимый в судьбе позор смертельной Цусимы и города Порт-Артур.

Я внезапно и навсегда полюбила бесконечной любовью гекзаметрический эпос Гомера. Все в прекрасной душе Одиссея напоминает мне почему-то смешного Грибоедова 2-го. Нет, Господин Моего Сердца, мой разбойный Владимир-младший не стал для меня дальше, просто он - герой из другого мира легенд, а Грибоедов 2-ой - настоящий грек в своих ботанических одиссеях от тычинки к пестику, от Дарвина быстроглазого к Гоголю смиренномудрому. Он знает жизнь адских чар, как знала их волшебница Кирка. Он знает, какой речью обуздать порыв яростного Полифема, он знает, что гекатомба - это не столько стихи, сколько волны.

Этой ночью мне снился сон неумного человека. Мне снилось, что Грибоедов 2-ой обращается вдруг в белого быка огромных размеров тела и зовет меня с собой, в плаванье, полное авантюризма и неизвестных последствий. Я - маленькая Елена его судьбы - стою в прекрасной тунике царской невесты и вот-вот должна решиться на неизбежное для меня дело. Грибоедов 2-ой кричит как тяжело больной древний грек и вдруг отовсюду раздаётся сладкое пение бельканто райских птиц и сирен, и мимо нас проплывает привязанный к мачте как жертва оглушенный пением Владимир. Сирены поют ему в самое ухо песни необычайной красоты.

Проснувшись, я немедленно достала фото Владимира и, обливаясь слезами Марии Магдалены, расцеловала его лоб глубокомысленного человека.

Грамматик Попов выдал нам полные чернильницы и новые перья с тем, чтобы мы написали талантливые сочинения о различии любовных чувств у Печорина и Онегина. Тема эта показалась мне заслуживающей большого Ума человека чувства и я написала все, как перевоплотилось это в моей сумрачной душе подростка.

Отрывок из сочинения

"О различии любовных чувств у Печорина и Онегина"

"Мужчины есть, по моему мнению, лишь предметы женских мечтаний о них. Чем чище и глубже вековая женская мечта о мужчине - тем чище и глубже получается сам мужчина. Ева хотела иметь бесстрашного героя и работника, но желала для него лишь одного изъяна, чтобы он ее любил, вопреки идее творения. Так и вышло: ребро преподало положительный урок Адаму, а не Адам - ребру. Так с первоначальной попытки счастья, и тянется нескончаемая череда женских мечтаний и их мужских воплощений. Печорин помечтался Бэле способным к равнодушию зверем Севера, княжна Мэри увидела в нем тонкого циника чувств, способного ради пари имитировать неслыханность страсти. Из этого следует, что все эти героини романов сами были в помыслах непреднамеренные убийцы идеала и вовсе не желали осуществления власти его в возлюбленном ими мужчине. Каждая получила то впечатление, которое питала и которое за собой знала. Иное дело Онегин и Татьяна. Идеал Татьяны - в становлении, он совсем неясен, дроблив, проступают какие-то размытые черты сначала Гарольда, затем странника-путешественника разных стран, затем мученика войн, затем воина побед, инвалида судьбы. За то время, что пропутешествовал Онегин, идеал ее высветился ярко и навсегда: им стал благородный и пострадавший за благородство, герой без страха, частный человек долга, - короче им и стал Старый Генерал, ее законный муж. Зная это за собой, Татьяна все же не могла отказать себе в любезности Сердца взглянуть еще раз на того, кого она когда-то всего лишь л ю б и л а..."

Я заплакала над своим сочинением весь вечер и облитую слезами копию его отправила Владимиру Дубровскому и Грибоедову 2-му.

Я замечаю в себе невероятной силы страсть к душевному подтруниванию над каждым, кто говорит длинные речи или что-то долго читает в книге. Наш инвалид роста Карамышев, влюбленный в меня как Эней, как-то раз очень долго читал о том, что в эпоху Смутного Времени цвевды позорно оставили Москву, убоявшись в ней полчищ одолевавших их клопов. Захотав при этом весьма обидно и неестественно, и очень смутила Карамышева в неотразимом чтении его губ.

- Что это вы, господь с вами, Зиночка, расчихикались?

- Странное сравнение пришло на ум, Николай Филиппович.

- Извольте же.

- Рим, знаете ли, спасли гуси, а Москву, выходит, клопы.

Карамышев покатился со стула как яблоко Париса. Кажется, еще один человек страсти ко мне, перестанет со мной здороваться. Обидно.

Полыхает весна, а мне все ярче представляется лето, полное драматических впечатлений от разлуки с нежным Господином Моего Сердца. Моя любезная, драгоценная тетушка Аглая Васильевна зовет меня на красное лето в Тамбовскую губернию, где обещает ягоды, грибы и сватовство ее молодого соседа Печуркина. Я возьму с собой "Одиссею" в переводе Жуковского и учебник ботаники в память о прежних встречах с Грибоедовым 2-м. Возьму я также и фото Владимира с дарственной надписью собственными его стихами: "люби меня как я тебя".

Я предамся тоске своего отравленного людьми Сердца и буду горемычна, как Дидона, оставленная основоположником Рима Энеем.

Грустные будут люди, перечитающие эти строки в книжке с серебряным зажимом и портретом Николая Васильевича Гоголя. Им будет стыдно отсутствия таких розоватых чувств, такого воображения души, как у Гомера из Греции.

Им будет стыдно не любить ботаники с блестящим рисунком репейника кисти Уполовникова, им будет стыдно не знать исторических парадигм в изложении карлика Карамышева, им будет стыдно не говорить часами о Николае Васильевиче Гоголе с лучшим литератором всех времен Иваном Степановичем Грибоедовым 2-м.

Короче, им будет стыдно своего малого молекулярного веса в системе астрономических тягот и притяжений лучших планет моей Юности.

Лето 1910

Теперь только я поняла: я люблю Блока и железную дорогу в Тамбов. Блока Александра Александровича видела я на шумном гимназическом вечере, когда, веселые компанией друг друга, мы живо прощались до осени на лето. Прекрасные собою, в том числе прекрасные собою мадам Гусева в новом платье "Бастилия" и в слезах радости своего совершенства мадемуазель Голубишникова, мы расселись в гимназической столовой и нежно слушали голос этого курчавого человека с глазами-бусинками промысловой белки. С первых его слов слабой страсти, с первого его жеста изнеженной руки артиста Парнаса и Олимпа, я ооченела от силы любовных суеты и томления.

Ему лет тридцать, но читал он, как лицеист Пушкин, замахиваясь тетрадкой, а мы все, как старик Державин, благословясь, сходили в гроб.

Потом мы все, не сговариваясь, совершенно опоили его нашим жутким гимназическим кофэ, сделанным из желудей мадам Пресняковой с добавлением сухого молока кобылицы полей и корня цикория, от которого кружатся головы и чернеют зубы.

Блок, конечно, не Николай Васильевич Гоголь, но так же скромн душой и неказист телом. Я от полноты и близости Счастья хотела подарить гениу поэтов свой дневник за 1909 год, но решила, что это слишкoм большая жертва со стороны Эвридики и, раздумав, подарила мэтру русской словесности книжку древнего идеалиста Платона о мужественном отравлении его друга и учителя - Сократа Афинского. Блок был тронут и поцеловал меня в губы как певец соловьев.

На следующий день я села в вагон богатырского поезда "Москва-Тамбов" и дала, переполненная магией впечатлений, поцеловать ручку развеселой души проводнику Каретникову. Всю дорогу Каретников вспоминал об этом знаменательном случае в своей железнодорожной судьбе и пылко осыпал меня благодеяниями в виде цейлонского чая с лимонцем южных деревьев Крыма, пирожными "Лафайет" и папиросами "Кавказ".

В благодарность я, растроганная им, словно бы это был граф Монте-Кристо, оговоренный соперником, прочитала ему избранные и дорогие моему уставшему от битв чувств Сердцу стихи к нежному Господину Моей Воли.

Ночь прошла спокойно - мне снился безысходный Блок, просящий у меня руки и ответного известного чувства.

Альбом Гимназистски Стихи к Господину Моего Сердца

Пуэрто-риканские розы

Сегодня канун Николая.
Судьба моя - вся на кону,
Пуэрто-риканские розы
Купил ты в Гостином Ряду.
Они так милы, так несвежи,
Их вез нам стальной пароход,
Судьба их глупа и мятежна,
Как мой предстоящий уход.
Слова твои шумны как дети
В какой-то несложной игре,
Люби же букетики эти
В их красной и синей фольге.
Они тебе часто напомнят
Канун Николая в снегу,
Стальной пароход длинноствольный,
Прощанье в Гостином Ряду.

Ноября 28-го.

Дон Кихот

Отчего так пышут розы
На жару?
С Дульциней из Тобоса
Я живу.
Я на ослике ее вожу,
Я в узде ее держу.
Платье ткали Дульциней два ежа,
На венчаньи утешали два стрижа.
Я колечко ей на пальчик посадил,
Санча Панцу как игрушку подарил.
Будем жить же Дульциней без обид,
Нас Сервантес мертвым пальчиком манит.
Октября 26-го.

Все к разлуке

Все к разлуке: город, имя,
Фото передать,
Папе в Ватиканском Риме
Туфлю целовать.
Все к разлуке: два тюльпана
В желтых кимоно,
Пить из белого бокала
Красное вино.
Передать платок с гусыней,
Слезы - благодать!
Чтобы в этом Третьем Риме
Папою не стать.
Все к разлуке, все - к дороге;
Куст - неопалим.
Даже бесы, даже боги,
Даже Рим.

Февраля 8-го.

Лунный грунт

Мой маленький хитрый шалун,
Подарите мне лунный грунт.
Им луна, говорят, полна.
Разве хуже я чем луна?
Я в ущербе семь дней ждала,
Я от Солнца себя берегла,
Задушила соленый и медный бунт, -
Подарите мне лунный грунт!
Мне не нужен кровавый Марс,

Мне не нужен Сатурна газ,
Пятен Солнца не нужен фунт, -
Подарите мне лунный грунт!
Ювелир мой - исправен, раж -
Золотую сработайте пряжь,
Переплывши земной Трапезунд,
Подарите мне лунный грунт!
Приоденьте меня, дружок,
Станем вместе: богиня, Бог.

Шоколадка

Так умеют кричать только дети,
Если что-то не куплено им,
Если прячется где-то в буфете
Шоколадный зайчонок "Пушкин"
Откликаюсь на крик ребенка,
Ушки вострые прячет в ликер,
Золотистая одежонка
Грудь арапа таит до сих пор.
Пушкин, Пушкин - зайчонок съедобный,
Ты опять оказался хитер:
Вызвал плач - незлобивый, беззлобный,
Тихий, детский, ночной приговор.
Генваря 27-го.

Ответный поцелуй

У кого тоска больнее,
Первым тот придет,
В руку даст китайский веер,
Поцелует в рот.
Словом глупым, словом светлым
Унесет в пески,
Как в могилу вас зароет
В залежи тоски.
Поцелуй ответный страшен
Вечером в саду,
У кого он был испрошен,
Тот - в аду.
У кого он был испрошен,
Тот тоской своей размножен.

Генваря 29-го.

Определение паровоза

Паровоз - это то, что дойдет,
Если стрелку перевести,
Если вдруг машинист не умрет
От чрезмерной любви.

Паровоз - это то, что не ждет,
Если выпил немного буфет,
Если в третьем классе корнет
Не стреляется в лоб.

Паровоз - это то, где поют,
Если песни черствей бутерброд,
Если мимо Тамбов или Тверь
Два носильщика в черном несут.

Путь дорожный - как Пушкина взгляд,
От него закипает вода,
Паровоз - это то, где сидят,
Если едут сидеть навсегда.

Июня 2-го года 1910.

Моя тетушка - лучший подарок для путешественника.

Прием, устроенный ею, мне, граничил с безумием графа Фиеско в Риме: плоды огорода ослепляли стол, окрестные сады тоже не поскупились и оставили знаки своего внимания - и все это, не считая недельного поросеночка на щите, брошенном Горацием во время гражданских войн во имя поэзии, цветов полевой принадлежности, наливки из ягод кустарника и орехов из отпрысков тамбовских лесов.

За стол сели: хлебосольная тетушка моей мечты с лицом вечно страдающего от жары человека, мой дядюшка - крохотный старичок, похожий на гномика, потерявшего свою шапочку с колокольцем, мой племянник Арсений - юноша с насупленными бровями и угрюмым взглядом железнодорожного кондуктора, а также „явившийся незапылившись“, как сказала тетушка, местный помещик Печуркин, тотчас же одаривший меня коробочной монпансье.

Весь ужин я протараторила о Блоке и прекрасной даме его стихов. Тетушка слушала меня, отдуваясь. Дядюшка громко пил чай вприкуску, Арсений терзал скатерть, стараясь притупить разгорающиеся в нем темные инстинкты Дарвина, а Печуркин хлопал в ладоши и подбирал рифмы к забытым строчкам.

Потом мы шли с Печуркиным по саду, наслаждаясь избытком зелени Тамбовщины. Печуркин рассказывал свои трогательные повести о службе в частях рыболовного флота, о тяготах его как мужчины без женщины и ожидании большого ответного чувства на его большое и безответное.

Мы ушли далеко за черту города Тамбова и оказались вдруг застигнуты мглой ночи в каких-то оврагах, на склонах которых выли, предположительно, тамбовские волки. К тому же пошел

настоящий ливень из Библии, Печуркин совершенно изнемог духом и панически бежал, уносимый ветром иных желаний. Как могла, выбралась я из оврага и, влача на себе одежды мученицы, к утру добралась до тетушкиного дома. Тетушка, узнав о незатейливом приключении моем с рыбным офицером, тотчас же озлилась, а Арсений в тот же день, не смотря на возраст подростка, изукрасил физиогномию моего Вергилия кроваво-синими кругами ада.

В великой радости провожу я жаркие денечки тамбовского лета. Арсений оказался толковым знатоком леса. Он открыл мне глаза на произрастание разнообразных грибных семейств и объяснил сущность их произрастания и нахождения. Тетушка шьет мне что-то на грудь, кажется, кофточку с яблоком раздора.

Часто вспоминаются мне Алдександр Александрович Блок и Николай Васильевич Гоголь. Читаю их с громко бьющимся Сердцем и нахожу необыкновенную прелесть в этих мужчинах. Почтальоны несут мне письма знакомцев моего Сердца: было от Грибоедова 2-го, и от Господина, и от старика Карамышева, и даже от разночинца Отродьясева.

Не было только от Блока и Гоголя. Жду с нетерпением.

Дядюшка мой, пристальный читатель газеты „Тамбовские вести“, часто за чаем с лимоном говорит, что всеми народами ожидается вскоре мировая бойня, которая затмит своим величием смерти все, до чего додумались до нее всякие полководцы и интриганы. Когда он говорит это страшное дело, я боюсь откалывать кусочки от большой сахарной головы императора французов Наполеона, которую мы намедни купили в лавке купца Парамонова, обернутой в голубую фольгу от сырости и нашествия мух. Чуткое Сердце подсказывает мне, что если действительно грянет война народов, как пишут „Тамбовские ведомости“, никто из Кавалеров Моего Сердца не спасется. И первым убьют, конечно, Грибоедова 2-го. Бесстрашного мужества человек, он первым падет, как Герой из одного только чувства героизма и любви ко мне. Как страшно представлять себе то, что не хочешь. Но кому, как не мне, гимназистке Чуткого Сердца, знать про это точно. Ходить под августовскими деревьями и видеть мерцание гроз, срывать яблоки антоновку изобильного года, помогать тетушке цедить в желтые банки неслыханной красоты варенье – и все это под стихи немеркнущего сада, под пение отплывающих греков Гомера, под тихую ботанику с продольным разрезом репейника кисти Уполовникова.

Да, что-то идет, что-то замышлено в непрощаемом нам мире больших чувств, кто-то дышит нам вслед торопливым зверем оврага, в который завела нас звездная прогулка с милым другом, Господином Нашего Сердца.

Гайто Газданов. ПИЛИГРИМЫ

Роман. Пес. „Новый журнал“ №№ 33–36, Нью-Йорк, 1953–54 г.г.

“Dear God, give us strength to accept with serenity the things that cannot be changed. Give us courage to change the things that can and should be changed. And give us wisdom to distinguish one from the other.”

Боже, дай нам силы – достойно принять то, что неизбежно. Дай мужество – изменить то, что изменить можно и должно. И дай мудрость, чтобы первое отличить от второго.

Слова, приписываемые адмиралу Харту

Когда Роберт читал романы, он почти каждый раз испытывал по отношению к их героям нечто вроде бессознательной зависти. Если книга, которая ему попадалась, была написана с известной степенью литературной убедительности, у него не возникало сомнения, что ее герои могли прожить именно такую жизнь и пройти именно через те чувства и события, изложение которых являлось содержанием романа. Как почти всякий читатель, он ставил себя на место того или иного героя, и его воображение послушно следовало за авторским замыслом. Но когда он прочитывал последнюю страницу, он снова оставался один – в том мире и в той действительности, где не было и, казалось, не могло быть ничего, похожего на это

богатство происшествий и чувств. В его личной жизни, как он думал, никогда ничего не происходило. Он упорно старался найти объяснение этому, но объяснения, казалось, не было. Ему не пришлось испытывать ни очень сильных чувств, ни бурных желаний; и сколько он ни искал в своей памяти, он не мог вспомнить за все время ни одного периода его существования, о котором он мог бы сказать, что тогда он был по-настоящему счастлив или по-настоящему несчастен или что достижение той или иной цели казалось бы ему вопросом жизни или смерти. И оттого, что его личная судьба была так бедна душевно по сравнению с

судьбой других людей, о которых были написаны эти книги, он начинал смутно жалеть о чем-то неопределенном, что могло бы быть и чего не было.

Может быть отчасти это происходило так потому, что он никогда не знал никакой нужды. Его отец, крупный, краснолицый человек пятидесяти лет, начал свою жизнь механиком. Но это было давно, почти тридцать лет тому назад. Теперь он был владельцем автомобильного завода и акций в нескольких предприятиях. Своему сыну он не отказывал ни в чем и только неизменно удивлялся, что требования Роберта были такими скромными. Он не понимал, почему Роберту, с его возможностью иметь много денег и тратить их как ему нравилось, нужны были только незначительные суммы. Он не понимал, почему его сын, атлетический молодой человек, недавно кончивший университет, никуда не ходит, ничем не интересуется и большую часть времени проводит дома, за книгами. — Когда же ты будешь жить? — спрашивал он его. — Я вовсе, не требую от тебя, чтобы ты вел себя Бог знает как. Но скажи мне пожалуйста, на кой же черт я работал всю жизнь как негр? Ты бы хоть в Folies Bergères пошел.

Такие разговоры происходили довольно часто, не непременно в этой форме, но всегда об одном и том же. И каждый раз они не приводили ни к чему. Робер Бертье не испытывал ни малейшего тяготения к той жизни, о которой мечтали многие его сверстники — и не только они. Он находил, что программы огромных мюзикхоллей чаще всего отличаются дурным вкусом, который неизменно его коробил. Ночные кабаре вызывали у него скуку или отвращение. Он бывал неоднократно во всех этих местах — в период кратковременного своего брака с Жоржеттой, которая была готова проводить там сутки.

Он сидел в своем любимом кресле у окна и думал о Жоржетте. Он вспоминал, как радовался его отец, Андрэ Бертье, как он заказывал свадебный обед и как бурно он поздравлял Роберта. Он понимал, что женщины типа Жоржетты должны были нравиться его отцу. Но сам Роберт начал уставать от ее присутствия через неделю после брака.

Она родилась в Вильфранш, на берегу Средиземного моря, и в ней издали можно было узнать южанку — по черным ее волосам, по блестящим глазам такого удивительно темного цвета, которого потом Роберт никогда не встречал, по звонкому ее голосу и по необыкновенной быстроте ее речи. У нее было чуть полноватое для восемнадцатилетней девушки тело, на котором после малейшего усилия выступали капельки пота. И этот запах ее разгоряченного тела был именно тем, что больше всего запомнилось Роберту. Ее любовь казалась ему слишком шумной и слишком бурной, ее укусы и крики во время объятий несколько раздражали его. Но главное, что он ставил ей в вину, это, что кроме этого бурного движения, у нее не было ничего. Она никогда ни о чем не задумывалась.

валась, у нее не хватало терпения прочесть хоть одну книгу до конца, и с ней не о чем было говорить. Она могла танцевать сколько угодно, два раза ужинать или обедать, ехать куда угодно, потом лечь в постель и мгновенно, на полуслове, заснуть. Но проснувшись, она вскакивала с кровати и все опять начиналось сначала. Он прожил с ней ровно шесть месяцев. Она несколько раз плакала, звучно всхлипывая, сморкаясь и упрекая его в жестокости, но через минуту забывала об этом и уходила переодеваться, чтобы опять с ним куда-нибудь ехать – в доказательство того, что их ссора забыта и что они все простили друг другу. Она знала все танцы, все модные романсы, все кабаре, всех певцов, певиц и скрипачей из цыганских или румынских оркестров, все рестораны и все блюда, которыми они славились. И когда однажды она уехала на неделю в Вильфранш, к матери, как она говорила, – потом выяснилось, что это была неправда и она оставалась в Париже, – и затем вернулась и сказала Роберту с непривычно серьезным выражением лица, что надо иметь мужество смотреть истине в глаза, – он взглянул на нее с нескрываемым удивлением, – и что они не созданы друг для друга, он впервые за все время испытал необыкновенное облегчение.

– Мне тоже так кажется, – сказал он, – и я давно об этом думал, но мне не хотелось тебя огорчать.

Она тут же рассказала ему, что познакомилась с одним очаровательным человеком, которого зовут Антонио и который не так давно приехал из Боливии, – и что хотела бы получить развод. Роберт тотчас на это согласился.

Теперь она жила в Боливии со своим мужем, у нее было двое детей, она время от времени писала Роберту письма и присылала фотографии то каждого ребенка в отдельности, то обоих вместе, то себя с мужем, то себя одну, на террасе, в кресле, с книгой в руках. Роберт вспомнил о ней теперь, три года спустя, без всякого раздражения; и так как ее постоянное присутствие больше не стесняло его, он отдавал ей должное – с трехлетним опозданием – и ее несомненному очарованию, и ее непосредственности, и тому, что она была слишком простодушна, чтобы кого-либо обманывать. Но когда она его спрашивала каждые пять минут, независимо от обстоятельств, в которых это происходило – тебе хорошо со мной? тебе хорошо со мной? – на пятый или шестой раз он должен был делать над собой усилие, чтобы не ответить ей резкостью, чего она в конце концов – теперь он понимал это – не заслуживала.

Он вспоминал иногда свой короткий роман с ней, кончившийся таким же быстрым и неожиданным браком. Это было совершенно непохоже на всё остальное в его жизни, и со стороны ему самому иногда начинало казаться, что он прочел это в какой-то дешевой маленькой книжке, вроде тех, которые читают в метро. Тут было соединение всех классических элементов – солнце, Ривьера, неподвижная поверхность моря и Вильфранш, где он остановился,

чтобы выкупаться. Он встретил ее далеко от берега; она плыла на спине, смеясь Бог знает чему, совершенно одна. Он проплыл мимо нее, она что-то крикнула, чего он не разобрал. Он обернулся и спросил:

– Вы что-то сказали, mademoiselle?

– Здесь глубоко, вы этого не знали? – сказала она, продолжая смеяться.

Она подняла обе руки вверх, погрузилась в воду и мгновенно поднялась на поверхность. Вода шумела и булькала вокруг нее.

– Вы видите, я не достаю дна. Вы из Парижа?

– Да, – сказал Роберт, улыбаясь. – А вы, наверное, нет, не правда ли?

– Нет, я отсюда, я родилась здесь.

Роберт никогда не испытывал такого удовольствия от какого бы то ни было разговора. У нее был голос одновременно глубокий и звучный, не похожий ни на чей другой. Она говорила с ним так просто и доверчиво, точно была заранее уверена в его дружеских чувствах к ней, и Роберту стало казаться, что он готов сделать всё для этой девушки, говорящей с легким южным акцентом. После этой встречи в море они не расставались до поздней ночи, когда он привез ее в своем автомобиле к той вилле с невысокой железной решеткой, где она жила. До этого они были в ресторане, в кинематографе и в дансинге. Прощаясь с ним, она сказала:

– Роберт, вы мне очень нравитесь, хотя вы и парижанин. Я особенно ценю в вас то, что вы не позволили себе за весь вечер ни одной вольности по отношению ко мне. Я вам за это благодарна.

– Я очень рад, Жоржетта, что я вам понравился не за то, что я сделал, а за то, чего я не сделал.

– Вы можете меня поцеловать теперь, – сказала она, понизив голос.

И когда Роберт почувствовал прикосновение ее влажных горячих губ, ему вдруг показалось, что он задыхается и что он никогда не знал ничего подобного.

– Я думаю, что я тебя люблю, – сказала Жоржетта, переводя дыхание. – Мы увидимся с тобой завтра.

Когда он предложил ей стать его женой, он знал, что этого не следовало делать. Но он не мог поступить иначе. Он был обезоружен ее безграничным доверием к нему – она даже не знала его фамилии и вообще ничего не знала о нем в ту августовскую ночь Вильфранша, когда она стала его любовницей и у него не могло быть сомнений, что он первый мужчина в ее жизни. Кроме того, вначале его физическое тяготение к ней было сильнее всех других соображений. Позже, узнав, что он – Бертье, сын владельца автомобильной фабрики, она обрадовалась и сказала со своим всегдашним простодушием:

– Ах, как хорошо! Ты мог бы быть мелким служащим или коммивояжером, и я все равно тебя бы любила, но это было бы

скучно, нам обоим пришлось бы работать. А теперь мы будем жить как захотим.

Ему оставалось только пожалть плечами. Ему, впрочем, пришлось многому удивляться потом, по мере того, как проходило время. Невежественность Жоржетты оказалась просто неправдоподобной, – тем более, что, по ее словам, она все-таки несколько лет училась в лицее. Она думала, что свет идет со скоростью тридцати километров в минуту и что закон притяжения был открыт Архимедом. Она знала, правда, несколько имен знаменитых людей, но они не были связаны в ее представлении с тем или иным видом деятельности, это были знакомые звуковые сочетания, лишённые очень определенного значения. Но при первом взгляде на нее становилось очевидно, что это было неважно; важно было то, что у нее блестящие черные волосы, темные глаза удивительного оттенка, радостная улыбка и простодушное очарование, которого не мог отрицать самый пристрастный человек. Родители Роберта ее искренне любили и были очень огорчены, когда узнали о разводе. Даже мать Роберта, „эта бедная Соланж“, как неизменно называл ее отец, которая, казалось, не интересовалась в жизни решительно ничем, кроме сложных соображений о функциях своего собственного организма, – ты знаешь, Андрэ, вчера вечером я приняла слабительное, и можешь себе представить... Ах, Роберт, ты не понимаешь своего счастья, тебе не надо думать о печени... Андрэ, я тебе неоднократно говорила, что спаржи мне нельзя, ты забываешь о моих почках... доктор мне сказал, что даже незначительные высоты вредны для моего сердца... – даже она привязалась к Жоржете.

– Ты не ценишь ее, Роберт, – говорила она сыну, – она просто очаровательна. А ее здоровье! Ты только посмотри на ее цвет лица, посмотри, как она ходит, как она вскакивает, как она играет в теннис. И если ты ее спросишь, что такое самое пустячное недомогание, она тебя не поймет.

– Но, мама, ты забываешь, что ей восемнадцать лет.

– Ах, милый мой, для болезни нет возраста, ты уж мне поверь. Я не претендую на особенные знания в какой бы то ни было области, но уж это -то я знаю, к сожалению, на собственном опыте.

И когда Роберт уходил, она опять погружалась в чтение – потому что то время, которое у нее оставалось после визитов к докторам и практических забот о здоровье, она посвящала изучению всевозможных трактатов о терапевтике, хирургии и методах клинического исследования.

– Я очень люблю твою мать, это достойнейшая женщина, – говорил Роберту отец. – Но ты понимаешь, ей совершенно нечего делать и не о чем заботиться. Чтобы заполнить эту пустоту, она выбрала болезни. Между нами говоря, она, к счастью не больше больна, чем мы с тобой.

В течение того времени, что Роберт был женат на Жоржете, у

его отца не было оснований жаловаться на недостаточные расходы сына. Андрэ Бертье купил и обставил Роберту квартиру; кроме того, всюду, где появлялась Жоржетта, деньги начинали уходить с необыкновенной быстротой – на театр, концерты, кабаре, дансинги, платья, цветы. Когда она изредка оставалась дома, она читала иллюстрированные журналы, и, захлебываясь от детского и наивного восторга, рассказывала Роберту, что в такую-то, непременно самую роскошную гостиницу на Ривьере прибыли – знаменитая американская артистка и красавица, египетский принц, путешествующий инкогнито и яхта которого стоит в Каннах, знаменитый писатель, знаменитый декоратор, знаменитый... Он пожимал плечами.

– Не всё ли тебе равно?

– Мне так хотелось бы с ними познакомиться.

– Зачем?

– Ну, они такие интересные люди, это не может быть иначе.

Вот посмотри на ее фотографию.

И она показывала ему портрет знаменитой артистки. Со страницы журнала на него смотрело прекрасное женское лицо с правильными чертами и с огромными глазами, выразившими спокойную глупость. Немного ниже был представлен египетский принц с туго напояженными волосами и парикмахерской физиономией, в которой, однако, проступало нечто человеческое и даже чем-то приятное. Позже, впрочем, выяснилось, что он был не египетским принцем, за которого себя выдавал, а подданным одного из южноамериканских государств, которого разыскивала полиция всех европейских стран за многочисленные мошенничества. Жоржетту нельзя было оторвать от этих журналов, и она искренно не могла понять, почему Роберт смеялся над фотографиями и статьями о частной жизни знаменитых красавиц, гонщиков, боксеров, танцовщиц и певцов, над их перепиской с читателями, напечатанной тут же. Он несколько раз пытался ей объяснить, что он думает по этому поводу, но убедился, что это было напрасной потерей времени.

Он был искренне рад, когда узнал, что она собирается замуж за Антонио, с которым она его познакомила и который, конечно, подходил ей гораздо больше, чем Роберт: он прекрасно танцевал, играл на гавайской гитаре, никогда не ложился спать раньше четырех часов утра и был так же далек в своих взглядах от каких бы то ни было сомнений, как была далека от них Жоржетта. „Мы плывем по огромному океану“, – писала она ему с дороги в Боливию, – „южная ночь, звезды, играет мексиканский оркестр. Вчера за обедом мы ели замечательную курицу, а после обеда танцевали. Мой дорогой Роберт, поймешь ли ты когда-нибудь, что такое настоящая жизнь?“

Нет, Роберт был убежден, что этого он не поймет никогда. Он не представлял себе, каким образом с ним могла бы произойти

такая метаморфоза, в результате которой та жизнь, какую Жоржетта называла настоящей, вдруг приобрела бы для него хоть малейшую привлекательность.

Но все-таки в чем-то Жоржетта была права. Можно было обладать известной культурой и известным вкусом и относиться с пренебрежением к тому убогому вздору, который она читала с такой жадностью. Но это вовсе не значило, что всё это должно было сопровождаться отсутствием того вкуса к жизни, который был так очевиден и у Жоржетты и у Андрэ Бертье, его отца. Он представлял себе, что с ним будет через десять или двенадцать лет, и от этих мыслей ему становилось неудобно. До сих пор в его существовании не было, казалось, ничего, что стоило бы защищать до конца или чего стоило бы добиваться. Только в спорте, которым он много занимался до последнего времени, ему иногда удавалось заставить себя сделать огромное усилие, чтобы добиться определенного результата или выиграть состязание.

Жоржетта говорила ему:

– По внешнему виду ты ничем не отличаешься от нормального человека. Но я не могу отделаться от впечатления, что в твоих жилах течет не кровь, а вода.

Он напомнил ей эту фразу полушутя, когда она сказала ему, что собирается замуж за Антонио, и спросил, произвела ли она анализ крови у него, чтобы узнать, нет ли воды и в его жилах. Она расхохоталась, глаза её сузились, рот открылся и стало видно её тесно-розовое небо.

– Можешь быть спокоен, – сказала она сквозь смех, – никакого анализа не нужно.

Отец, мать, Жоржетта, – что еще было в его жизни? Пожалуй, единственное, что имело отвлеченную и постоянную ценность, это были книги. Он истратил на них целое состояние. Когда отец пришел к нему однажды, после того, как почти вся библиотека была составлена, он только покачал головой и долго смотрел на плотно уставленные корешки. Потом он поднял глаза на сына и сказал:

– Это солидно. Ты всё это прочел и понял?

– Мне кажется, что да. Но может быть, это иллюзия.

– Ну да, один раз ты понимаешь так, другой раз то же самое ты понимаешь иначе. Я себе это так представляю.

Мать посмотрела не очень внимательно и ничего не сказала. Роберт подумал, что ее, вероятно, огорчило отсутствие медицинских книг – без них, с её точки зрения, всякая библиотека могла иметь только относительную ценность.

Он не задумывался над тем, почему именно книги интересовали его больше, чем всё остальное. Но если бы его спросили, что он считает самым важным в жизни, и если бы его природная медлительность не помешала бы ему сразу сосредоточить свое внимание на этом вопросе, он, вероятно, ответил бы, что ему казалось самым

существенным – понять, почему люди живут так или иначе, почему возникают те или иные религии или системы идей, как идет жизнь и каков в каждом отдельном случае или в каждом произвольном отрезке времени смысл того или иного факта. Но ему не приходила в голову мысль – и если бы она пришла, он тотчас же отбросил бы её, – что это преобладание отвлеченных интересов над непосредственными объяснилось отсутствием в нем той стихийной и нерассуждающей жизненной силы, которая была так характерна для его отца. Он прекрасно понимал теоретически, отчего людей так всецело захватывает жажда личного обогащения, или политическая деятельность, или упорное стремление к какой-то ограниченной цели, незначительность которой со стороны казалась совершенно очевидной. Но так как все эти стремления – в силу разных личных причин – были ему чужды, они казались ему не стоящими усилия.

Но чаще всего он возвращался к размышлениям о своем душевном одиночестве и о своей бесполезности. И после этого он неизменно представлял себе воображаемый роман с женщиной, смутный облик которой медленно возникал перед ним. Он не мог бы сказать, какие были у неё глаза и как звучал её голос, но в туманное представление о ней он вносил тот лирический оттенок, которого до сих пор не встречал нигде, кроме книг. Он проводил иногда целые часы, думая о том, как всё это могло бы произойти, что он мог бы ей сказать, что она могла бы ему ответить, где это было бы и как она была бы одета. Потом он встряхивал головой, вздыхал и уходил из дому.

В течение нескольких лет он бесцельно бродил по парижским улицам. Он знал во многих кварталах все витрины магазинов, все повороты и вид каждого дома. Ему были также хорошо известны те части города, где жила беднота, и когда он видел маленьких детей, играющих на тротуаре, заплатанное белье, развешенное над ржавыми балюстрадами окон, простоволосых женщин с огрубевшими от стирки и работы руками и то непередаваемое выражение лица у всех этих людей, которое их так резко отличало от других, более богатых, ему становилось тяжело и почти что стыдно за свой костюм, свою квартиру, свою жизнь. Он думал тогда о том, что против этой очевидной и жестокой несправедливости были бессильны любые государственные и политические теории, потому что во всех странах мира царила в этом смысле железная неизменность: одни жили безбедно и комфортабельно, не переутомляя себя работой, существование других проходило в тяжелом труде и бедности, и никакой коммунизм не мог сделать так, чтобы это стало иначе, – если даже допустить, что он к этому стремился.

Он просидел в кресле, не двигаясь, и стараясь не думать ни о чем до тех пор, пока не раздался телефонный звонок. Андрэ Бертье напоминал ему, что сегодня вечером он ждет его к обеду.

Роберт нехотя переоделся, вышел из дому и направился пешком туда, где жили его родители. Это было недалеко, в двадцати минутах ходьбы.

Подходя к дому, он заметил, что перед входом стоит огромный старинный автомобиль, за рулем которого дремал шофер. По летящей цапле на пробке радиатора он тотчас узнал марку – это была „испано-сюиза“. Он позвонил и вошел, и ему сразу бросились в глаза цветы, которых обычно не бывало, так как мать Роберта жаловалась, что их запах вызывает у нее головную боль, отзывающуюся в свою очередь самым вредным образом на её печени... С медицинской точки зрения – как это однажды сказал Бертье врач – такое явление представлялось необъяснимым и единственным в своем роде. Бертье знал, однако, что когда Соланж ссылалась на свои болезни, всякое сопротивление ее решениям было бесполезно. Это так же хорошо знал Роберт; и теперь, увидав цветы, он решил, что или болезнь печени у его матери прошла бесследно, или сегодня к ужину приглашен какой-то гость, настолько важный, что перед значительностью его визита даже печень Соланж отступала на второй план.

Когда он вошел в столовую, извинившись за опоздание, он застал там очень пожилого человека с мертвым выражением глаз. Андрэ Бертье тотчас же представил сына – и Роберт узнал, что приглашенный был сенатор Симон, государственный деятель и член комиссии по экономическим делам. Рядом с ним сидела его племянница, белокурая девушка с длинными глазами, немного подведенными, и крупным ртом, похожая на какую-то кинематографическую артистку, какую, он не мог вспомнить. Но девушку он узнал сразу же, и во время ужина он думал о той ночи, когда он ее видел. Сенатор не отличался многословием, и разговор об экономических перспективах Европы, который начал с ним Андрэ Бертье, его явно не интересовал. Он отвечал лаконично и неопределенно, и Роберт заметил, что сенатор не был силен в политической экономии. Это было бесспорно: до начала своей парламентской карьеры он был чиновником почтового ведомства. Он зато сразу оживился, когда Соланж заговорила о своей больной печени. В этой области его познания были несомненны. Тотчас же выяснилось, что у него тоже больная печень, что, кроме того, у него – так же, как у нее, – неблагополучно с почками: и через несколько минут и он и Соланж чувствовали себя единственными достойными собеседниками за столом.

– Вы, конечно, знаете, Madame, – говорил он, – те утренние ощущения, какие характерны для известного периода, который... замечали ли вы, что некоторые физиологического явления, носящие характер весьма далекий, казалось бы, от того, что принято считать результатом недостаточно интенсивного действия печени, нередко объясняются, вопреки распространенному заблуждению...

- Да, да, и кажущаяся трудность диагноза...
- Чисто внешняя, Madame, чисто внешняя...
- Я именно это хотела сказать. Я имею в виду, например...

Роберт рассеянно слушал их разговор и думал о том вечере, когда, выходя из театра, он встретил одного из своих товарищей, которого он не видел год; он пригласил Роберта посидеть где-нибудь несколько минут, как он выразился, и привез его в русское кабаре. Роберт даже не помнил точно, где именно оно находилось. В маленьком зале был полусвет, бритые гарсоны говорили со славянским акцентом, играл под сурдинку небольшой оркестр. Время от времени выступал немолодой мужчина с постоянно ласковым выражением глаз и пел по-французски, по-английски, по-итальянски и по-русски какие-то романсы, которых Роберт не знал и в которых неизменно говорилось об иллюзорности любви, о невозвратимой поре короткого счастья и о неизбежности расставания. Румынский еврей с печальным и важным лицом играл на скрипке, звуки рояля доходили точно издалека. У Роберта через некоторое время появилось такое ощущение, какого он до тех пор никогда не испытывал ни в одном кабаре, – что он попал к этим странным людям, которые прекрасно понимают всё, и в частности то, о чем так часто думал он, Роберт Бертъе, и что они знают его уже давно и всячески сочувствуют ему во всех его личных неудачах. И этому – таким же непонятным образом – не мешало то, что это были люди, говорящие и думающие на чужом языке, и что вообще не могло быть ничего более обманчивого и вздорного, чем это впечатление. И все-таки оно оказывалось сильнее всего.

И тогда же за соседним столиком он увидел девушку, которая теперь сидела против него, рядом с сенатором. В ту ночь она была совершенно пьяна и размахивала руками в такт музыке, и певец смотрел на нее с эстрады своими наемноласковыми и всё понимающими глазами. Её сопровождал молодой человек очень незначительного и очень приличного вида, которого она то обнимала, то отталкивала. До Роберта доходил ее пьяный шепот. Она говорила совершенно вздорные вещи, потом вдруг всхлипывала, но мгновенно успокаивалась и начинала вполголоса подпевать музыке. Её спутник давно уже предлагал ей уйти, но она категорически отказывалась. И когда Роберт выходил из кабаре, заплатив перед этим по счету какую-то уж слишком крупную сумму, она еще оставалась там: был пятый час утра. Ему запомнилась эта ночь и эта девушка с длинными глазами; но её он запомнил только потому, что это происходило в русском кабаре, и как всё, что он тогда видел, она была неотделима от этого странного впечатления, – как были неотделимы от него ласковые глаза певца и печально-важное лицо румынского еврея, игравшего на скрипке.

Сейчас за ужином он очень скучал. Всё было ясно с первой минуты: племянница сенатора могла бы быть, по мнению его родителей, подходящей партией, сенатор мог бы быть полезен во

многих отношениях. Роберт смотрел на его лицо и думал, что этот пожилой человек ни в какой степени не представлял собой психологической загадки, и всё, что о нем следовало сказать, могло быть сведено к нескольким словам. Его, конечно, совершенно не интересовали его парламентские занятия и раздражали проекты каких бы то ни было изменений в существующем порядке вещей, — как это было характерно для большинства людей его возраста. Его всецело занимало, совершенно так же, как мать Роберта, Соланж, и по тем же причинам, состояние его здоровья и еще точнее, его печени и почек и всего, что связано с их функциями. Всё остальное было значительно менее важно.

Роберт из приличия заговорил всё-таки с племянницей сенатора — и тотчас же выяснил, что всё было так, как он предполагал: она любила то, что он презирал, и не понимала того, что он любил.

Когда гости собрались уходить, отец бросил на него быстрый и укоризненный взгляд, и через секунду, точно раскаявшись, вновь посмотрел на сына с той улыбкой, которая каждый раз так меняла его лицо, грубое и умное одновременно. Роберт не мог не понять её значения. Отец не одобрял его поведения, но в конце концов извинял его потому, что не все люди должны быть одинаковы. Мать Роберта не заметила ничего: она и сенатор были единственными людьми, которые остались довольны проведенным вечером. Уходя в свою спальню, она остановилась и сказала мужу:

— Очень милый человек Симон. Я редко встречала у людей такое понимание. Что ты об этом думаешь, Андрэ?

— Мне не хотелось бы тебя огорчать, Соланж, — сказал Бертъе. — Но я думаю, что он просто глуп. Я это знал давно, но это никогда не казалось мне так очевидно, как сегодня.

Роберт возвращался домой пешком, так же, как он пришел. Была холодная и ясная ночь, было начало марта. Огромные круглые фонари горели над безлюдным бульваром. Он шел и думал в тысячный раз о том, что так это продолжаться не может, что необходимо это изменить. Надо было найти цель, к достижению которой следовало стремиться, или какой-нибудь вид деятельности, который не казался бы ему явно не стоящим никакого усилия, нужно было перейти от созерцательного метода к экспериментальному, как сказал бы его профессор философии, или, наконец, самое неправдоподобное — чтобы особенное стечение внешних обстоятельств заставило его выйти из той постоянной душевной летаргии, на которую он был так безвозвратно, казалось, осужден.

* * *

Но проходили дни и недели, не принося с собой ничего нового. Всё оставалось по-прежнему, менялись только названия книг, которые он читал, и каждая прочитанная книга, каково бы ни было её содержание, словно подчеркивала то, что Роберт знал уже

раньше, именно, что жизнь проходила мимо него. Раз в неделю примерно, и чаще всего в самый неожиданный час, звонил телефон и голос его отца спрашивал:

– Ты дома? У меня есть немного свободного времени, я сейчас заеду к тебе.

И через четверть часа его автомобиль останавливался у подъезда, а еще через минуту он входил, садился против сына, хлопал его по колену и говорил:

– Ну что, старик, как живем? Представь себе, что этот дурак Ренэ влюбился в какую-то массажистку и стал опаздывать на службу – понятно, ложится спать чёрт знает когда, и вообще все у него вкривь и вкось.

Он сидел в глубоком кожаном кресле против сына, и Роберт опять думал о том, что его отец делает все как-то особенно, со вкусом: если он курил, то было видно, что это ему доставляет удовольствие, если он сидел, то со стороны было заметно, что ему удобно сидеть; и живые его глаза на некрасивом и грубом лице смотрели перед собой почти всегда с одним и тем же выражением – спокойно, смело и немного насмешливо. Роберт смотрел на него с завистью. Несмотря на то, что Андрэ Бертье был всегда очень занят и, казалось, перегружен работой, он каким-то образом успевал узнавать множество вещей – вроде биографии или вида занятий этой массажистки, в которую был влюблен Ренэ. Его всё интересовало, и, в отличие от Роберта, он находился в центре сложного и быстрого движения, в котором участвовало много людей. Некоторых из них он знал, других никогда не видел, но сведения о них у него были самые подробные, и было совершенно непонятно, когда и где он успел всё это узнать и запомнить, и главное, зачем ему это было нужно. И каждый раз после его ухода Роберт думал о законе наследственности и жалел, что ни одно из качеств его отца не передалось ему, кроме, пожалуй, физической силы, то есть той подробности, которую он считал самой неважной и несущественной.

Для того, чтобы выйти из дому, ему приходилось делать над собой усилие. Но, зная прекрасно, что его душевное состояние не могло быть названо нормальным для совершенно здорового человека его возраста, он был, однако, очень далек от отчаяния или мысли о самоубийстве. Он чувствовал в себе достаточно сил, чтобы справиться с любой задачей, которая перед ним возникла бы. Несчастье заключалось в том, что никаких задач не было, и те, какие он мог бы сам себе придумать, или те, которые ему предлагал отец, не казались ему заслуживающими внимания.

Он вышел однажды из дому после раннего обеда, в девятом часу вечера, не зная еще, куда он пойдет и что будет делать. Он дошел до середины улицы Auteuil, потом поехал на большие бульвары. Был майский вечер, на улицах было много народа, террасы кафе были полны. Он вошел в кинематограф, просмотрел

половину знаменитого фильма со знаменитыми артистами и вышел опять на бульвар. Был одиннадцатый час вечера. Он шел по бульвару, потом свернул, сам не зная почему, на rue St. Denis и прошел несколько шагов, рассеянно глядя на темные старые дома, на уличные фонари, на женские силуэты, проходившие мимо него. Вдруг его остановил сдавленный, почти хрипящий – что сразу обратило на себя его внимание, – голос:

– Ты идешь со мной?

Он не обернулся бы, если бы его не поразил этот особенный сдавленный звук. В двух шагах от него, почти у порога ярко освещенного небольшого кафе, стояла – как ему сначала показалось – девочка лет пятнадцати, с испуганными глазами. На ней была серая блузка и очень короткая клетчатая юбка. У нее было ассиметричное лицо, глаза средней величины и большой, неумело накрашенный рот, губы которого дрожали. Несколько позади, засунув руки в карманы, стоял высокий узкоплечий человек в сером костюме и в шляпе, сдвинутой набок. Во всем этом было что-то странное, чего Роберт не мог сначала определить, – и вид этой девочки, и непонятно сдавленный ее голос, и эта немая фигура мужчины с покатыми плечами. До сих пор Роберт никогда не отвечал на обращения проституток и проходил, глядя невидящими глазами, мимо них. Но эта была настолько непохожа на других, что он невольно остановился. В трагическом её хрипе ему послышалось что-то неподдельно тревожное.

– Иди сюда, – сказал он.

Она подошла ближе. Он остановил проезжавшее такси, отворил дверцу, почти втолкнул её туда и сказал шофёру:

– Поезжайте по бульварам к площади Мадлен.

Она неподвижно сидела, откинувшись назад. Автомобиль катился бесшумно. Горели витрины, блестели фонари встречных машин – и ему вдруг показалось, что они едут по огромному и освещенному туннелю и что он уже давно когда-то всё это видел и чувствовал, может быть в забытой книге, может быть во сне. Наконец он спросил:

– Ты давно занимаешься этим ремеслом?

И тогда она, не отвечая, прижала голову к коленям и заплакала. Ему сразу стало её жаль. Во всей её фигуре, в её худом, скорченном теле и в её тихом плаче было что-то действительно вызывающее сострадание, и у Роберта передернулось лицо. Но голос его звучал так же спокойно, как всегда.

– Не надо плакать, – сказал он. – Ничего страшного не происходит. Что с тобой?

Он попытался приподнять её лицо, но она отрицательно и с отчаянием покачала головой и продолжала вздрагивать, уткнувшись в колени. Шофер, повернувшись к Роберту, сказал:

– Мы подъезжаем к площади Мадлен. Куда ехать дальше?

– Спуститесь на набережную и сверните направо, – ответил

Роберт. – Я вас остановлю, когда будет нужно.

Они проехали еще несколько сот метров. Плач девочки стал почти неслышным. Он тронул её за плечо и спросил:

– Ну что? Почему ты плачешь? Ты меня боишься?

– Нет, теперь уже не боюсь, – сказала она, поднимая голову. Лицо ее было пересечено черными вертикальными полосами от рimmelя.

– Так что, с тобой можно, наконец, разговаривать? Вытри лицо, ты Бог знает на кого похожа.

Она послушно достала из сумки платок и вытерла щеки и глаза.

– Как тебя зовут?

– Жанина.

– Сколько тебе лет?

– Восемнадцать. Вы не инспектор полиции?

– Нет, – сказал он.

Ему показалось удивительно, что она говорила ему „вы“, как ему вообще казалось странным всё её поведение.

– Отчего ты плакала?

Она первый раз за всё время прямо посмотрела на него. У неё были печальные и серьёзные глаза, в глубине которых застыло выражение далекого страха. Она пожала плечами и ответила:

– Если я вам скажу правду, вы мне не поверите.

– Как ты это можешь знать заранее?

Она опять пожала плечами и сказала:

– Вы должны были быть моим первым клиентом.

– Что? – с изумлением спросил он. – Первым клиентом? Это правда?

– Вы видите, я вам сказала, что вы мне не поверите.

Они подъезжали к мосту Альма. Он остановил автомобиль и расплатился с шофером. Держа её под руку, – она была на голову ниже его, – он перевел её через площадь, подошел к стоянке такси, сел в последнюю машину и дал шоферу свой адрес. И когда автомобиль двинулся, он подумал, что если бы еще час тому назад ему сказали бы, что он ответит на обращение проститутки и повезет её к себе, он пожал бы плечами и решил бы, что человек, который это говорит, – сумасшедший.

– Куда вы меня везете? – спросила она и, не дождавшись ответа, прибавила:

– Впрочем, мне все равно. Я вас больше не боюсь.

– Мы едем ко мне, в мою квартиру, – сказал Роберт.

– Вы богатый?

– Да, – неохотно сказал он.

Она покачала головой и ничего больше не сказала.

Такси остановилось перед двухэтажным особняком. Роберт жил во втором этаже. Квартира первого, давно и наглухо запертая, принадлежала старому голландцу, который жил в Америке и уже несколько лет не приезжал в Париж. Роберт отворил железную

калитку небольшого сада перед домом и нажал на кнопку справа от входа. На первой площадке лестницы зажегся электрический стеклянный факел, который держала в руке голая бронзовая женщина. Ему давно хотелось убрать ее оттуда, но он не имел права этого делать: бронзовая женщина была собственностью голландца. Они поднялись по белой лестнице на второй этаж. Роберт отворил дверь и машинально, не думая ни о чем, пропустил Жанину вперед. Она с удивлением посмотрела на него.

Он провел её в кабинет. Она внимательно рассматривала всё – стены, картины, полы, кресла. Потом она повернула к нему своё чуть-чуть угловатое лицо и сказала:

– Я никогда не видела таких вещей нигде, кроме как в кинематографе. Это ваша собственная квартира?

Роберт улыбнулся. Она стояла посреди комнаты, теребя в руках сумку. Он усадил её в кресло, сел против неё, предложил ей папиросу – она с жадностью закурила – и сказал:

– Ну, теперь расскажи мне всё, что ты можешь рассказать о себе. Только не надо врать, это бесполезно.

– О нет, – сказала она, – я не буду врать. Я скажу вам всё. Я из очень бедной семьи. Мой отец был венгр; он давно умер. Моя мать француженка, она была поденщица. Она умерла три месяца тому назад. Я родилась в Париже, мы жили на rue Dupois.

– Где это, rue Dupois?

– Она выходит на Boulevard de la Gare.

– Да, верно, – сказал Роберт, – я её теперь вспоминаю.

И он действительно вспомнил, как однажды, несколько лет тому назад, он был вместе с отцом на этой улице. Они осматривали там сахарный завод, на котором работали темнолицые, оборванные арабы. Он увидел перед собой эту узкую улицу с низкими домами, окна, заткнутые тряпками, и длинную её перспективу неправдоподобной мрачности. Он закрыл на секунду глаза, и весь этот район возник в его памяти – район, который он потом обходил пешком: Boulevard de la Gare, rue du Chateau des Rentiers, rue Dupois, rue Chevaleret, rue Jeanne D'Arc – и внизу, на набережной Сены, грязные кафе, татуированные прохожие, неряшливые, простоволосые женщины, – та парижская беднота, о которой ему как-то сказал отец:

– Я знаю её хорошо, я сам из неё вышел. Я с тобой согласен, что это чудовищно и несправедливо и что эти люди заслуживают более человеческих условий существования. Да, да, я всё это знаю. Но я не думаю, чтобы это могло быть изменено.

– Продолжай, – сказал Роберт, обращаясь к Жанине. – Расскажи мне, как ты попала на rue St. Denis и почему я должен был стать твоим первым клиентом.

Она опять прямо посмотрела на него, и он заметил, что её зрачки расширились и мгновенно сузились снова. Она ни разу до сих пор не улыбнулась ему.

– Когда моя мать умерла, – сказала она, – у меня совсем не

было денег, и я продолжала свою работу.

– Что ты делала?

– То же, что она, я была поденщицей. Но я скоро ушла с этого места.

Роберт ожидал классического продолжения: хозяин к ней приставал, она его оттолкнула... Но он ошибся. Жанина сказала, что её обвинили в краже денег, вызвали в полицию и долго допрашивали.

– Они всё уговаривали меня сознаться, – сказала она, пожав плечами. – Я им ответила, что не могу сознаться в том, что я не делала.

К счастью для нее, деньги нашли у сына хозяина, молодого человека двадцати лет, и ее отпустили. После этого она поступила на бумажную фабрику. Потом, однажды вечером, подруги уговорили её пойти в дансинг.

– Где именно?

Она объяснила: дансинг находился недалеко от больших бульваров, на улице, пересекавшей rue St. Martin. Там она познакомилась с Фредом. Когда она произнесла его имя, на её лице опять появилось то выражение страха, которое так поразило Роберта на rue St. Denis. Он пошел её провожать, потом вошел в её комнату, раздел её – и в ту ночь она перестала быть девушкой.

– Он тебе нравился? – спросил Роберт. Ему почему-то нужно было сделать усилие, чтобы задать ей этот вопрос.

– О, нет, – поспешно сказала она. – Но я его боюсь. Его все боится. Он страшный.

– И что же было дальше?

– Он сказал, чтобы я взяла расчет на фабрике, и отобрал у меня деньги. Потом он объяснил, что я буду работать, а он будет меня кормить и содержать. У него уже есть две женщины, кроме меня. И вот сегодня вечером я должна была начать работу.

Роберт вспомнил узкоплечего человека в сером костюме.

– Так это был он – в сдвинутой набок шляпе? Это он стоял зади тебя?

Она утвердительно кивнула головой.

Роберт молчал, сидя в кресле и задумавшись. Был первый час ночи, в квартире стояла полная тишина. По тихой улице изредка проезжали автомобили, и через отворенное окно был слышен легкий звук их шуршащих шин. Всё было просто, как в уголовной хронике: Жанина, восемнадцать лет, горничная, обвинение в краже, очередной сутенер, rue St. Denis, – и заранее predeterminedенная судьба – тротуар, болезнь, тюрьма, больница, опять тротуар, опять больница, потом анонимная смерть, труп Жанины в морге, потом вскрытие. Больше ничего.

– Больше ничего, – повторил он вслух.

Жанина сидела против него. На её лице было выражение усталости. Он поднялся с места и сказал:

– Ну хорошо, мы еще поговорим обо всем этом.

– Я скоро должна вернуться, – сказала она, не поднимая глаз.

– Куда?

– Туда, на rue St. Denis. Он меня ждет.

Он внимательно посмотрел на нее и в эту минуту отчетливо понял то, в чем до сих пор не успел себе сознаться: в присутствии этой девушки было нечто настолько притягательное для него, что мысль об её уходе казалась ему совершенно дикой. Он не мог бы сказать, в чем именно заключалась эта притягательность, – в интонациях её тусклого голоса, в общем выражении её лица, в её зрачках или, может быть, в каких-то движениях её тела, которые он видел, о которых он забыл и которые запечатлелись в бессознательной и безошибочной памяти его мускулов и нервов, недоступной анализу. И он не мог бы сказать, когда именно это успело произойти.

Он отрицательно покачал головой.

– Я думаю, что ты туда больше не вернешься.

– Нет, нет, – сказала она испуганно, – я не могу не вернуться.

Он меня убьет.

– Можешь быть спокойна, – сказал он. – Если тебе угрожает только эта опасность, ты проживешь до ста лет. Идем. Ты, наверное, устала?

– Да.

– Прими теплую ванну, это очень хорошо против усталости.

Он взял её за руку и провел через всю квартиру к ванной. Там он открыл оба крана – холодной и горячей воды. Жанина смотрела своими испуганными глазами на матовый отблеск ванны, на сверкание никелированных кранов.

– Подожди одну минуту. – Он вышел и вернулся, неся в руках один из купальных халатов Жоржетты, который он достал из стенового шкафа. Затем он оставил Жанину одну и ушел. Через минуту он услышал, что вода перестала наполнять ванну, и еще через несколько секунд до него донесся легкий плеск тела, погружавшегося в воду. Он стоял на пороге комнаты, из которой был ход в ванную, и испытывал непонятное томление, такое же неожиданное, как та неопределимая притягательность Жанины, о которой он подумал несколько минут тому назад. Он невольно представил себе её тело в ванне – колени, худые плечи, грудь, – и, встряхнув головой, вышел из комнаты.

Он вернулся в кабинет и снова сел в кресло. Мысли его шли с непривычной беспорядочностью. „У тебя в жилах не кровь, а вода...“, rue St. Denis, Фред, Жанина, будущая её судьба – если всё будет так, как должно быть. А если это будет иначе? Окно было отворено, ставни прикрыты неплотно, за окном была неподвижная майская ночь.

Она вошла, беззвучно ступая по ковру, и показалась ему неузнаваемой в белом мохнатом халате Жоржетты. Он сначала встал с кресла, потом снова сел, затем опять встал. Она сказала:

– Спасибо вам за то, что вы были так добры ко мне.

Он рассеянно слушал её голос, не очень понимая, что она говорит. Потом он подошел к ней совсем близко – она не двинулась с места, прямо глядя в его лицо, – затем он обнял её, и тогда она охватила его шею руками и поцеловала его в губы с девичьей нежностью, которая показалась ему трогательной и невыразимой. Потом, оторвавшись от него, она спросила:

– Как твое имя?

– Это неважно, – сказал он, делая над собой усилие. – Меня зовут Роберт.

Он провел с ней большую часть ночи, глядя в её расширенные глаза и слушая то, что она говорила и что он знал давно, со всеми вариантами и повторениями, и что было тысячи раз написано в романах о любви – она никогда не любила никого, она никогда не понимала, что это значит, и понимает это только теперь, и она никогда не забудет этого и всю жизнь... Он слушал её, и время от времени низкий и вкрадчивый голос той женщины из русского кабака, которая сменила певца с ласковыми глазами, смутно доходил до него, принося с собой неопределимую лирическую мелодию, стремившуюся, в сущности, передать то, что он чувствовал сейчас, охватив руками худое и теплое тело Жанины и видя так близко перед собой её разгоряченное и изменившееся лицо. И всё, что она говорила ему и что во всяких других обстоятельствах вызвало бы у него только пренебрежительную улыбку над убожеством и неубедительностью этих выражений, казалось ему необыкновенно значительным и самым замечательным, что он слышал до сих пор. Это была первая ночь в его жизни, когда всё, что составляло его существование, вдруг забылось и исчезло, смутное, огромное представление о внешнем мире привяло очертания Жанины – её лицо, груди, живот, ноги – и он чувствовал, что его сознание почти растворяется в этой близости к ней и что по сравнению с этим всё остальное неважно.

Он поднялся с кровати, когда уже начинало светать. Жанина только что заснула, повернувшись лицом к стене. Он посмотрел прояснившимися, наконец, глазами на её взлохмаченную голову и ровную юношескую спину, не прикрытую простыней, и вышел из комнаты. Затем он взял из ванной все её вещи и спрятал их в стеновой шкаф, который запер на ключ. Потом он пошел в другую комнату, постелил себе кровать, лег и мгновенно заснул крепким сном.

* * *

Ему снилось чье-то лицо, одновременно знакомое и неузнаваемое, которое смотрело на него с немой выразительностью. Вокруг был тропический пейзаж – красные скалы, раскаленные солнцем, желтый песок на берегу океана, ствол пальмы, обвитый ползучим растением, легкий плеск волны невдалеке. Он открыл глаза и увидел Жанину, которая сидела на краю постели.

– Доброе утро, Роберт, – сказала она, и ему показалось, что её голос стал звучнее, чем вчера.

– Здравствуй, Жанина, – сказал он. – Ты давно встала?

– Да, уже больше часа.

Он смотрел на неё с улыбкой.

– И ты не нашла своих вещей?

Она отрицательно покачала головой.

– Ты хотела одеться и уйти, чтобы я тебя не видел?

– Да.

– Тебе здесь нехорошо?

– О! Как ты можешь это спрашивать? – сказала она. – Ты знаешь, почему я хотела уйти.

– Потому что ты его боишься?

Она ответила:

– Теперь больше, чем когда-нибудь. Потому что раньше я боялась за себя. Сейчас я боюсь за тебя. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось по моей вине.

– Ложись рядом со мной, – сказал Роберт. – Я успел по тебе соскучиться.

Она сбросила халат и опять осталась совершенно голой, и он отчетливее, чем вчера, увидел её невысокие, далеко расставленные груди, впалый живот и длинные ноги с большими ступнями. Через четверть часа она сказала:

– Я не такая дура, как ты, может быть, думаешь. Я знаю, что это не может так продолжаться, как сейчас. И что мне очень жаль, потому что я тебя люблю.

И она сказала, что никогда не забудет, как она была счастлива в эту ночь – даже если этой ночи суждено быть единственной в её жизни.

– Ты богатый, Роберт, – говорила она, обнимая его шею рукой, – у тебя есть родители, квартира, состояние. Что ты хочешь сделать со мной? Ты хочешь, чтобы я осталась здесь на две недели, – а потом ты мне дашь денег и скажешь, чтобы я возвращалась на St. Denis?

– Продолжай, – сказал он, улыбнувшись.

– Ты напрасно улыбаешься, – сказала она. – Если я уйду сегодня, я буду вспоминать всегда о том, как я была счастлива. Если я уйду через две недели, это будет в тысячу раз тяжелей. И если ты меня любишь, отпусти меня теперь.

Он молчал, закинув руки за голову и глядя в потолок далекими глазами. Потом он повернул к ней лицо, на котором было выражение холодной восторженности, и сказал:

– Все это неважно, Жанина. Важно то, что ты останешься здесь совсем.

Она вскрикнула от неожиданности, как вскрикнула бы от укола или от удара.

– Ты сошел с ума, Роберт! Это невозможно, это невысказано!

– Почему? – спросил он своим спокойным голосом.

– Послушай, – сказала она терпеливо. – Я вчера должна была стать проституткой. До этого я работала поденщицей. Потом я была на фабрике. Вот моя жизнь. Кроме того, ты ничего не знаешь об мне: может быть, я воровка; может быть, я преступница. Ты увидел меня вчера первый раз в жизни. А потом еще другое...

– Да, да, я слушаю.

Она запнулась, потом проговорила:

– Если бы я действительно осталась здесь, – что ты сказал бы твоим родителям и твоим знакомым? И как бы ты им меня показал? Нет, нет, об этом не может быть и речи.

– Ты уступила Фреду неделю тому назад? А мне ты уступить не хочешь?

На её глазах показались слезы, и ему стало жаль, что он сказал эту неловкую и ненужную фразу.

– Я не уступила ему, я сопротивлялась, – сказала она. – Но я его боялась до дрожи. Тебя я не боюсь, и мне нужно сделать усилие, чтобы оторваться от тебя. И если бы я тебе уступила, как ты говоришь, я каждый день боялась бы за твою жизнь.

– Я себя сумею защитить, Жанина.

– Ты его не знаешь, я тебе говорю, что это самый страшный человек, которого я видела. Достаточно посмотреть в его глаза, чтобы в этом убедиться.

– Ну, хорошо, – сказал Роберт. – Теперь я пойду в ванную, а потом мы будем пить кофе.

Через полчаса они оба сидели за столом. С лица Жанины всё не сходило выражение тревоги, но иногда она улыбалась широкой и откровенной улыбкой, сразу её менявшей. Роберт потом часто вспоминал это первое утро, которое он провел вместе с ней. Они говорили сначала о каких-то пустяках, которые он забыл, настолько они были незначительны. Затем по его просьбе она стала рассказывать ему, как она жила с родителями и как у них никогда не было денег, – потому что отец всё проигрывал на скачках, хотя у него было хорошее ремесло.

– Какое именно?

– Он работал у портного, он был закройщиком.

Роберт кивнул головой.

Но у него испортилось зрение – и это его погубило. Нередко, когда он шел по улице, – как он это рассказывал жене, – перед его глазами вдруг возникало туманное облако, сквозь которое ничего не было видно, ни домов, ни автомобилей, ни людей. В тот день, когда он не вернулся домой с работы, это, вероятно, было именно так: он переходил улицу, движение было сравнительно небольшое, но в это время перед ним снова появилось его облако, о котором, как сказала Жанина, никто не знал, ни полицейский, стоявший на углу, ни шофер огромного грузовика, спускавшегося по направле-

нию к ближайшей площади, ни прохожие, находившиеся там в эту минуту. – Это облако – сказала Жанина, – это была его смерть.

Он попал под грузовик и был убит на месте. Всю свою жизнь он мечтал, со слепой и упрямой наивностью бедного, что однажды он выиграет... Никакие годы опыта не могли его ничему научить. Это была его единственная надежда на улучшение – другим путем он не мог его добиться. И еще утром этого дня, последнего дня его существования, он говорил о том, что всё пойдёт лучше, что они поедут летом к морю, что он обратится к главному врачу, настоящему, а не такому, как в госпитале, и что после этого над ним перестанут смеяться его товарищи по мастерской, всё станет иначе и они переедут в другой квартал. Он бормотал всё это утром, выворачивая карманы и повторяя:

– Вот вы увидите, сегодня будет что-то необыкновенное.

Но так как он произносил эту фразу почти каждый раз, то ни его жена, ни маленькая Жанина не обратили на неё внимания. И только потом, когда мать Жанины вспомнила её, злоеца её точность вдруг стала ей понятна: неузнаваемый, изуродованный труп её мужа лежал в анатомическом театре, – с раздавленной головой, переломанной грудной клеткой и окоченевшими руками – и только по засаленной и просроченной *carte d'identité* можно было узнать, что эти бедные человеческие остатки принадлежали Анатолию Ковачу, сорока двух лет, женатому, портному по профессии, жившему на rue Dupois.

Это случилось восемь лет тому назад. Жанина хорошо помнила отца и подробно описала его: он был маленький, лысый, очень тихий человек, который разговаривал сам с собой и сам себе повторял одну и ту же теорию о том, как всё устроено на земле: бедным ничего нельзя, богатым можно, бедные живут плохо, богатые хорошо, и богатые не хотят, чтобы бедные становились богатыми, и всячески их преследуют. И они, чуть что, требуют у бедных деньги: государство, которое тратит миллиарды, посылает своих служащих к несчастному иностранцу, венгерскому портному, и эти служащие говорят, что он должен платить налог, как будто он миллионер; а хозяин дома, который сам живет в роскошной квартире на таком бульваре, куда бедных не пускают, угрожает выгнать его, Ковача, за неплатеж. Ковач плохо говорил по-французски, – с чем он никогда не хотел согласиться, хотя это было совершенно очевидно, – но был уверен, что понимает всё, и, главное, понимает самое важное – этот заговор богатых против бедных. Как это ни странно, однако, он не осуждал богатых. Он только констатировал именно такое положение вещей, и его личная цель состояла в том, чтобы перейти из одной категории в другую. Законность этого противопоставления казалась ему несомненной, и он был далек от стремления изменить эту систему распределения богатств, единственный недостаток которой заключался в том, что он, Анатолий Ковач, попал по ошибке в низшую категорию, а не в

высшую. Но один выигрыш на скачках мог бы изменить всё – и тогда, в наивном его воображении, мир принимал идиллические очертания.

По вечерам он сидел за столом, опустив голову, и бормотал, как всегда, нечто длинное и почти бессвязное, комментируя постоянную свою теорию, которая обогащалась новыми данными по мере того, как проходило время. „Богатые не хотят, чтобы бедные...“ Потом он брал на колени Жанину и рассказывал ей, что он снимет большую квартиру и будет сам принимать заказы и к нему будут приходиться клиенты, а в столовой будет стоять аппарат радио, по которому можно слушать Америку. Первого августа он повесит на двери картон с надписью: „закрыто до пятнадцатого сентября по случаю каникул“, и они уедут скорым поездом на юг Франции, к берегу Средиземного моря, и там будут ходить в белых костюмах, как миллионеры, и если его будут спрашивать об его профессии, то он даст свою визитную карточку, где будет номер телефона и адрес и будет написано, что он берет заказы на штатское и военное платье и ручается за добросовестное и быстрое выполнение по ценам вне конкуренции.

Таким был Анатолий Ковач, отец Жанины. Таким, во всяком случае, он представлялся Роберту – по беспорядочному её рассказу. И Роберт подумал, что, может быть, тогда, в это последнее утро своей жизни, когда венгерский портной переходил бульвар и перед его глазами возникло смертельное облако, он мечтал о несбыточных каникулах на берегу Средиземного моря и видел себя в белом костюме на Promenade des Anglais – и этот бедный поэтический бред вдруг так трагически оборвался в какую-то незначительную часть секунды – потому что, пересекая ему дорогу, с тяжелой стремительностью проехал грузовик, тоже принадлежавший, вероятно, богатому человеку.

Он сидел, задумавшись над судьбою этого человека. Если бы в тот день Ковач остался жив, если бы во всем, что этому предшествовало и что за этим последовало, произошло бы одно незначительное изменение, то вчерашняя ночь ничем, вероятно, не отличалась бы от других и лицо Жанины, на которое он смотрел сейчас с такой жадной пристальностью, не возникло бы никогда даже в его воображении. И смерть её отца приобретала таким образом значение, которого нельзя было знать тогда, восемь лет тому назад, и которое заключалось в том, что для него, Роберта Бертье, одного из богатых людей, состоявших в воображаемом заговоре против бедных, жизнь приобретала смысл, какого не имела до сих пор. Он понимал, насколько эти мысли было легко опровергнуть: далекая смерть венгерского портного была взята с предельной произвольностью, не говоря о том, что новый смысл жизни мог быть, конечно, иллюзорным. Но он впервые почувствовал с непривычной отчетливостью, что всё происходящее, которое до сих пор так послушно поддавалось его суждению и почти всегда укладывалось в ту или иную отрицательную схему идей, мгновенно возник-

кавшую в его мозгу, – чего бы это ни касалось, – что всё происходящее теперь приобрело живую и непреодолимую убедительность, и по сравнению с ней никакая отвлеченная схема не имела ни малейшего значения.

Он думал обо всем этом, не переставая смотреть на лицо Жанины пристальными и далекими глазами. Потом он сказал с интонацией, к которой она уже начала привыкать:

– Продолжай, Жанина. Рассказывай дальше.

– Что я могу тебе рассказать? – сказала она. – Ты, наверное, знаешь столько замечательных вещей, – может ли тебя интересовать моя жизнь, в которой ничего не было, кроме бедности и огорчений? Но я тебе все-таки расскажу, чтобы ты знал обо мне всё. Может быть, потом ты будешь вспоминать об мне.

Через некоторое время после смерти и похорон отца её мать сошлась с другим человеком, которого Жанина не любила и боялась, хотя он никогда не сделал ей зла. Он был кровельщик по профессии, но часто оставался без работы, потому что был горьким пьяницей. Материальное положение семьи еще ухудшилось. Тогда мать отправила Жанину в деревню, объяснив ей, что так будет лучше.

– Я только позже поняла, – сказала Жанина, – что я ей просто мешала. У нас была одна комната на всех, и это её стесняло.

Она провела почти шесть лет в деревне, у деда и бабушки: у них был маленький домик, несколько кур, две утки и собака. Они жили на пенсию, которую получал дед, выслуживший её на железной дороге. Он так до самого конца своей жизни и не мог представить себе существование вне этого: поздно вечером, когда бабушка уже давно спала, он говорил внучке, слыша отдаленный гудок паровоза:

– Ты слышишь, Жанина? Это парижский экспресс. Смотри, он опаздывает на сорок три секунды.

Днем она нередко сопровождала его; неизменно направляясь к железнодорожному полотну, он шел по полю, медленно переставляя ноги и опираясь на палку. Потом он доходил, наконец, до своего любимого поворота, садился на невысокий бугорок, всегда тот же самый, набивал свою трубку серым табаком, закуривал и ждал поезда, который через пятнадцать или двадцать минут проносился мимо него в пыли и грохоте колес. Он следил за ним глазами и каждый раз говорил одну и ту же фразу:

– Да, тут, милая моя, колесам туго приходится! Смотри, какой поворот. Ты слышишь, как они стонут? Вот, тебе будут в школе говорить, что металлы бесчувственны. Это неправда: металлу так же может быть больно, как нам с тобой.

Он строго говорил маленькой Жанине:

– Ты не думай, что это так просто – топить паровоз. Тебе кажется, что это как печка? Нет, милая моя. Вот смотри.

И он медленно поднимался с кресла – он был стар, и было видно, что каждое движение требовало от него усилия, – и начинал

бросать дрожащими руками воображаемые лопаты угля в незримую топку.

– Видишь, Жанина? Это круговое движение. Раз, два, три. Раз, два, три. Если же ты будешь бросать как попало, то у тебя потекут трубы. И, главное, не забывай манометра.

Девочка никогда не видала топки паровоза и не знала, что такое манометр. Но дедушку она слушала с увлечением – и ей казалось иногда, что они вдвоем с ним совершают далекое путешествие на огромном черном локомотиве, и вот, ночью навстречу ему летит воздушная тьма, сыплются искры на землю, и в открытую, нестерпимо жаркую топку равномерно падает уголь; дедушка стоит с трубкой и смотрит на загадочный манометр.

В деревне была церковь с высокими сводами и сине-золотыми витражами, и в церкви был сумасшедший аббат, всегда говоривший непонятные вещи. Когда-то в молодости он был светским человеком и ушел в монастырь из-за любовного несчастья. Он очень не любил деда Жанины, потому что тот не верил ни в Бога, ни в загробную жизнь и никогда не бывал в церкви. Но внучке он не запрещал туда ходить. Она любила неизменный полусвет в ней, гулкий звук органа, латинские слова службы, непонятные и торжественные. Крестьяне считали аббата сумасшедшим потому, что он часто говорил так, что они его не понимали. Он сказал однажды Жанине удивительные слова об её дедушке, смысл которых остался для неё загадочным до сих пор, но которые она запомнила, потому что они её поразили:

– Жизнь твоего деда, Жанина, была уклонением от человеческой ответственности. Люди ездят на поездах, чтобы куда-нибудь приехать и достигнуть какой-то цели: жениться, умереть, получить наследство или утонуть. Твой дед провел всю жизнь на поездах, но он никогда никуда не ехал. Он только перевозил других людей со слепой безразличностью. Жизнь прошла мимо него, но он не выполнил того долга, который был определен ему Богом, и Бог наказал его неверием. И так как он неверующий, то он попадет туда, где язычники. И если там есть подземная справедливость, то Харон уйдет в отставку и он займет его место, которое он давно заслужил.

Он говорил это десятилетней девочке, которая слушала его с широко открытыми глазами, – и не думал о том, что она не может его понять. Она запомнила, однако, эти слова и странное ожесточение, с которым он их произносил, правую руку аббата, угрожающим жестом поднятую вверх, и то, как он уходил потом в солнечном свете летнего дня и как легкий ветер раздувал его черную сутану. Она потом рассказала это деду. Он невнимательно выслушал её и ответил что аббат сумасшедший, что это давно всем известно и что на него не надо обращать внимания. Был летний вечер, бабушка дремала, как всегда, сидя в кресле, и дедушка сказал:

– Самый неверный час – это сумерки. Каждый механик тебе это подтвердит.

Затем он дождался парижского экспресса и только потом лег спать – и таким он ей запомнился навсегда: в вязаном теплом белье, в плотном ночном колпаке на голове, с седой щетиной на морщинистых щеках, со своими неправдоподобно ровными вставными зубами, – таким, каким его нашли однажды, в то зимнее утро, когда она его видела последний раз.

Ей было тогда пятнадцать лет, она плохо себя чувствовала и часто плакала без причины, по ночам ей снились скалы, обрушивающиеся на неё, и поезда, врывающиеся в темные туннели. Это состояние продолжалось целый год, тот самый год, который прошел от смерти деда до смерти бабушки. Бабушка умерла от воспаления легких, зимой, вскоре после того, как Жанине исполнилось шестнадцать лет. Ей было шестьдесят четыре года, она никогда до этого не знала недомоганий, и если бы у неё оставалась хоть малейшая воля к жизни, она бы, вероятно, поправилась. Но воля к жизни покинула её тогда, когда похоронили деда. Она прожила с ним сорок шесть лет в этом маленьком домике, где она столько раз ждала его возвращения с работы, где она родила ему дочь, – и вне этого, как вне его постоянного присутствия, жизнь её не имела для неё никакого смысла. Она была простая женщина и едва умела читать, но если бы она была способна точно выразить то, в чем заключалось для неё главное значение её существования, она, вероятно, определила бы его именно так: он и то, что окружало его, эти стены, эти кровати, эта черепичная крыша над тем небольшим пространством, где прошла её жизнь рядом с ним, в таком бесконечно долгом соседстве. Она даже не могла бы наверное сказать, любила ли она его и была ли она счастлива; вероятно, любила и, вероятно, была счастлива, но и тот и другой вопрос как-то не имел отношения к ней. Самое главное было то, что это была двойная жизнь, – её и его или его и её, – и после его смерти её собственное существование сразу потеряло то значение, которое возникло сорок шесть лет тому назад и которого теперь не стало.

На похороны приехала мать Жанины, – как она приезжала год назад на похороны деда, – в том же дешевом черном платье и черном пальто, которое было ей широко; она очень похудела за последнее время, под её глазами были глубокие синие круги, цвет её лица приобрел тревожно-сероватый оттенок, и если бы Жанина имела какое-нибудь представление о болезнях, для неё было бы ясно, что срок жизни её матери определяется теперь, быть может, несколькими месяцами. Домик был продан, маленькое наследство получено, и Жанина вернулась с матерью в Париж. Они остались вдвоем, – потому что кровельщик ушел уже некоторое время тому назад, бормоча в пьяном виде, что сказка, как он сказал, прожита и кончена, и это было первый и последний раз, что он произнес слово „сказка“, которое звучало в его устах с такой дикой неестественностью. Через некоторое время мать Жанины оперировали: у неё был рак груди.

– Они так изрезали это бедное тело, – сказала Жанина и слезы выступили на её глазах.

Она долго и мучительно болела, и Жанина провела много месяцев, ухаживая за ней, покупая лекарства, вызывая докторов, которые смотрели мимо неё невыразительными глазами и явно не хотели сказать того, что она сама прекрасно понимала, то есть что на выздоровление или даже просто улучшение не было никакой надежды. Но в тот день, когда её мать умерла, Жанина плакала, глотая слюну и слезы, – плакала о матери и о себе, от сознания, что теперь, в этом огромном и враждебном мире, она осталась одна и её некому защитить. После этих четырех смертей, так незаслуженно, как ей казалось, обрушившихся на неё, вокруг неё возникло пустое и холодное пространство. Ей вспомнился сон, преследовавший её несколько лет тому назад, и мучительное ощущение, его неизменно сопровождавшее. Ей снилось, что она идет в сумерках по огромному снежному полю, такому, какое она видела раз в жизни, в особенно суровую зиму, – совершенно одна, и у неё не хватает сил дойти до какого-то места, до которого еще очень далеко, она движется с трудом в морозном воздухе, и сколько хватает глаз, не видно ни одной живой души. Наконец она падает на белую, мерзлую землю, и ей кажется, что она слышит чьи-то голоса. Она делает необыкновенное усилие и встает – и вот, вокруг неё та же мертвая тишина и тот же ледяной воздух, которым больно дышать.

Роберт слушал её с напряженным вниманием. Она прервала себя и сказала:

– Вот видишь, это, кажется всё. Это не может быть для тебя интересным. И это непохоже на те необыкновенные вещи, которые показывают в фильмах.

– Да, несомненно, – сказал он.

– И я тебя хотела спросить одну вещь.

– Да?

– Кто был Харон, о котором говорил аббат?

– Как тебе это сказать? Древние греки верили, что души умерших людей попадают в подземное царство – поэтому аббат говорил о подземной справедливости. Там они совершают странствие, и в частности переправляются через реку Стикс. Харон был лодочник, который перевозил их с одного берега на другой. Он только это и делал всю свою жизнь, вернее вечность. Вот почему сумасшедший, как ты говоришь, аббат сравнивал с ним твоего деда.

– Этого мне никто не мог объяснить до сих пор, – сказала Жанина. – Я спрашивала разных людей, но они этого не знали.

– А самого аббата ты не спросила?

– Нет, – сказала она, улыбаясь. – Я слишком его боялась, чтобы задавать ему вопросы.

Андрэ Бертэе, единственный человек, с которым Роберт хотел поговорить и с мнением которого он считался, был в отъезде. Роберт знал, что его отец вел переговоры в Англии и в Испании и что он вернется не раньше, чем через десять, двенадцать дней. Он ждал его с нетерпением. За это время он два раза обедал дома, вдвоем с матерью; она небрежно спрашивала его, как он поживает и что делает, но невнимательно слушала его ответы и была занята, как всегда, своими постоянными заботами о здоровье, диетой, докторами, новыми лекарствами, словом, тем, чем она занималась много лет. Но даже она, при всем своем отсутствии интереса к жизни собственного сына, заметила на новом выражении, которое появилось в лице Роберта. Она, впрочем, истолковала это по-своему.

— У меня такое впечатление, что ты как-то изменился, — сказала она в конце обеда. — Нет, вы же знаете, что я никогда не пью кофе, — заметила она горничной, которая по ошибке подошла к ней с кофейником. — Скажи, милый друг, ты действительно хорошо себя чувствуешь? Ты знаешь, болезнь иногда тебя сваливает сразу, но иногда она подкрадывается незаметно, и когда ты спохватишься, бывает слишком поздно. Так было с моей школьной подругой, Дениз, — ты ее помнишь? И я была единственной, которая ее своевременно предупреждала, но она не хотела даже слушать то, что я ей говорила, она была тогда увлечена какой-то там любовью. А результат ты знаешь: мы похоронили ее два года тому назад.

— Да, да, — рассеянно сказал Роберт. — То есть я хочу сказать, что в данном случае дело обстоит не так, я прекрасно себя чувствую, лучше, чем когда-либо.

Соланж покачала головой.

— Вспомни Дениз, — сказала она опять.

Роберт прекрасно помнил Дениз, худенькую, моложавую женщину с огромными глазами, la Grande Amoureuse, как ее называли те, кто ее хорошо знал. Он помнил ее родинку в левом углу накрашенного рта, ее легкие движения, быструю походку и голос, в котором всё время точно слышался сдержанный смех. Она четыре раза была замужем, жила шумно и беспорядочно, в постоянной и совершенно неразрешимой сложности своих любовных отношений с разными людьми, и если вообще существовало что-либо, что ей было абсолютно чуждо и представление о чем никогда, казалось бы, не могло возникнуть при мысли о ней, это возможность чего бы то ни было трагического во всем, что касалось ее. Но однажды, уехав на автомобиле за город с тем, кто должен был стать через некоторое время ее пятым мужем, она внезапно умерла в номере провинциальной гостиницы от какого-то чрезвычайно короткого и страшного припадка, который продолжался всего несколько часов. Из двух врачей, присутствовавших при ее последних минутах, — лицо ее потемнело, она

не приходила в себя, — ни один не мог определить, от чего, собственно, она умерла. Было объявлено, что произошло мгновенное заражение крови, совершенно необъяснимое, — и причину которого знала только Соланж Бертье, — вероятно потому, что она никогда не сомневалась в правильности своих суждений, и потому, что она ничего не понимала в медицине. И Роберт ничего не возразил матери, поступив так же, как поступал в таких случаях его отец. И так же, как его отец, он понимал, что они оба так бережно относились к ней потому, что каждый из них любил в ней не эту блеклую Соланж со своими надоедливymi и вздорными рассуждениями о болезнях, а те воспоминания, которых не существовало бы без нее и которыми они были обязаны именно ей и только ей: Роберт — о своем детстве, Андрэ — о своей молодости. Тогда она была другой; и они продолжали ее любить такой, какой она была тогда, и против этой любви было бессильно время и те изменения в ней, которые оно принесло с собой.

Эти первые две недели, проведенные с Жаниной, были наполнены для Роберта той значительностью, которой он так тщетно искал раньше и которой не находил ни в чем. Он засыпал рядом с Жаниной и просыпался с мыслью о ней, так, как если бы она была далеко, — в то время, как их кровати разделяло расстояние нескольких сантиметров. Он никогда столько не говорил, как в эти дни, объясняя ей множество вещей, о которых она ничего не знала, потому что в том мире, откуда она пришла, их не существовало. Днем он водил ее в Булонский лес или возил на автомобиле за город, и в течение всего этого времени он не прочел ни одной строки, что тоже случилось с ним первый раз в жизни.

Всё его внимание было сосредоточено на мысли о ней. Несмотря на то, что ему бессознательно льстило ее обожание, несмотря на то, что он всякий раз испытывал непонятное волнение, когда она останавливала на нем свои широко открытые глаза и было совершенно очевидно, что она искренно считает его высшим существом, несмотря на непреодолимое тяготение к ней, вне которого он не представлял себе в данный момент своей жизни, он не мог не понимать, что между ним и Жаниной было огромное расстояние и что просто пренебречь этим нельзя. В сотый раз он думал о том, что, может быть, творческое напряжение, необходимое для того, чтобы приблизить к себе Жанину и добиться ее хотя бы приблизительного равенства с собой, — что это напряжение окажется ему не под силу. Он никогда до сих пор не задумывался над тем, имеет ли его собственный умственный и культурный багаж какую-либо ценность, и был бы склонен скорее полагать, что она, в сущности, незначительна. Но сейчас этот багаж мешал ему. Он думал о Жоржетте и о наивной ее невежественности во многом; но все-таки даже сравнение Жанины с Жоржеттой было невозможно. Он утешал себя тем, что с чисто социальной точки зрения Жанина была более приемлема,

чем многие его знакомые, принадлежавшие к его кругу и с которыми он не мог найти общего языка, потому что они были в культурном смысле малограмотны и душевно примитивны.

Но он не заметил того, что за это время Жанина – с необыкновенной легкостью – изменилась так, как этого от нее требовали те неожиданные обстоятельства, в которых она оказалась. Во всем, что происходило теперь, не было ничего, что она знала бы раньше, и то, с чем она сталкивалась, возникало для нее впервые. Это было похоже на кинематограф, с той разницей, что там это касалось каких-то почти отвлеченных красавиц, а здесь была она сама, Жанина, дочь венгерского портного и французской поденщицы. И всё это исчезало в том стремительном и безвозвратном движении, которое меняло всё и не оставляло времени даже чтобы обернуться и постараться понять, когда и как это началось и почему это стало возможно. В те редкие часы, когда она оставалась одна и смотрела на себя в зеркало, она не узнавала своего собственного лица. У нее потемнели и углубились глаза, и в них появилось выражение, которого она не могла определить сама и которое, вероятно, показалось бы чужим и далеким для всех, кто так хорошо знал ее раньше, для матери, деда, бабушки и даже, может быть, для сумасшедшего аббата, если бы он остановил на ее лице свой дикий взгляд из-под мохнатых, седых бровей.

Но в отличие от Роберта, никогда не думавшего о том, что непосредственно предшествовало появлению Жанины в его жизни, она не могла ни на один день забыть о rue St. Denis и о страшном лице Фреда, которое всё время преследовало ее. Она боялась его больше всего на свете. Она знала со слов тех, кто ей говорил о нем, что человеческая жизнь для него не играет роли, что ему неизвестно чувство страха и что он сам глубоко убежден в своей собственной необыкновенности, в том, что ему предстоит исключительная судьба, и нет препятствий, которые могли бы его остановить. Так ей о нем говорили. Но сама она ничего не знала об его прошлом, – ни кто он был, ни откуда он появился, и это только усиливало ее ужас перед ним. Если вдруг ему удастся найти ее след и обнаружить ее теперешнее местопребывание, то тогда... Каждый день она собиралась незаметно уйти, вернуться на rue St. Denis и избавить Роберта от угрозы, которая нависла над ним. Но у нее не хватало сил это сделать. Она смутно надеялась сама не зная на что, но чаще всего у нее было томительное ощущение временности и хрупкости ее теперешней жизни. И то, чего она не знала, – это, что сознание ежедневной опасности и готовности к тому, что это может насильственно и страшно оборваться каждую минуту, придавало ее чувству к Роберту ту зыбкую глубину и то душевное изнеможение, которых не было бы, если бы рядом с ними не было мысли о смерти.

Жанина тоже думала о неравенстве между ней и Робертом, но думала об этом с восторженностью. Она никогда не представляла

себе, что могут существовать такие люди, как он. Он всё знал, мог ответить на любой вопрос, всё читал, видел и понимал; в его обращении с ней была мягкость, которой она тоже до сих пор не встречала – в его движениях, в интонациях его голоса, во взгляде его глаз, в его постоянной сдержанности. И только в редкие минуты, когда она ощущала, обнимая его шею руками и приблизив к нему свое лицо, прикосновение его твердого тела, его губы вдруг начинали вздрагивать, выдавая его волнение. Она смотрела в его глаза и не смела повторить ему того, что она сказала ему в первый день: что она боится за его жизнь и что даже эта боязнь не может ее оторвать от него. Ей казалось, так же, как ему, что это самый важный период ее жизни, и в конце концов, по сравнению с пониманием этого, всё остальное теряло на минуту то значение, которое должно было иметь.

Андрэ Бертье вернулся в Париж после пятнадцатидневного отсутствия. Роберт позвонил ему на квартиру, и когда он услышал, наконец, этот голос, который он так хорошо знал, у него внутри что-то дрогнуло, как это бывало с ним в детстве после очередной провинности.

– Да, да, приезжай ко мне на фабрику, часа в три.

Фабрика Бертье была далеко за городом, на берегу реки. Роберт проехал по набережной мимо ровно посаженных каштановых деревьев и остановил автомобиль против окон директорского кабинета. Через две минуты он увидел отца, сидевшего за столом в своем всегдашнем вращающемся кресле.

Он чувствовал непривычное волнение и впервые за долгое время не знал, с чего начать. Но он не успел еще ничего произнести. Андрэ Бертье поднялся с кресла, взял его за плечи, посмотрел ему в лицо и спросил:

– Что-нибудь случилось? А?

– Да, – сказал Роберт неуверенным голосом. – Я всё это время ждал твоего приезда и никогда еще так не жалел о твоем отсутствии, как теперь.

– Хорошо, хорошо, – нетерпеливо сказал отец. – Ты только скажи: всё благополучно?

– Да, конечно.

– Но что-то произошло, о чем тебе трудно говорить? Какая-нибудь темная история? Это на тебя не похоже.

– Я тебе просто расскажу всё по порядку, – сказал Роберт. – На следующий день после твоего отъезда...

Когда Андрэ Бертье слушал рассказ сына, в его глазах стояло то выражение далекой насмешки, которое почти неизменно появлялось в них каждый раз, когда Соланж говорила о медицине. Кончив рассказ, Роберт замолчал и вопросительно посмотрел на отца.

– Хорош, милый мой, хорош, – сказал Андрэ Бертье. – Так вот, если ты хочешь знать мое мнение, то я нахожу, что, кажется,

первый раз за все время ты поступил как живой человек, а не как ходячая библиотека. Я не хочу этим сказать, что ты действовал очень умно или очень хорошо. В частности то, что с тебя должна была начинаться ее карьера, звучит настолько глупо и невероятно, что, по-видимому, это, действительно, правда. Но из всякого положения есть выход. И ты знаешь, что ты всегда можешь рассчитывать на меня.

Он задумался на минуту, потом сказал:

– Я приду к тебе завтра обедать.

Он протянул руку к телефону, который звонил уже несколько секунд, но на который он до сих пор не обращал внимания.

– И пусть она приготовит курицу.

Когда Роберт после прощанья с отцом подходил к своему автомобилю, он вдруг сам заметил, что насвистывает венский вальс. У него было необыкновенно легко на душе. Все было так, точно он избавился от смутного сознания своей ответственности за то, что произошло с ним, – хотя это сознание появилось у него только вчера, когда он звонил отцу, до этого его не было. Отец сказал ему, что он одобряет его поведение и берет на себя устранение тех трудностей, которые могли бы возникнуть. Он, правда, не сказал ничего похожего на это, но это было очевидно, настолько очевидно, что венский вальс был звуковым подтверждением этого. Он ехал домой, не замечая дороги, не видя улиц и почти не зная того, что уже давно идет довольно сильный дождь.

Когда он отпер ключом дверь, Жанина, – он знал, что это не могло быть иначе, – стояла почти на пороге, и он сразу увидел ее расширенные глаза.

– Ну, что? – спросила она почти не слышимым от волнения голосом.

Он, не отвечая, обнял ее талию и, насвистывая все тот же вальс, стал кружиться с ней по комнате.

– Ты с ума сошел – сказала она, смеясь. – Я тебя спрашиваю о серьезных вещах.

Но он продолжал свистеть, заставляя ее следовать за собой в танце. Потом он остановился и сказал:

– Нет ничего хуже ковра, когда танцуешь.

– Ответь мне на мой вопрос.

– Хорошо. Ты умеешь жарить курицу?

– Какое это имеет отношение к тому, о чем я тебя спрашиваю?

– Самое непосредственное, – сказал Роберт. – Завтра вечером мой отец обедает у нас, и он просил меня передать тебе, что ему хотелось бы есть жареную курицу.

– Боже мой! – сказала она, опускаясь в кресло. – Я умру от страха, Роберт.

Но на следующий день все прошло благополучно. Жанина, которая действительно испытывала неподдельный страх при одной мысли о встрече с отцом Роберта, вначале говорила едва слышно, но потом оправилась: Андрэ Бертье обращался с ней так, точно

они были давно знакомы. И когда после обеда они переходили из столовой в кабинет и он обнял одной рукой плечи сына, другой плечи Жанины, она почувствовала к нему необыкновенное доверие и последние следы ее боязни исчезли.

В течение всего вечера разговор ни разу ни коснулся того самого важного вопроса, из-за которого Андрэ Бертье приехал обедать к сыну. Он рассказывал смешные истории о своем заводе, о рабочих, о сенаторе Симоне, и быстрые его глаза переходили с Жанины на Роберта. Когда была подана курица, он стал говорить о вегетарьянцах, до этого он смеялся над Робертом и его книгами – в общем, было впечатление, что этот человек пришел обедать к хорошим знакомым, к которым он искренно расположен, и что во всем этом нет ничего ни особенного, ни значительного.

Но когда Роберт вышел его провожать, он видел, что лицо отца стало серьезным. Они прошли молча несколько шагов. Бертье сказал:

– Да, в ней что-то есть. В ранней молодости такой была твоя мать. Я не говорю, конечно, о внешнем сходстве.

Роберт кивнул головой. Бертье, поняв причину его молчания, прибавил:

– Я хочу сказать следующее: есть сравнительно мало женщин, при виде которых ты рискнешь подумать – с ней могу связать мою жизнь. Понимаешь? В хорошем и плохом.

– Я об этом не думал, – сказал Роберт откровенно.

– Неудивительно. А я подумал сразу же. Я могу ошибиться в расчете. Но не во впечатлении, понимаешь?

– Я все время чего-то боюсь – сказал Роберт, – хотя ей об этом, конечно, не говорю. Я не знаю сам, чего именно, какой-то катастрофы, которой я не могу определить. Вдруг она выйдет на улицу и попадет под автомобиль, как ее отец. Кроме того, я боюсь еще, что в один прекрасный день она уйдет из дому и не вернется, чтобы избавить меня от той опасности, которую она так преувеличивает.

Они дошли до угла и повернули обратно.

– Если все будет благополучно, то в дальнейшем мы постепенно устроим разные вещи, – сказал Бертье. – В сущности, никто не обязан знать ее биографии, в которой, кстати, нет ничего плохого, – кроме эпизода с Фредом, конечно. В остальном...

Он пожал плечами.

– Торопиться вообще ни с чем не следует. Ты мог бы уехать с ней в провинцию или в путешествие. Но это потом будет виднее.

Затем прибавил:

– А бояться не нужно, это бесполезно. Нужно знать, чего ты хочешь и быть готовым это защищать. Это, может быть, не Бог весть какая философия, но этому меня научила моя жизнь.

И когда он уже садился в автомобиль и Роберт стоял у дверцы, он вдруг сказал:

– Разница между ней и тобой, конечно, большая. И ты ее не

сгладишь, я думаю, никогда. Но может быть, это не так плохо, как кажется.

Когда Роберт вернулся, она ждала его у порога, как всегда. Он отворил дверь, увидел ее лицо, ее фигуру в синем платье, вспомнил о той, какой она была, когда он встретил ее впервые на rue St. Denis, — ее клетчатую короткую юбку, испуганные глаза, сдавленный голос, — и подумал, что самая властная сила в мире, это сила случая, не поддающаяся ни предвидению, ни определению. Он смутно думал о том, ощущая на своих щеках прикосновение ее теплого лица и глядя в ее глаза, которые были так близко, что он видел только их цвет и их дрожащую влажность.

Прошло еще несколько дней. Он ездил в город вместе с Жаниной, они делали покупки в магазинах, по его настоянию она заказала себе четыре платья и выбрала купальный костюм, потому что подходило лето и он сказал ей, что они поедут к морю. И он не обратил особенного внимания на то, что, когда они выходили из магазина на rue Lafayette и когда он отпер ключом дверцу своего автомобиля, полицейский огромного роста, прохаживавшийся по тротуару, сказал ему с улыбкой:

— Есть все-таки любители чужих автомобилей, monsieur. Только что один такой тип очень внимательно осматривал вашу машину, вероятно, ему кузов понравился. Но на его счастье, он вовремя обернулся и увидел меня. После этого он не задерживался.

Роберт пожал плечами и сказал:

— Значит, мне на этот раз повезло.

На следующий день он с утра уехал в Латинский квартал, где купил несколько книг для Жанины, именно тех, которых не было в его библиотеке и которые, по его мнению, были ей нужны. Он вернулся в начале двенадцатого, вошел в квартиру и вдруг сразу остановился на месте. Потом он прислушался. Стояла тишина, которая почему-то показалась ему тревожной. У него сразу пересохло во рту от волнения, он проглотил слюну и крикнул:

— Жанина!

Ответа не было. *(Продолжение следует.)*

Гайто Газданов родился 6 декабря 1906 года в Петербурге. Умер 5 декабря 1971 года в Париже. Похоронен на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в Париже.

С шестнадцати лет и до конца дней жил в изгнании.

Отец Газданова, осетин по национальности, закончил Петербургский лесной институт. Мать была взята из осетинской деревни к родственникам в Петербург и здесь получила прекрасное образование.

Гайто Газданов вместе с родителями жил в Петербурге, в Сибири, в Тверской губернии, в Белоруссии, на Украине. Он учился в харьковской гимназии, потом в кадетском корпусе в Полтаве. Пятнадцати с половиной лет отправился добровольцем в Белую армию, через год

– изгнание. Началась эмигрантская жизнь: год – в военном лагере в Турции, побег оттуда в Стамбул, учеба в русской гимназии в Стамбуле, потом в Болгарии...

Получив, наконец, в 23 году аттестат об окончании гимназии, Газданов отправился в Париж. Пять лет он зарабатывал на хлеб то портовым грузчиком, то мойщиком паровозов, то уроками французского и русского языков. И только к 28 году удалось определиться на постоянную работу – ночным таксистом. Работа эта кормила его двадцать лет. На пятом десятке жизни он почувствовал, наконец, что может прожить на литературный заработок. А пока ночами он работал, днем – писал и учился в Сорбонне.

Его первая публикация появилась в 1926 году – рассказ “Гостиница грядущего”.

В 1930 – первый роман “Вечер у Клэр”. По свидетельству Адамовича, роман “был одобрен строгим судьей, Буниным, особенно оценившим стилистическое мастерство автора”.

Из письма Газданова Горькому (3.3.1930):

“...Очень благодарен Вам за предложение послать книгу в Россию. Я был бы счастлив, если бы она могла выйти там, потому что здесь у нас нет читателей и вообще нет ничего. С другой стороны, как Вы, может быть, увидели это из книги, я не принадлежу к “эмигрантским авторам”, я плохо и мало знаю Россию, т.к. уехал оттуда, когда мне было 16 лет, немного больше; но Россия моя родина, и ни на каком другом языке кроме русского я не могу и не буду писать.

Вы советуете мне, дорогой Алексей Максимович, не быть увлеченным собственной книгой и тем, что я ее написал. Эта опасность для меня не существует. Я вовсе не уверен, что буду вообще писать еще, так как у меня, к сожалению, нет способности литературного изложения: я думаю, что если бы мне удалось передать свои мысли и чувства в книге, это, может быть, могло бы иметь какой-нибудь интерес, но я начинаю писать и убеждаюсь, что не могу сказать десятой части того, что хочу. Я писал до сих пор просто потому, что очень люблю это, – настолько, что могу работать по десять часов подряд. Теперь же вообще у меня нет просто материальной возможности заниматься литературой, я не располагаю своим временем и не могу ни читать, ни писать, так как работаю целый день и потом уже совершенно тупею. Раньше, когда я имел возможность учиться – что я делал до сих пор – я мог уделять целые долгие часы литературе, теперь это невозможно – да к тому же я совсем не уверен в том, что мое “литераторство” может иметь смысл.

А то, что я напечатан только за границей, очень обидно. У меня мать живет во Владикавказе и преподает там иностранные языки – французский и немецкий; я у нее один – ни детей, ни мужа у нее не осталось, они давно умерли. Она знает, что я выпустил роман – а я даже не могу ей послать книгу, так как это или вовсе запрещено, или, во всяком

случае, может повлечь за собой неприятности. Я не видел ее 10 лет, и я представляю себе, как она должна огорчаться тем, что не может прочесть мою книгу, которая ей важна не как роман, а как что-то написанное ее сыном. Кстати, я думаю, что книга моя вряд ли может выйти в России: цензура, по-моему, не пропустит..."

Как и предвидел двадцатичетырехлетний автор, роман его на родине опубликован не был.

Сохранилось еще одно письмо Газданова Горькому, помеченное 1935 годом. В нем Газданов просит помочь ему вернуться в Россию. Горький сделать этого или не сумел, или не успел.

В 1938 году вышел роман "История одного путешествия".

В 1939 – роман "Полет".

В годы второй мировой войны Газданов участвовал во французском Сопротивлении.

В 1945 году появилась его книга (единственная документальная) "На французской земле" о советских партизанах во Франции.

В 1947-48 годах вышел в свет роман "Призрак Александра Вольфа" и его многочисленные переводы – на английский, французский, итальянский и испанский языки. Книга имела шумный успех.

В 1949-50 – роман "Возвращение Будды" – на русском и в тех же переводах. И снова успех.

Два эти романа поправили материальное положение Газданова настолько, что он смог оставить работу таксиста.

В 1952 году – роман "Ночные дороги".

В 1953 – роман "Пилигримы".

В 1965 – роман "Пробуждение".

В 1969 – роман "Эвелина и ее друзья".

В 1972 году, уже посмертно – незаконченный роман "Переворот".

Итак, 10 романов, одна документальная книга, огромное количество рассказов, эссе, статей о литературе: настоящий писатель – это прежде всего, – уровень письма. Но не только. Это еще и сработанный объем.

(Продолжение) Он быстро прошел в одну комнату, в другую, в ванную, в кухню. Жанины не было нигде. Он вошел в кабинет – и почувствовал незнакомую ему боль в левой стороне груди: посередине стола лежал лист бумаги, на котором он увидел подпись Жанины. Он несколько раз, не понимая, прочел эти строки. Это было, конечно, именно то, чего он боялся. Она писала, что она уходит, потому что не может перенести того, что его жизнь подвергается ежедневной опасности из-за нее. Она прибавляла, что хотела бы ему сказать еще очень много, но слезы мешают ей писать, и она боится, что он может вернуться каждую минуту, и она знает, что второй раз у нее не хватит силы принять это решение.

Он простоял несколько секунд неподвижно. Потом у него начали трястись плечи. Наконец он закрыл глаза, набрал воздуха в легкие, подошел к телефону и позвонил отцу. Голос Бертье сказал:

– Алло, я слушаю.

Роберт не мог произнести ни слова. Через секунду тот же голос повторил с нетерпеливой интонацией:

– Алло, я слушаю.

– Это я, папа, – сказал Роберт.

Голос Андре Бертье опять изменился, сделавшись глубже и мягче.

– Да, мой милый. В чем дело?

У Роберта опять спазматически сжалось горло. Через секунду он сказал без всякой выразительности:

– Жанина ушла сегодня утром.

Последовало короткое молчание. Потом Бертье ответил:

– Этого надо было ждать. Приезжай немедленно ко мне.

* * *

Сенатор Симон, кутаясь в теплый мохнатый халат,пил кофе утром один, как всегда, в своей огромной столовой, где его невысокая фигура совершенно терялась среди больших стульев, громадного стола, покрытого бесконечно длинной скатертью, и потолков, почти пропадавших вверху. Утренние часы были для него самыми неприятными – потому что он плохо спал, потому что он сам отчетливо чувствовал свой собственный старческий запах размякшего за ночь тела, потому что у него все болело, голова, грудь, поясница, и еще потому, что именно утром он находился в таком состоянии, вспоминая о котором он говорил иногда очередному собеседнику:

– Да, да. И если вы дадите себе труд немного подумать, вы увидите, что человеческая жизнь, в сущности, некрасивая штука.

И для того, чтобы так говорить, у него были, конечно, совершенно достаточные основания, так как, высказывая это суждение общего порядка, он каждый раз имел в виду именно свою собственную жизнь. Он, однако, давно забыл то далекое время, когда он был почтовым чиновником в маленьком провинциальном городе и когда никто не мог бы предсказать карьеры, которая была ему суждена.

Сначала он был выбран муниципальным советником. Через год он был помощником мэра. Еще через три года, истратив на выборную кампанию свои последние сбережения, – как он говорил об этом всем, – он стал депутатом. Дальнейшее разворачивалось автоматически, почти не встречая препятствий. Он никогда не отличался преувеличенным честолюбием, и поэтому к нему относились терпимее, чем к другим. Чисто политические вопросы его не интересовали в такой степени, чтобы ради них поступиться какой-либо непосредственной выгодой. Его продвижению не

мешали никакие сильные страсти: он не был игроком, был почти равнодушен к женщинам, не любил и не понимал скачек, пил в умеренном количестве красное вино и полагал, что существующий порядок вещей достаточно хорош уже хотя бы потому, что он обеспечивал ему, Пьеру Симону, ту жизнь, которую он вел и которая могла бы только ухудшиться, если бы произошло какое-либо изменение этого порядка. Когда он выставлял свою кандидатуру в депутаты, вопросы общего порядка не играли для него никакой роли; это было долгосрочное коммерческое предприятие, не сопряженное ни с риском, ни с угрозой банкротства, ни с опасностью переутомления. За все годы своего пребывания в парламенте он не произнес ни одной речи, если не считать тех застольных и очень коротких тостов, которые были обязательны для банкетов и содержание которых было всегда одним и тем же: мы принимаем близко к сердцу интересы такой-то корпорации и принципы, определяющие нашу политику, остаются неизменными – жизненное благополучие народа и защита наших национальных достижений. В молодости он любил банкеты, теперь они утомляли его. Уже много лет тому назад он потерял способность предпочитать одно блюдо другому. Он постоянно ощущал во рту всевозможные неприятные привкусы, – то мыла, то зубной пасты, то непонятно как возникшую горечь дегтя, и каждый раз все, что он ел, отзывалось именно зубной пастой, мылом или дегтем. Врач объяснил ему, что это происходит от недостаточно интенсивного действия печени. Но так или иначе, это было чрезвычайно неприятно и повлекло за собой исчезновение целой области ощущений, которая доставляла ему столько удовольствия в прежние времена. Этого он не предвидел, того, что было характерно для теперешнего периода его жизни: именно, что в результате многолетних и иногда довольно сложных финансовых комбинаций, составив себе крупное состояние, он будет лишен возможности жить по-человечески, без этих мучительных ощущений, которые отравляли ему существование. Он прекрасно понимал, что это было в известной мере естественно для его возраста, но все-таки это казалось ему несправедливым и, главное, незаслуженным. Он не мог об этом думать без раздражения особенно потому, что член той же финансовой комиссии сената, что и он, и его соперник Рибо, который проиграл несколько состояний на скачках и беспечно прожил бурную и беспорядочную жизнь, этот Рибо был теперь так же свеж и весел, так же щелкал пальцами и языком и так же говорил о блондиночках и ресторанах, как тридцать лет тому назад. Все, что всегда доставляло Симону неизменное удовлетворение – то, что он соглашался числиться членом правления в таком-то коммерческом предприятии, куда он являлся раз в полгода на четверть часа и получал ежемесячное жалованье, превышавшее его депутатский оклад, то, что ему платили крупный гонорар за право поставить его подпись под статьей об основных принципах

экономического либерализма, статьей, которой он даже не читал, то, что он делался, в нарушение этих же принципов, владельцем известного количества тех или иных акций, – одним словом, почти все, что составляло главный интерес его жизни, было как-то незаконно скомпрометировано этой глупейшей печенью, почками и еще десятком других явлений этого же порядка, тех самых, которые в такой идеальной степени отсутствовали у Рибо. И когда Рибо скоропостижно умер от удара, после завтрака, у себя на квартире, Симон почувствовал нечто вроде удовлетворения, хотя не был злым человеком по природе и хотя понимал, что смерть Рибо никак не может восстановить правильного действия печени или заставить исчезнуть мыльный привкус во рту. И своему соседу в сенате он сказал:

– Что вы хотите, этот человек прожил беспорядочную жизнь. За такие вещи расплачиваются дорогой ценой.

Но когда сенатор повернулся к нему, Симон понял, что его фраза не могла быть оценена, так как увидел, что в этот день его сосед опять забыл дома свой слуховой аппарат, без которого мир представлялся ему чем-то похожим на огромное, но совершенно беззвучное движение.

Вернувшись домой в день смерти Рибо, он снова вспомнил о нем и потом стал думать о том, что стало со многими людьми, которые были ему близки когда-то, в начале его карьеры. Он вспоминал фамилии дельцов, с которыми был некогда связан, финансовые скандалы, газетные разоблачения, аресты, допросы. Обычно эти люди, проведя известное время в тюрьме, потом все-таки опять появлялись, чаще всего в провинции, и держались в тени. Потом они умирали от старости или болезни, и над их могилами ставили мраморные памятники. Все это было закономерно, и в этом можно было усмотреть проявление какого-то трудно определимого, но несомненно иерархического принципа. Но Симон никогда не был теоретиком и говорил, что предпочитает иметь дело с положительными понятиями, в которых есть реальное содержание, а не с абстракциями, как бы они ни назывались; и не будучи силен в терминологии, он ошибочно называл это позитивизмом. Он не отдавал себе отчета в том, что он склонен сам, именно он, Пьер Симон, к иллюзии и отвлеченности – потому что деньги в его представлении имели мистическую ценность, которая совершенно не соответствовала действительности и не могла ей соответствовать ни в каких обстоятельствах. Он бессознательно придавал им это мистическое значение, и поэтому ему казалось, что в его личной судьбе было нечто несправедливое и незаслуженное: Рибо, который умел только тратить и не умел зарабатывать, чувствовал себя превосходно, а Симон, который мало тратил и много зарабатывал, проводил свою жизнь в ежедневной борьбе с мучительными недомоганиями. И даже смерть Рибо была, в конце концов, недостаточно убедительна, потому что была похожа на

мгновенную катастрофу и не могла рассматриваться как настоящее возмездие за это пренебрежение к тому, вне чего для Симона все остальное могло иметь лишь относительную и случайную ценность.

Но помимо всех этих соображений у него были еще другие основания для беспокойства и огорчения. Он думал прежде всего о своей племяннице, которую воспитал, после того как она осталась круглой сиротой. Она была дочерью его младшего брата, который действительно умер много лет тому назад. Но она не была круглой сиротой, потому что ее мать была, к сожалению, жива. Она, правда, носила теперь другую фамилию и официально, для всех, она вскоре последовала за своим мужем, и Симон, предвидя неизбежный вопрос о том, от чего она умерла и где она похоронена, выработал версию, которой никогда не изменял: жена его брата погибла в море, на маленьком судне, которое неизвестно почему пошло ко дну и с которого никто не спасся. *Perdu corps et biens*. Это судно, однако, существовало только в воображении Симона. Анна – ее звали Анна – была жива.

Того, что она была очень хороша собой, никто никогда не отрицал. Симон прекрасно помнил ее огромные пьяные глаза и те особенные интонации ее голоса, которые делали ее непохожей на других. Но вся жизнь этой женщины целиком укладывалась, – как сказал о ней один из ее кратковременных любовников, адвокат по профессии, – в уголовный кодекс. Всюду, где она появлялась, начинались драмы, скандалы, револьверные выстрелы, бурные объяснения, растраты и уходы из дому. У нее была одна положительная черта: она была бескорытна и материальные соображения не играли роли в ее жизни. И кроме этого, она была по-своему очаровательна, хотя в ее привлекательности, в этих огромных ее глазах и в ее голосе было нечто по-настоящему трагическое, и с первого же взгляда становилось ясно, что ее любовь меньше всего должна быть похожа на безоблачное счастье. Она изменяла шоферу с адвокатом, адвокату с матросом, матросу с учителем – в хаотической последовательности разных мест, квартир и условий жизни. Несколько раз она попадала в тюрьму, несколько раз она была в клинике, где ее лечили от наркомании, но как только она выходила оттуда, все начиналось сначала. Она отличалась необыкновенным здоровьем, которого ничто не могло сломить, и когда Симон встретил ее в последний раз в Марселе – ей было тогда за сорок, – у нее был вид двадцатилетней женщины. Из Марселя она уехала в Африку, и с тех пор он ее не видел. Но один тот факт, что она существовала, не давал ему покоя. Он представлял себе, что было бы, если бы это стало известно.

То, что это оставалось неизвестным, стоило ему ежегодно крупной суммы денег. Она сама, вероятно, об этом не знала; и если бы даже знала, она бы не придала этому никакого значения и не сделала бы ничего, чтобы это изменить. Уже давно Симон стал

жертвой шантажа, против которого был бессилён. Он знал, что обращаться за помощью к ней было бы бесполезно. Он помнил, как однажды он попытался заговорить с ней о денежных делах, это было как раз после смерти её мужа, он никогда не мог потом ей простить того высокомерного презрения, с которым она его слушала. И когда он кончил излагать ей свои соображения, она сказала, покачивая головой:

– Бедняга!

Потом она вышла из комнаты, не взглянув на него, – и он увидел её только через пять лет после этого разговора. У него были тогда десятки готовых возражений, он мог бы ей сказать, в частности, что для неё, конечно, объятия какого-нибудь случайного мерзавца значили больше, чем все другие соображения; но та непонятная робость, которую он всегда испытывал в её присутствии, помешала ему сказать что бы то ни было.

И вот, к нему однажды явился в Париже очень благообразный, лысый человек, уже немолодой, по фамилии Шарпантье, мелкий служащий страхового общества, примерный гражданин и отец семейства, который обстоятельно изложил ему свою биографию и упомянул о стеснённом материальном положении. Когда он заговорил об этом, Симон ощутил ту печальную тревогу, которую ощущал всякий раз, когда ему предстоял непредвиденный заранее расход. Но это оказалось гораздо хуже, чем он мог предполагать. Шарпантье, подобострастно вежливый и говоривший тихим голосом, после многократных извинений – вы понимаете, господин сенатор, я никогда не позволил бы себе... то уважение, которое я к вам питаю... ваша репутация, господин сенатор, которой вправе гордиться наша страна... ваше положение в парламенте... действительно, только трагические финансовые обстоятельства и забота о моих детях, будущих гражданах того государства, которого вы являетесь столь достойным представителем... – сказал в конце концов Симону, что благодаря слепой случайности ему стал известен один факт, который... Он был любовником Анны в течение нескольких часов – и когда она заснула, он долго рылся в её сумке, надеясь найти там деньги. Денег в ней, однако, не оказалось; но зато он нашёл нечто более важное, её бумаги. И тогда он выяснил, что эта пьяная женщина более чем сомнительной нравственности была вдовой человека, которого звали Марсель Симон и который в свою очередь был родным братом того самого сенатора Пьера Симона, имя которого он так хорошо знал. Он потратил несколько месяцев на собирание необходимых ему сведений, и когда это было сделано, он явился лично к сенатору, чтобы его шантажировать. Он долго это обдумывал и предвидел все возможности – и Симон был бессилён против него. Но как это ни странно, неизменно огорчаясь по поводу необходимости платить Шарпантье за сохранение секрета, Симон не питал к нему никакой личной ненависти; этот человек ему даже нравился. Шарпантье

точно соответствовал типу гражданина, который Симон считал положительным: он служил, был отцом семейства, платил небольшие налоги, воспитывал детей в консервативном духе, говорил о своей жене, верной подруге его жизни, отличался здравым взглядом на вещи, был чрезвычайно экономен и вносил деньги в сберегательную кассу. Правда, он был шантажистом. Но это в конце концов была подробность, которой можно было бы пренебречь, если бы его жертвой стал кто-нибудь другой, а не он сам, Пьер Симон. Но так как, к сожалению, этой жертвой оказался именно он, то после каждого очередного взноса он заболел и проводил два или три дня в постели. У него начиналось нечто вроде чисто физиологического отравления. Лежа часами в кровати, с серо-желтым, небритым лицом, он не мог без ненависти думать об этой пьяной развратнице, которая была виной всего, – потому что, если бы она действительно умерла, то Шарпантье совершенно приблизился бы к идеалу положительного гражданина, так как был бы лишен возможности заниматься вымогательством и увеличивать свои вклады в сберегательную кассу за счет сенатора Симона.

Но это было еще не все. Оставалась племянница, дочь Анны, Валентина, *mademoiselle Valentine Simon*, студентка последнего курса юридического факультета. В ней было немного меньше той размашистости поведения и того презрения ко всему, что о ней могли сказать, которые были так характерны для ее матери. Этим она несколько отличалась от Анны. Кроме того, она, кажется, не была наркоманкой, по крайней мере до последнего времени. Но в остальном она была ее достойной дочерью. Когда ей было двенадцать лет и она совершила какой-то проступок, – он не мог теперь вспомнить, какой именно, – он сделал ей строгий выговор и сказал, что так поступать нельзя, потому что это нехорошо.

– А почему это нехорошо?

– Потому что так нельзя поступать. Так девочки не делают.

– А почему нельзя делать нехорошие вещи, если это приятно.

– Довольно болтовни, – сказал он. – Иди спать.

Много позже он вспомнил об этом разговоре, похожем на тысячи разговоров между родителями и детьми. Того, что Валентина не понимала тогда, когда ей было двенадцать лет, она продолжала не понимать теперь, когда ей шел двадцать третий год. Что значит нехорошие поступки, и почему нельзя их совершать, если они доставляют мне удовольствие? Самым тревожным было, однако, не то, что она восставала против общепринятой морали во имя других, более рациональных или более справедливых принципов, – это было бы терпимо, – а то, что ее поведение и вся ее жизнь определялись только одним: доставляло ей это удовольствие или нет.

– Для этой девушки, господин сенатор, нет ничего святого, – говорила Симону ее воспитательница в лице. – Я прошу у вас прощения за то, что так резко выражаюсь. Но я не могу найти других слов: ничего святого.

Он отправил ее в монастырь, но через две недели его очень почтительно попросили ее оттуда взять, и пожилая настоятельница с ледяными синими глазами – Симон взглянул на нее и с беглым сожалением подумал, что она, вероятно, была очень хороша в молодости, – даже отказалась ему сказать, почему именно необходимо, чтобы Валентина немедленно покинула монастырь. Она не дала никаких объяснений, но была совершенно непреклонна.

– Что ты там опять натворила? – спросил он Валентину с раздражением.

Она сидела рядом с ним в автомобиле. Глядя на него туманными глазами, – он вдруг с ужасом вспомнил, что у ее матери иногда бывал такой же взгляд, – она сказала:

– Глупости, ничего особенного. Я им объяснила вещи, которые все знают, и это привело в ужас эту старую дуру.

– Я тебе запрещаю говорить в таком тоне о настоятельнице, – сердито сказал он. – Если бы ты была наполовину так умна, как эта почтенная женщина...

Пришлось ее снова отдать в лицей. Со сдержанной злобой он думал, что если бы он был просто Дюпон или Дюран, он выгнал бы ее из дому. Но в его положении он не мог этого сделать. Он не мог даже не платить ее долгов. Каждый день он ждал, что ему пришлют счет из магазина или из ресторана, как это было в тот раз, когда Валентина пригласила туда своих подруг и угостила их обедом, никого об этом не спрашивая и не предупреждая. Когда ей представили счет, она сказала пьяным голосом – перед этим было много выпито:

– Это меня не интересует, ваш счет. Отправьте его моему дяде по этому адресу.

– Mademoiselle, – сказал бесстрастным тоном метрдотель, – за такие вещи, извините меня, пожалуйста, бывает сначала полицейский участок, потом уголовной суд.

– Не говорите глупостей, это меня утомляет, – лениво сказала она. – Я вам даю визитную карточку, а вы стойте как истукан и не берете ее.

Метрдотель взял протянутую карточку, взглянул на нее, и лицо его мгновенно изменилось.

– Ради Бога, простите меня, mademoiselle, – сказал он, – я имел несчастье не знать... извините меня... я надеюсь, что этот незначительный инцидент...

– Идите к черту, – сказала она. – Следующий раз будете знать. Мне наплевать.

– Как твой университетский диплом? – спросил ее однажды Симон.

– Когда-нибудь я его, наверное, получу, – сказала она. – Но вряд ли я буду заниматься практикой.

– Почему?

– Это меня не интересует.

Это была фраза, которую она чаще всего произносила.

– А что же тебя интересует?

– Другие вещи, – ответила она. – Совершенно другие, такие, которых ты, наверное, даже не знаешь.

– И рад, что не знаю, – сердито сказал он.

Когда ей было восемнадцать лет, она пришла к нему и заявила, что ей нужно три тысячи франков.

– Даже не думай об этом, – сказал Симон. – Ты мне достаточно дорого стоишь и без этого.

– Ты меня, по-видимому, не понял, дядя, – сказала она своим неторопливым голосом. – Ты непременно хочешь, чтобы я тебе объяснила, зачем мне необходимы эти деньги?

Ему кровь бросилась в лицо и показалось, что не хватает воздуха. Губы его начали дрожать.

– Какой ты впечатлительный, – сказала она. – В твоём возрасте следует относиться к вещам более спокойно.

– Уходи сейчас же отсюда! – закричал он. – И чтобы я больше тебя не видел!

Он выдвинул ящик письменного стола и достал оттуда три тысячефранковых купюры.

– Спасибо, – сказала она. – Я, вероятно, буду дома завтра к вечеру.

Он не знал, с кем она встречается и где проводит время, и предпочитал об этом не думать. Несколько раз, глубокой ночью или под утро, ее привозили домой чрезвычайно почтительные широкоплечие люди с бесстрастными лицами, приезжавшие в синем открытом автомобиле. После одного из таких возвращений, в морозную январскую ночь, он пришел в необыкновенную ярость, начал топтать ногами и кричать что-то совершенно нечленораздельное, но вдруг захрипел, втянул в себя воздух со странным, булькающим звуком и свалился на толстый ковер, неловко подвернув руку. Его перенесли на диван, и вызванный по телефону доктор сказал значительным голосом, что с сенатором случился апоплексический удар.

На следующий день, в сумерках, когда Пьер Симон неподвижно лежал в кровати, глядя пустыми глазами в высокий потолок, Валентина сидела за столиком кафе с молодым человеком в синем пальто и между двумя длительными поцелуями говорила:

– Я должна возвращаться домой, у дяди вчера ночью был удар. Может быть, он умрет, и тогда я получу наследство. Но я не выйду за тебя замуж, потому что ты сволочь. Да, я не спорю, ты умеешь целоваться. Но этого недостаточно.

Вернувшись домой и войдя в комнату дяди, она увидела, что он еще не двигался. Но в его глазах уже опять появилось то выражение, которое было в них всегда, когда он смотрел на нее, – смешанное выражение бешенства и презрения. И она поняла, что ему стало лучше, потому что, когда она уходила, его глаза были безжизненными и пустыми и смотрели на нее без всякой враждебности.

Он, действительно, оправился через несколько дней. Но смысл этого предостережения был для него ясен. И он подумал тогда не без некоторого облегчения, что вероятнее всего он умрет не от печени и не от почек, а так же примерно, как умер Рибо, оттого, что в какую-то минуту, со счастливой невозможностью ее предвидеть, без этого длительного предсмертного томления, которого он так боялся всю жизнь, – у него мгновенно остановится сердце и все будет кончено.

Врач предписал ему длительный покой и непрерывный сон после завтрака. Он послушно ложился на диван, накрывался пледом, подкладывал себе под голову подушки, но почти никогда не засыпал. И так как он не спал и ему было нечего делать, он невольно начинал размышлять о самых разных и случайных вещах. До удара этого с ним почти не бывало. И самое неприятное было то, что его рассуждения нередко касались именно отвлеченных вещей, к которым он до сих пор всегда относился с презрением. Что-то было не так, как нужно, во всей его жизни. Не то, чтобы он испытывал раскаяние или вдруг поверил в загробное возмездие. И если бы ему пришлось начинать сначала, он, вероятно, опять поступал бы так же. Но главное было не это. Вопрос заключался в следующем: стоило ли это делать, стоило ли навлекать на себя презрение огромного количества так называемых порядочных людей, – на этот счет у Симона не было никаких иллюзий, – для достижения того, что у него было сейчас? Может быть, действительно для того, чтобы в конце жизни почувствовать некоторое нравственное удовлетворение, следовало действовать во имя чего-то, одного из тех отвлеченных принципов, упоминание о которых его неизменно раздражало? Он вдруг вспомнил ту презрительную интонацию, с которой Анна ему сказала: *rauvre homme!* Тогда его привело в бессильное бешенство то, как она это произнесла, и он не задумался над тем, что она хотела сказать. Теперь, столько лет спустя, он думал именно об этом. Сенатор Пьер Симон – *rauvre homme?* Так вот что она хотела сказать, – что он был неспособен понять ничего бескорыстного. Она презирала его за то, что непосредственно после смерти его брата, которому она изменила уже тогда, когда он лежал на своем смертном одре, когда ее преследовали два одинаково сильных чувства – печаль, которую она испытывала, глядя своими туманными глазами на труп мужа, и одновременно с этим неудержимое и почти кощунственное в эти дни тяготение к новому любовнику, – что он, Пьер, не видел и не понимал ни того, ни другого и думал в это время о денежных делах и о том, как всё это, то есть измена, смерть, печаль и начало новой любви, как именно это всё отразится на его бюджете. Это было единственное, что ему казалось важным, и дальше этого он не мог пойти.

Вот что значила ее интонация. Он слышал, как сейчас, ее голос и вспомнил с необыкновенной отчетливостью узкую улицу Авинь-

она, где это происходило, старый дом с темными стенами, сумерки в комнате покойного, его мертвое, небритое лицо и темные волосы Анны, когда она стояла на коленях перед его кроватью, положив голову возле его худой желтой руки с синеватыми ногтями. Он повернулся лицом к стене – и вдруг заплакал старческими слезами, только теперь смутно поняв, что всё непоправимо, что смерть, вероятно, близка и, стало быть, всё неправильно и ничто не имеет значения.

Он никогда не был женат. В молодости он полагал, что не может себе позволить такого расхода. Позже, когда у него было достаточно денег, – потому что он всё-таки до конца рассматривал брак прежде всего как известное финансовое обязательство, нечто вроде частного и тягостного налога, – как-то не пришлось. Кроме того, он никогда не испытывал по отношению к женщинам таких сильных чувств, из-за которых стоило бы пожертвовать всеми другими соображениями.

У него не было ни жены, ни детей, и единственной его наследницей была Валентина. Когда он думал об этом, его охватывало отчаяние. Какому мерзавцу достанется в конце концов его состояние, результат сорокалетнего труда? С кем она встречается в эти поздние вечера? – она никогда не возвращалась домой раньше двух-трех часов ночи.

И вдруг это изменилось: это произошло после его удара. Она опять стала посещать лекции в университете, по вечерам она сидела дома за книгами, и он не мог понять, чем всё это объяснялось. Ему начало казаться, что, может быть, он ошибался в своем суждении о ней, может быть, наследственность не так беспощадна и, может быть, вообще всё это завершится каким-то благополучным концом.

Именно в этот период времени он встретил Анрэ Бертье, с которым его познакомил Ренэ, коммерческий директор автомобильной фабрики Бертье, – и Симон был приглашен вместе с Валентиной на обед, где должен был присутствовать Роберт.

* * *

Фред не знал, какой национальности был Лазарис. Этого, впрочем, не знал никто. Лазарис свободно говорил на нескольких языках, сохраняя, однако, во всех обстоятельствах какой-то неопределимый акцент. Это был старый, согнувшийся человек с желтым, как пергамент, лицом и выцветшими серыми глазами, всегда одетый в один и тот же черный, лоснящийся халат. У него были худые руки с длинными пальцами, тупой нос и тонкие губы, постоянно улыбавшиеся, но улыбка его была тоже особенная, характерная именно для него и от которой каждому его собеседнику как-то становилось не по себе. Он был собственником небольшого магазина готового платья на узкой и темной улице, недалеко

от Hôtel de Ville. Его известность – он был скупщиком краденых вещей – была такова, что становилось непонятно, почему об этом не знает полиция и чем объясняется то, что у него никогда не было никаких недоразумений. Фред знал его давно, но избегал к нему обращаться, во-первых потому, что он ему инстинктивно не доверял, во-вторых оттого, что Лазарис платил совершенно ничтожные цены. Но в тех случаях, когда сбыть что-либо оказывалось совершенно невозможно, приходилось идти к нему, так как он был единственным человеком, который не боялся покупать любую краденую вещь, если она действительно имела известную ценность. И в то утро, когда Жинетта принесла Фреду огромный золотой хронометр с эмалевой крышкой, который она украла у одного из своих клиентов, Фред отправился к Лазарису.

Лазарис принял его со своей обычной улыбкой, но когда Фред показал ему хронометр, его лицо стало совершенно бесстрастным. Он открыл крышку, посмотрел на эмалевую поверхность, изображавшую миниатюрного пастушка, игравшего на свирели перед пастушкой, которая лежала, окруженная почему-то стеблями сверкающего тростника, – каждый стебель был сделан из крохотных бриллиантов, – посмотрел затем на механизм, потом пожал плечами и вернул часы Фреду.

– Что это значит? – спросил Фред.

– Это значит, – сказал Лазарис, – что хронометр меня не интересует. Я мог бы его купить для себя лично, но вопрос об этом не возникает. Продать его кому-нибудь другому нельзя.

– Что ты мне рассказываешь? – раздраженно сказал Фред. – Ты думаешь, что я слепой и что я сам не вижу, насколько это дорогая вещь?

Улыбка Лазариса стала еще шире.

– Ты всегда был умницей, Фред, – сказал он, – но ты многого не знаешь. Вот чего тебе не хватает, Фред, – знаний.

– Что ты хочешь сказать?

– Я хочу сказать, что был такой знаменитый мастер, которого звали Jean Pierre Hnaud и который был специалист по эмали. Он умер в Женеве, в 1680 году. Эта эмаль его работы. Она стоит очень дорого. Но у нее есть еще одна особенность: тот, кто вздумал бы ее продавать, немедленно и автоматически попал бы в тюрьму. Теперь ты понимаешь? Я уже прожил большую часть своей жизни – и даже для того, чтобы доставить тебе удовольствие, я все-таки не хотел бы провести мои последние годы в заключении.

Эта манера говорить тоже всегда казалась подозрительной Фреду: Лазарис был слишком красноречив для скупщика краденого.

– Другими словами, сколько ты даешь за хронометр?

Лазарис опять пожал плечами.

– Сто франков.

Черные, неподвижные глаза Фреда пристально смотрели в его лицо. Он знал, по давнему опыту, что его взгляда боялись все, даже самые тупые и самые отчаянные люди. Но лицо Лазариса хранило свое бесстрастное выражение. Так продолжалось две или три секунды. Потом Фред протянул ему часы и сказал:

– Хорошо, я согласен.

Из-под прилавка вдруг появилась бутылка коньяку и две рюмки. Лазарис налил обе, подвинул одну из них Фреду и сказал:

– Пью за твои успехи.

Фред кивнул головой и молча выпил. Лазарис передал ему деньги и небрежным движением положил хронометр в карман.

– Замечательно сделан тростник, – сказал Фред.

– Совершенно верно – замечательно. Фигуры пастушка и пастушки тоже хороши. А ты успел это рассмотреть, сынок?

– Я тебе сказал, что я не слепой.

Лазарис посмотрел на него со своей всегдашней улыбкой.

– Ты хороший парень, Фред, – сказал он, полуобернувшись и делая вид, что собирается отойти от прилавка: Фред понял, что ему пора уходить. – И так как я к тебе дружески расположен, то я дам тебе один совет. Я делаю это потому, – он вздохнул, – что мне кажется, у тебя есть данные, которые позволяют предполагать, что ты плохо кончишь. Вот тебе мой совет: никогда не имей дела с людьми, которые стоят выше тебя, ты понимаешь? Оставайся в той среде, где ты живешь. Не стремись выше – потому что это гибель.

– Ты знаешь, что я ничего не боюсь.

– Это неважно. Я хочу сказать, что есть случаи, когда никакая храбрость тебя не спасет.

– Ты говоришь так, точно очень хорошо это знаешь.

– Я стар, Фред, я видел много вещей. Желаю тебе успеха.

Фред дотронулся до шляпы и вышел из магазина. Лазарис вынул из кармана лупу и еще раз внимательно посмотрел на эмаль: в магазине было темновато, и, в неверном освещении казалось, что на тростнике дрожат и переливаются радужные капли воды.

Фред шел по улице, засунув руки в карманы, и выражение его лица оставалось таким же мрачным, каким было до визита к Лазарису: Фред был недоволен. Но он вообще и всегда был недоволен. Слова Лазариса преследовали его: „никогда не имей дела с людьми, стоящими выше тебя“. Если бы он следовал этому совету, он остался бы на всю жизнь в том деревянном бараке возле Porte d'Italie, где прошло его детство, в глубокой и безвыходной нищете; красное вино, побои, драки, распухшее лицо его матери с постоянными кровоподтеками от ударов, и тот ненавистный, жилистый человек с деревянной ногой, её сожитель, который бил его, Фреда, ремнем по щекам – до тех пор, пока однажды, пятнадцатилетний Фред не ударил его ножом в бок. Калека согнулся вдвое, выронил из руки ремень и прохрипел:

– Сволочь, ты меня убил!

Фред поднял с пола ремень и, сколько было сил, отхлестал его по лицу, не произнося ни слова. Потом он ушел из барака и никогда больше туда не вернулся. Он узнал значительно позже, что калека выжил и что он, конечно, не обратился в полицию: люди оттуда никогда не обращались в полицию. После этого Фред работал некоторое время недалеко от Notre Dame de Paris. Целыми днями он стоял на одном и том же месте, с жестяной кружкой в руке; на глазах его были черные очки, на груди кусок картона с надписью: „слепой от рождения“. Он проработал так довольно долго, у него были уже отложенные деньги, он жил в подвальной комнате, на одной из маленьких улиц возле Avenue des Gobelins. И вот однажды к нему подошли справа и слева одновременно двое мужчин, которые взяли его под руки и повели в комиссариат. Один из них сорвал с него очки и положил их себе в карман. Фреду было тогда шестнадцать лет. Он рванулся было бежать, но после первой же попытки понял, что его держат крепко. Из комиссариата он попал в тюрьму, из тюрьмы в исправительный дом. Оттуда его послали работать к крестьянину; он проработал два дня, потом сбежал и после трех суток утомительного перехода, ночуя в заброшенных зданиях или в туннелях, проходивших под железнодорожным полотном, добрался до Парижа. В первую же ночь в Париже его взяла к себе немолодая накрашенная женщина, которая натолкнулась на него, когда он сидел над Сеной, глотая от голода слюну и глядя на темную поверхность реки. Она тронула его за плечо. Он быстрым движением поднял голову и увидел её лицо с тупыми и добрыми глазами.

– Ты что здесь делаешь? – спросила она.

– Ничего.

– Ты совсем не мальчик, – сказала она, всмотревшись в него внимательнее. В неверном свете фонаря на неё смотрело худое юношеское лицо с неподвижными черными глазами.

– Ты голодный?

– Нет.

– Говори правду, – сказала она. В её голосе было что-то настолько простое и доверчивое, что он опять проглотил слюну и ответил:

– Да.

– Идем со мной.

Она привела его в сырую комнату на третьем этаже гостиницы. Они прошли по узкому коридору, едва освещенному голыми желтыми лампочками, и остановились перед набухшей дверью, которую она отперла своим ключом, достав его из потертой кожаной сумки. Потом она повернула выключатель. В комнате стояла двуспальная кровать, на стене было зеркало, над зеркалом были приколоты веерами фотографии разных людей, военных и штатских, с усами и без усов, молодых и среднего возраста. В углу стоял

небольшой стол, перед ним стул. В другом углу белел маленький умывальник. Обои с огромными желтыми цветами были в разводах от сырости.

Она накормила его колбасой и хлебом, потом разделась. В тусклом электрическом свете он увидел её белый и мягкий, опадающий живот, короткие, полные ноги и круглые плечи. Она легла в кровать и сказала:

– Раздевайся, ложись рядом со мной. Как тебя зовут? Сколько тебе лет?

Он лег рядом с ней и впервые за всё это последнее время, в эту холодную октябрьскую ночь, почувствовал тепло от прикосновения к её мягкому и вялому телу. До этой минуты он не знал женщин.

Через полчаса он заснул крепким сном, но она скоро его разбудила.

– Вставай, милый, сказала она, – он вот-вот придет, и если он тебя здесь застанет...

Он плохо понимал спросонья, что она говорила.

– Я бы хотела остаться с тобой, – сказала она, – потому что я его больше не люблю и потому что он только одно знает – в морду. Раньше, когда я его любила...

– Я ему скажу, чтобы он уходил, – сказал Фред.

– Он избыет и меня и тебя.

– Это мы увидим, – сказал он сквозь сонную муть. В кровати было тепло, ему не хотелось уходить. Через несколько минут он опять заснул.

Он проснулся от пощечины. Он вскочил с кровати и увидел человека в хорошем костюме. На бледном, бритом его лице был большой шрам. Прежде чем Фред успел выпрямиться, мягкая рука с кольцами опять хлестнула его по щеке.

– Оставь его, это ребенок, – сказала женщина. – Он сейчас уйдет.

Человек в хорошем костюме приблизился к Фреду, который стоял у кровати совершенно голый. Он занес над ним руку, но вдруг встретил его неподвижный взгляд, и Фред понял, что он испугался. Тогда Фред уцепился обеими руками за лацканы его пиджака, потом, смешно присев, подпрыгнул вертикально вверх и ударил его головой в подбородок. Его научил этому удару мальчишка поляк в исправительном доме. Человек в костюме замертво свалился на пол. Фред быстро обыскал его карманы и вытащил оттуда бумажник и небольшой браунинг. Он положил их под подушку. Затем он набрал воды в плохо вымытый стакан, стоявший на умывальнике, и плеснул ему в лицо несколько раз. Человек в костюме с трудом поднялся на ноги. Мутные его глаза смотрели, не понимая, на Фреда.

– Убирайся теперь отсюда, – сказал Фред. – Я взял у тебя бумажник и револьвер. Если ты вздумаешь еще когда-нибудь сюда

вернуться, это будет твоим смертным приговором. Понял?

Женщина, которая в течение всего этого времени оставалась в постели, смотрела на Фреда с восхищением.

– Ты настоящий мужчина, – сказала она. – Я тебя обожаю. Я буду работать для тебя.

Её звали Одетт, и он прожил с ней несколько месяцев. Это она назвала его Фредом – потому что она тогда читала в иллюстрированном журнале авантюрный роман, герой которого носил это имя. Развернув журнал и глядя на рисунок, изображавший широкоплечего мужчину, который держал в вытянутой руке револьвер, она сказала:

– Он англичанин, Фред. Он мне очень нравится, я буду тебя так называть. Хорошо?

Однажды под утро, вернувшись домой, он нашел её труп: она была задушена полотенцем. Его тотчас арестовали по обвинению в убийстве и через три дня выпустили. Он сказал инспектору полиции:

– Можете быть спокойны, он от меня не уйдет.

– Глупости, – ответил инспектор. – Ты ничего ему не сделаешь: он сидит в сумасшедшем доме.

Инспектор говорил правду: Одетт стала жертвой маньяка, железнодорожного служащего, которого посадили в отделение буйно помешанных, где он умер несколько месяцев спустя.

Фред давно привык к тому, что не было ничего более хрупкого, чем человеческая жизнь. Одетт была задушена; мать Фреда утонула, упав ночью в реку; на рассвете зимнего дня, в одном из пригородов Парижа был найден труп жилистого калеки с тремя пулями в животе. Потом были арестованы его убийцы, которых Фред тоже знал. Теперь они отбывали многолетнее наказание в тюрьме. Из всех, с кем встречался Фред, только один Лазарис жил так, что ему, казалось, ничто не угрожало. Может быть, это объяснялось тем, что он знал много вещей и среди них был секрет долгой жизни.

Он вернулся домой к одиннадцати часам дня. Он жил теперь вместе с Жинеттой на rue St. Denis, в большой и светлой комнате с центральным отоплением и горячей водой. Соседнюю комнату он снял для Ренэ, которая тоже работала на него. Когда он вошел, Жинетта лежала на кровати и лакировала себе ногти.

– Он взял? – спросила она.

– Не твоё дело, – сказал Фред.

– Как хочешь.

Он сел в кресло, не снимая шляпы, и просидел, не двигаясь и не произнося ни слова, около часу. Жинетта взглядывала на него несколько раз – он продолжал сидеть в той же позе, прищурив один глаз и о чем-то, по-видимому, размышляя.

– О чем ты думаешь? – спросила она наконец.

Он точно очнулся – и быстро посмотрел на неё. Потом он сделал гримасу и сказал:

– Если бы я попытался тебе объяснить, ты бы не поняла. Не утомляй себя напрасно.

Затем они позавтракали в маленьком ресторане. Завтрак тоже прошел в молчании. Потом Фред сказал:

– У меня дела, я ухожу.

И, выйдя из ресторана, он пошел по направлению к Большим бульварам.

Его всё время занимала одна и та же мысль: почему Лазарис сказал ему сегодня утром эти слова и что они значали. Фред привык считаться только со своим собственным мнением, и то, что говорили и думали другие, его не интересовало. Но его уже несколько лет, с тех пор как началась его сознательная жизнь, преследовало давно знакомое чувство непонятной неудовлетворенности. Жинетта говорила подругам, пожимая плечами:

– Вы же знаете, он никогда не бывает доволен.

Это было чрезвычайно странное ощущение, нечто вроде душевной жажды. Он привык быть окруженным людьми, которые были готовы воспользоваться первой его минутой невнимания или слабости, чтобы занять его место и захватить то, что ему принадлежало. Его могла ждать судьба жилистого калеки или Одетт. Для того, чтобы этого не случилось, нужно было быть сильнее других. Это было несомненно и ясно, он именно так и поступал, никто не сомневался, что он был готов во всех обстоятельствах к мгновенной защите или нападению, – он доказал это много раз, – и что кроме того, ему было действительно неизвестно чувство страха. Это было достаточно, чтобы его теперешнему положению не угрожала немедленная опасность. Но то, чего не знал ни один из его товарищей и в чем он сам себе не признавался, было то, что он не был уверен – стоило ли действительно всё это защищать.

Но он думал сейчас не об этом. У него не выходили из головы загадочные слова Лазариса, и он упорно возвращался к ним – потому что, несколько дней тому назад, проходя по rue Lafayette, он вдруг увидел, что у тротуара остановился автомобиль и из него вышла Жанина в сопровождении человека, который увез её на такси в тот вечер, когда она исчезла. Он остановился в изумлении. Потом он подошел к автомобилю и заглянул внутрь. На маленькой металлической дощечке были выгравированы слова: Роберт Бертье, 71, rue Poussin. Он оглянулся по сторонам: в нескольких шагах от него стоял огромного роста полицейский, равнодушно поигрывая свистком и поглядывая в его сторону. Фред неторопливо пошел дальше. Когда он через несколько минут вернулся к этому месту, автомобиля уже не было.

Он давно терялся в догадках – чем объяснялось её неожиданное исчезновение? Он думал о несчастном случае, об автомобильной катастрофе, отравлении газом. Никто за это время ни разу и нигде не встречал Жанины, и в газетах о ней тоже не было ни слова. Может быть, её увезли в провинцию, может быть, отпра-

вили в Буэнос-Айрес? И вот теперь оказывалось, что она в Париже, с этим самым человеком, собственником автомобиля, которого зовут Роберт Бертье и который живет на rue Poussin. Он посмотрел по плану Парижа, где находится эта улица. Это было совсем близко от скакового поля Auteuil.

Он не питал никаких чувств к Жанине. Его раздражало неизменно печальное выражение её лица, раздражала её постоянная робость. Но она принадлежала ему, и он не мог допустить, чтобы кто-либо захватил то, что ему принадлежало. Он вспомнил с пренебрежительной гримасой заботливое выражение на лице Роберта и то, как он помог Жанине выйти из автомобиля. Теперь, когда он знал, где именно она находится, вопрос об её возвращении должен был быть разрешен немедленно. Он, однако, откладывал и – он сам не мог понять, почему, – свою поездку на rue Poussin со дня на день. И вот, наконец, после того, как он был утром у Лазариса, позавтракав с Жинеттой и сказав, что он уходит по делам, он сел в метро и поехал на Porte d'Auteuil. Перед этим он еще раз пощупал в кармане пиджака свой браунинг. Он не думал, что ему придется прибегнуть к угрозе оружием, но был готов на всё, – как всегда.

* * *

Роберт ехал к отцу хорошо знакомой дорогой, по улицам, где он знал каждый дом и каждый угол, но он, конечно, не мог бы сказать, почему именно он поворачивал там, а не здесь, и почему в известных местах он начинал тормозить. Он делал это совершенно автоматически. Он не мог сколько-нибудь ясно подумать о том, что привело его в это почти сомнамбулическое состояние. Он только повторял про себя имя Жанины, и это звуковое соединение было единственной вещью, сохранившей для него какое-то реальное – и трагическое – значение. Но он не сделал ни одной ошибки, ни одного неверного поворота, ни одного лишнего движения и остановил автомобиль именно там, где было нужно.

Он вошел в кабинет отца, забыв постучаться. Андрэ Бертье посмотрел на него с сочувствием и сказал:

– Здравствуй, Роберт.

– Извини меня, папа, – сказал он. – Я совершенно потерял голову.

– Ну, ну, успокойся. Я надеюсь, что всё устроится.

– Что? – спросил Роберт, не понимая.

– Я говорю, что мы её найдем.. Но расскажи мне, как всё произошло.

– Я вернулся домой...

– Значит, ты уходил?

– Я уехал утром в Латинский квартал, чтобы купить несколько книг.

То, что отец разговаривал так спокойно, невольно подей-

ствовало на Роберта. Он понимал, что Андре Бертье не мог равнодушно отнестись к тому, что его сын считал катастрофой, и если он был так спокоен, то, стало быть, для этого у него были какие-то основания. Роберт не думал именно так; но он это чувствовал.

– И когда ты вернулся...

– Её не было, она оставила записку.

– Что она написала?

Роберт помнил каждое слово, как он помнил наивный прямой почерк Жанины.

– В котором часу это было?

– Я вернулся около одиннадцати.

– А в котором часу ты вышел из дому?

– В девять.

Бертье повернул быстрым движением левую руку: часы показывали двадцать пять минут двенадцатого.

– Когда ты уходил, она была одета?

– Да, мы выпили кофе.

Бертье опять посмотрел на часы, и в это время раздался телефонный звонок. Он неторопливо снял трубку и сказал, ничего не спрашивая и как будто ни к кому не обращаясь:

– Я занят.

И повесил трубку.

– Надо полагать, что она ушла от половины десятого до десяти.

Он смотрел прямо перед собой задумчивыми глазами.

– Если бы я знал, где она сейчас! – сказал Роберт с отчаянием.

Андрэ Бертье утвердительно кивнул головой. Потом он опять прямо посмотрел перед собой и сказал:

– Я надеюсь это узнать с минуты на минуту.

– Что? – с невольным недоверием в голосе спросил Роберт. – Узнать? Каким образом?

– За ней следят, – сказал Бертье, откидываясь назад в своем вращающемся кресле. – Начиная с того дня, что я у тебя обедал, против твоего дома от девяти утра до восьми вечера дежурит человек, который должен был последовать за Жаниной, если бы она вышла из дому одна. Ты не заметил его? Это высокий мужчина в коричневой шляпе и непромокаемом плаще.

– Но как тебе пришла в голову эта мысль?

– Милый мой, ты же говорил мне, что боишься её ухода. С моей стороны было совершенно естественно принять какие-то меры предосторожности, о которых ты, конечно, не мог подумать.

Теперь зазвонил второй телефон, на другом столе, чуть-чуть дальше. Андрэ Бертье протянул руку к трубке, снял её с некоторым усилием – она была далеко – и сказал:

– Алло, я слушаю. Да. Да, да. Хорошо. Не знаю, что именно? Отказывается сказать? Boulevard de la Gare? Поднимитесь немедленно в её комнату. Да. Что хотите. Очень хорошо. Да, да. В край-

нем случае взломайте дверь. Скажите ей, что я прошу её подождать меня несколько минут. Да.

Роберт смотрел на него широко открытыми глазами. Андрэ Бертье поднялся со своего места с юношеской быстротой, сказал сыну – идем! – и выбежал из кабинета. Роберт первый раз в жизни видел, что его отец бежал.

Он помнил, что отец втолкнул его в автомобиль, что тотчас тихо зашумел мотор, и через несколько секунд машина, набирая скорость, неслась по набережным Сены. Бертье говорил:

– Она вышла из дому, села в метро и поехала на Place d'Italie. Оттуда она пошла вниз по Boulevard de la Gare и зашла в аптеку, где что-то купила; аптекарь отказался сообщить, что именно. Затем она вошла в гостиницу немного ниже аптеки и сейчас находится там, под охраной моего агента. Я сказал ему, чтобы он поднялся в её номер и попросил её подождать меня. Я надеюсь, что она не успела ничего предпринять за это время.

– Боже мой! – сказал Роберт.

– Как в романе, – сказал Андрэ Бертье, пожав плечами.

В разных частях города вслед машине несколько раз неслись полицейские свистки, но шофер не замедлял хода.

– Прекрасно правит, – сказал Бертье. – Один из лучших шоферов, которых я знал. А знал я многих.

Автомобиль уже спускался по Boulevard de la Gare. Роберту казалось, что мостовая струится под его колесами, как быстрая каменная река.

– Стоп! – сказал Андрэ Бертье. Он вышел из машины, Роберт, как тень, следовал за ним. Бертье вошел в маленькую контору гостиницы, что-то сказал хозяйке и стал быстро подниматься по лестнице. Затем он остановился у седьмого номера, постучался и открыл дверь. С порога Роберт увидел безумные, как ему тогда показалось, глаза Жанины и прямо против неё профессионально равнодушное лицо высокого человека в непромокаемом плаще. Бертье посмотрел через плечо, обернувшись на сына, и сказал:

– Я вас жду внизу.

Обратно они ехали в такси. Андрэ Бертье укоризненно посмотрел на Жанину и уехал со своим шофером. Тотчас же выяснилось, что Жанина хотела принять гарденал, который ей продали в этой аптеке, потому что очень хорошо её знали: именно там она покупала в течение долгих месяцев все лекарства для своей матери. Но она не успела не только принять его, но даже подумать об этом, потому что в комнату вошел незнакомый человек, который ей сказал, что Андрэ Бертье просит её несколько минут подождать его и что он сейчас будет здесь. Она не могла понять ни появления и присутствия этого равнодушного мужчины, ни того, каким образом её местопребывание стало известно, ни, наконец, необъяснимого вмешательства Андрэ Бертье. На выяснение этих подробностей ушло несколько минут. Она почувствовала себя совершенно

разбитой, и когда они вернулись домой, Роберт уложил её в постель.

Он задернул занавески окна и вышел из комнаты, притворив дверь. Но она знала, что он недалеко. Он, действительно, сидел в кресле почти у её порога и читал книгу, которая ему подвернулась, – и только прочтя целую страницу, заметил, что не помнит отсюда ни одного слова.

Жанина лежала на кровати с закрытыми глазами, и у неё было впечатление, что этим теперешним минутам предшествовало нечто похожее на смерть или исчезновение. Её уход стоил ей необыкновенного напряжения, и сейчас она чувствовала, что у неё не хватило бы сил даже подняться. Всю предыдущую ночь она не спала и, прислушиваясь время от времени к ровному дыханию Роберта, она повторяла себе, что это последний раз и на следующую ночь не будет ни Роберта, ни этой кровати, ни настоящего, ни будущего, и вместо этого наступит, вероятно, холодная тьма. Она думала обо всем, что предшествовало этой последней ночи, – о своем детстве, о деревне, о том, как её преследовало огромное снежное поле и зимние сумерки во сне. Она боялась смерти, которая её ожидала, и когда она думала, что больше никогда не увидит Роберта, у неё каждый раз сжималось горло. Но её решение уйти и покончить с собой было неизменно. Когда она поняла, что у неё, может быть, не хватит мужества это сделать и это окажется невыполнимым, было уже слишком поздно, – так, точно она пропустила ту минуту, в которую еще было можно это остановить. Она знала уже давно, не понимая его, этот странный закон невозможности остановиться, когда было принято очень важное решение и когда вдруг появлялось слишком позднее сознание его явной неправильности. Так было в этом случае: она покидала Роберта и без него её жизнь не имела смысла. Все её душевные силы сопротивлялись этому, но это слепое движение было неуправляемо. Её собственной воли хватило на то, чтобы принять это решение; но чтобы изменить его, нужно было вмешательство какой-то внешней и механической силы. Она ехала как во сне, сидя в вагоне метро; и когда она шла по Boulevard de la Gare, она вдруг поняла, что каждый её шаг приближает ее к смерти. Она отчетливо понимала это, и в то же самое время она знала, что такая простая вещь, как вернуться назад, снова сесть в метро и через некоторое время войти опять в квартиру Роберта, – она знала, что это было невозможно, хотя и не могла бы сказать почему. Между ней и смертью было пустое пространство, которое уменьшалось с каждой секундой, – и в конце этого воздушного коридора она почти физически ощущала присутствие того, что было самым страшным и к чему она так неуправляемо приближалась. Она запомнила навсегда белобрысое лицо приказчика из овощного магазина, который пересыпал помидоры из одной корзины в другую, и гарсона кафе, уносившего с террасы поднос, его слишком короткие черные

брюки над стоптанными башмаками, бедную простоволосую женщину, с трудом катившую по тротуару ручную тележку, нагруженную узлами белья, ее лицо – огромная лиловая мышь на левой щеке и две бородавки на подбородке. Это были люди, мимо которых она проходила, и она успела подумать, что они последние, которых ей суждено видеть в ее жизни. Она почти не слышала голоса толстой, пожилой женщины, которой она заплатила за номер гостиницы. И когда она, наконец, легла на кровать, с ощущением нестерпимого холода внутри, вдруг раздался стук в дверь и, не дожидаясь ее ответа, в комнату поспешно вошел этот человек в плаще, который ей сказал, что Андрэ Бертье сейчас придет и просит ее подождать его несколько минут. И тогда тот мир, который секунду тому назад уходил от нее в этом слепом и безвозвратном, казалось бы, движении, – простоволосая женщина с тележкой, гарсон кафе, приказчик, метро, Роберт, – этот мир вдруг вновь возник перед ней таким, каким он был до вчерашней ночи, когда она приняла свое решение. Теперь это движение было остановлено необъяснимым появлением этого незнакомого человека, который заслонил собой ее смерть. Она быстро посмотрела на него: у него было не очень хорошо выбритое лицо, потертый воротник плаща, мягкая шляпа, серый, полинявший галстук. Он сохранял выражение профессиональной вежливости, – такое выражение могло бы быть у швейцара, шофера, контролера на железной дороге. Выцветшие его глаза смотрели мимо Жанины, и он, конечно, меньше всего мог бы думать, что его присутствие здесь имело важное значение в жизни нескольких людей, судьба которых его интересовала только в той мере, в какой была связана с его служебным вознаграждением.

Жанина вспомнила сейчас его лицо, вздрогнула, зажмурилась и снова открыла глаза. В комнате было темно и тихо.

– Роберт! – сказала она негромко.

В просвете двери тотчас показалась его фигура.

– Я очень устала, – сказала она. – Ты простишь меня за всё, что я сделала?

И когда он нагнулся над ней, она обняла его шею руками и поцеловала его. Потом руки ее разжались и голова упала на подушку. Через несколько секунд она уже спала. Он вздохнул и вышел из комнаты. Он снова сел в кресло, закинул руки за голову, вытянул ноги и подумал, что только теперь понимает, что значит для него присутствие Жанины. Это было неверно: он понял уже давно. Но ему было приятно так думать.

* * *

Несколько позже Роберт с удивлением вспоминал, что после возвращения Жанины все вопросы казались разрешенными и, в частности, та угроза появления Фреда и опасность, связанная с ней,

которая заставила ее решиться на уход и самоубийство. Это было результатом странного психологического заблуждения, так как Фред продолжал существовать где-то в окрестностях rue St. Denis и в этом смысле возвращение Жанины ничего не изменило. Но и Роберт и Жанина одновременно перестали думать об этом. Ни с его, ни с ее стороны это не определялось никаким расчетом, – это вышло само собой. И в этом состояла ошибка Роберта – потому что через три дня после его поездки с Жаниной в магазин на rue Lafayette около одиннадцати часов утра раздался звонок, и когда Роберт отворил дверь, перед ним стоял Фред.

Роберт сразу узнал его по сдвинутой набок шляпе и покатым плечам; таким он запомнился ему в тот вечер, когда он увидел его позади Жанины, на rue St. Denis. Он почувствовал холодное томление, когда Фред молча посмотрел на него своими неподвижными глазами и успел подумать, что в этом человеке было действительно что-то, внушавшее страх всем, кто с ним сталкивался.

Он отступил на шаг, и Фред вошел вслед за ним, захлопнув за собой дверь. Он не снял шляпы и не вынул рук из карманов. Потом он коротко сказал с вопросительной интонацией:

– Ну?

Роберт молчал. Он боялся, что Жанина вдруг войдет в комнату. Но она, к счастью, не появлялась. За эти несколько секунд он успел подумать о многом и, в частности, о том, что убедить в чем бы то ни было Фреда нельзя и что он, Роберт, впервые поставлен перед необходимостью защищать свою жизнь. При этой мысли он испытывал почти что ужас. Но в отличие от других людей, с которыми Фреду приходилось иметь дело до сих пор, то, что сейчас чувствовал Роберт, объяснялось не физической трусостью, а другими, почти отвлеченными причинами. Фред не мог этого понять, тем более, что нерешительное поведение Роберта внешне было таким же, как поведение других, которых он знал и к которым он всегда чувствовал презрение.

– Ну? – повторил он. – Пусть она выходит. Я ее беру с собой. Она у меня узнает, что значит убежать от Фреда.

И тогда Роберт произнес свои первые слова за всё это время. Голос его звучал неуверенно.

– Я думаю, что это невозможно, – сказал он.

– Что?

– Я думаю, что это невозможно, – повторил Роберт. Его голос стал немного тверже.

– Значит, ты меня плохо знаешь, – сказал Фред. – Я всегда добиваюсь своей цели. Тебе Жанина не говорила об этом?

– Нет, – сказал Роберт. – Но надо полагать, что цели у тебя очень скромные.

– Почему?

– Если ты всегда добиваешься всего, что хочешь, и если в результате этого ты только бедный сутенер...

Роберт не мог угадать, что хотел сделать Фред, когда он рванулся к нему в следующую секунду. Но он знал, что эта секунда решает всё, и до того, как движение Фреда успело принять какую-либо форму, он ударил его кулаком в подбородок. Фред тяжело рухнул на пол. С порога комнаты раздался короткий крик. Роберт обернулся и увидел бледное лицо Жанины с расширенными глазами.

– Разговор кончен, Жанина, – сказал он. – Возьми, пожалуйста, в правом ящике моего стола шнурки для занавесок, которые мы на днях купили, и принеси мне.

Он опустился на колени и обыскал Фреда. В правом кармане его пиджака он нашел браунинг, который вынул и положил на стол. Затем он туго связал шнурком руки Фреда, заложив их за спину. Потом он легко поднял его, внес в ванную и подставил его голову под кран с холодной водой. Через некоторое время Фред открыл глаза. Роберт, держа его за воротник пиджака, – ноги Фреда волочились по полу, – дотащил его до следующей комнаты и посадил в кресло. После этого Роберт подошел к телефону и позвонил в полицейский комиссариат.

Фред мутно смотрел на него. В голове его стоял гул, он не понимал, что произошло и что происходит теперь. Он слышал точно издали голос Роберта и не понимал значения его слов. Он делал страшные усилия, чтобы вернуть себя к действительности, но это ему не удавалось. Ему вдруг начинало казаться, что он проваливается в мягкую и холодную яму; потом перед ним появлялась неясная фигура человека, находившегося в этой же комнате, и он не мог вспомнить, где он уже его видел и почему он здесь. Затем ему стало казаться, что где-то между его глазами и затылком струится ледяная вода, причиняющая ему нестерпимую боль. Он закрыл глаза и опять потерял сознание.

С улицы донесся приближающийся звук автомобильной полицейской сирены. Через несколько секунд раздался звонок и вошел инспектор в сопровождении двух полицейских. Он вежливо снял шляпу и поздоровался с Робертом, пожав ему руку. Роберт объяснил, что подвергся нападению неизвестного субъекта, в кармане которого был револьвер. Он взял со стола браунинг и передал его инспектору. Инспектор подошел к креслу, поднял пальцем подбородок Фреда, голова которого после этого снова упала на грудь, и сказал:

– Господин Бертъе, я думаю, – он улыбнулся, – что если тут кому-нибудь угрожала опасность, то это скорее ему, – он посмотрел на Фреда, – чем вам. Поздравляю.

– Я боюсь, что плохо рассчитал удар, – сказал Роберт. – К сожалению, у меня не было для этого времени.

– Если бы вы действовали иначе, – сказал инспектор, – то это могло для вас скверно кончиться. Вы, без сомнения, занимались боксом?

– Да, немного, – сказал Роберт, пожав плечами.

Потом полицейские вынесли Фреда, – один взял его под мышки, другой поддерживал ноги. Из окна Роберт видел, как они положили его на заднюю скамейку машин; затем опять завывала сирена и они уехали. Жанина стояла рядом с Робертом и смотрела на автомобиль, пока он не завернул за угол. Она подумала, что еще несколько минут тому назад от этого человека, голова которого так беспомощно и страшно свисала вниз и тело которого только что небрежно волокли полицейские, зависела её жизнь. Она повернула голову и взглянула на Роберта. Лицо его было спокойно, и в глазах стояло далекое выражение, которое она запомнила с того вечера, когда впервые увидела его.

Когда на следующее утро Роберт позвонил в комиссариат и назвал себя, голос вчерашнего инспектора ответил ему, что Фред лежит в тюремной больнице и врач отказывается от окончательного диагноза: возможно, кровоизлияние в мозг, возможно, что-нибудь другое. – Вероятнее всего, он всё-таки выживет, – сказал инспектор. Он прибавил тут же, что его, Роберта, беспокоить не будут понапрасну. – *C'est un repris de justice* – сказал он, – и вдобавок профессиональный сутенер. Мы никогда не позволили бы себе надоедать вам по этому поводу.

– Дело в том, – сказал Роберт, – что я собираюсь уезжать на днях, но если бы мое присутствие было необходимо...

– Нет, нет, господин Бертъе, – сказал инспектор. – Разрешите вам пожелать приятного путешествия.

– Ты уезжаешь? – спросила Жанина, стоявшая рядом.

– Мы уезжаем, – сказал он, улыбнувшись. – Разве ты забыла, что я говорил тебе об этом?

Весь день он укладывал вещи и возился в гараже с автомобилем. На следующее утро он рано разбудил Жанину и сказал ей, что надо торопиться, так как предстоит длительное путешествие. В восемь часов утра они выехали из дому. Они завтракали в дороге, в лесу, ужинали в каком-то маленьком местечке, названия которого она не запомнила, и там же провели ночь, в комнате с низким потолком и огромной двуспальной кроватью. Было около четырех часов дня, когда Роберт остановил автомобиль перед невысокими железными воротами, за которыми был парк. В глубине парка был виден дом того желтовато-красного цвета, который был характерен для Прованса. Вокруг был лес – сосны, дубы, эвкалипты, вперемежку с густым кустарником. Кричали цикады, пахло раскаленными стволами деревьев, солнце высоко стояло в синем, безоблачном небе. Роберт позвонил, через некоторое время пожилой человек в берете отворил ворота, почтительно поздоровавшись с Робертом, и автомобиль въехал в парк.

– Это называется „Ласточка“, – сказал Роберт. – Мой отец купил это имение много лет тому назад, в день рождения моей матери. Но он не знал тогда, что она не переносит жары.

Потом он улыбнулся и прибавил вполголоса:

– Впрочем, на свете вообще мало вещей, которые она переносит.

На несколько километров вокруг не было ни домов, ни людей, – только деревья да тугая, зеленая листва кустарника, с лысынами красноватой земли, с какими-то маленькими зверьками, которые убегали так быстро, что их нельзя было рассмотреть, и за которыми охотился огромный черный пес, стороживший имение, со странным человеческим именем Онезим. Провизия покупалась в деревне, отстоявшей от имения в двух километрах, куда Луи, сторож, ездил на поскрипывающем велосипеде с педалями разной длины. Недалеко от входа в парк проходила желтовато-красная дорога, усыпанная мелкими камнями, которые трещали под автомобильными шинами. Она шла круглыми изгибами вниз, среди деревьев и кустарника, потом пересекала большую дорогу и обрывалась над бурными скалами, которые расступались; и там, где они расступались, было несколько сосен и желтый песок, а за соснами и песком – море.

Днем Роберт и Жанина купались; под вечер, когда спадала жара, они гуляли по лесу, почти никого не встречая. Их неизменно сопровождал Онезим. Они шли по мягкой дороге, среди высоких деревьев, и он говорил ей о том, что он считал необходимым знать и чего она не знала. Впервые в жизни, – он замечал вообще, что все, происходящее с ним теперь, было всегда впервые и этим, как он думал, он был обязан её присутствию, – его знания нашли себе практическое применение. Дома он диктовал ей целые страницы, которые она послушно писала, объяснял ей, почему одни слова надо произносить так, а другие иначе, почему следует употреблять эти выражения, а не те. Потом она читала ему вслух, и он терпеливо поправлял её ошибки. Она обладала способностью быстро усваивать, по крайней мере внешне, всё, что она слышала, и он с удовольствием замечал, что она постепенно теряет ту манеру говорить, которая была для неё характерна вначале и по которой можно было безошибочно определить её социальное положение.

Вещи и понятия, которые Роберт объяснял Жанине, приобретали для него значение, какого раньше не имели. Он настолько привык полагать, что всякое определение неточно, всякое утверждение может оказаться в некоторых случаях необоснованным, всякая истина относительной, что вся сумма его знаний представлялась ему чем-то не особенно ценным. Рассказывая о самых разных вещах Жанине, он думал о той совокупности понятий, которая определялась словом „культура“: это было то, чего нельзя было не знать. Миллионы и миллионы людей были чужды этим понятиям и этой культуре. И в том, что её можно было передать женщине, которую он любил, он находил удовлетворение, какого не знал раньше, – ни тогда, когда ему казалось, что он приближается к пониманию далекой истины, найденной много лет тому назад умершим философом, ни тогда, когда ему удавалось построить более или менее гармоничную теорию в той или иной области.

Но самое важное, то, в чем главная роль принадлежала Жанине, – хотя он и не отдавал себе в этом отчета, и чем объяснялась для него невозможность представить теперь себе существование вне её присутствия, это были их любовные отношения. Она нигде не могла бы научиться этому, это было заложено в неё природой. Когда Роберт пытался это понять, ему казалось, что даже тело Жанины, которое он так хорошо знал, заключало в себе – в том или ином повороте бедер, в движении плеч – возможности, каких он до сих пор не мог себе представить. У него было впечатление, что каждый раз она уступает ему не так, как это было вчера или третьего дня, хотя на самом деле это никогда не было уступкой с её стороны, а вызывалось именно и её желанием. То, как в её положении вела себя Жоржетта, его раздражало и утомляло, – то самое, что теперь казалось ему совершенно иным и бесконечно лучшим. Жоржетта была чувственной девчонкой, как он её определял, когда она засыпала рядом с ним, а он еще не спал. О Жанине он никогда так не думал, и ему не приходила в голову мысль, что её чувственность была несравненно длительней и глубже, чем бурные и быстрые реакции Жоржетты. Но он твердо знал, что теперь перед ним возник целый мир такой эмоциональной глубины, о которой он раньше не подозревал вообще вне Жанины и того, как она уступала ему.

И лишь изредка он вдруг испытывал приступы прозрачной печали – именно от того, что всё было так замечательно. Он думал тогда, что между всем тем трагическим и отрицательным, к чему сводились его представления о мире и о человеческой жизни, и тем, что он испытывал теперь, было расстояние, которое, казалось бы, должно было исчезнуть и которое не укладывалось ни в какую теорию. Он думал еще, что всё, происходившее в его жизни до появления Жанины, было очень давно и совершенно незначительно. То, ради чего стоило жить, возникло именно тогда, в тот вечер, когда он не досмотрел фильма в кинематографе и в случайной своей прогулке свернул с больших бульваров на узкую улицу, спускавшуюся к Сене и проходившую через один из самых мрачных кварталов Парижа.

Проходило лето, уже раньше начинало темнеть, но стояла всё та же сухая жара и море было таким же теплым. Они продолжали жить, ни о чем не думая и не заботясь. И он сказал как-то, разговаривая с Жаниной, что деньги, ценность которых он никогда не был склонен преувеличивать, имеют всё-таки свою хорошую сторону – потому что ему не нужно возвращаться к определенному сроку, ни спешить куда бы то ни было, и что в этом есть известная приятность, которая до сих пор от него ускользала. Он посмотрел на календарь: было восемнадцатое сентября. Но этот день отличался от других, как ему казалось, только тем, что Жанина была по-иному ближе ему, чем накануне, или два дня, или две недели тому назад.

„Подвиг“ – так называлась статья **Владислава Ходасевича** о молодой русской литературе в изгнании (Ходасевич В. Литературные статьи и воспоминания. Нью-Йорк, 1954.):

„Молодежь наша не только не может жить литературным трудом (это становится трудно даже и для старшего поколения), но и попросту не имеет никакого литературного заработка. Она вынуждена писать урывками, в часы, после одуряющей службы в конторе, на заводе, после сидения за рулем, после изнурительного физического труда. Она живет в полунищете...

Если эти ростки будущей русской литературы вынесут, вытерпят, не погибнут до наступления лучших времен – это будет чудо. ...Культура не живет ни в холодильниках, ни в бездейственных воспоминаниях – она в них умирает. Хранят культуру не те, которые вздыхают о прошлом, а те, кто работает для настоящего и будущего“.

Можно себе вообразить, какая это была бы сенсация, пояись газдановские „Пилигримы“ в советском журнале в пятьдесят третьем году, когда роман и был написан. Да и позже, в шестидесятые, когда у нас зачитывались Ремарком, почитая его европейской вершиной...

Эти времена миновали. Редакция, тем не менее, публикует роман. Не имея ввиду сенсаций, не преследуя археологической цели потеснить Ремарка и даже не ради „восстановления исторической справедливости“.

Мы печатаем роман, чтобы в меру сил сократить разрыв между нами и русской литературой.

Газданов – часть этой литературы, годовое кольцо ее ствола. Он все еще не прочитан соотечественниками: сборник газдановской прозы, вышедший полтора года назад в Москве, прошел незамеченным.

Не потому, что сегодня мы предпочитаем газеты – газеты предпочитает тот, кто их всегда предпочитал. Не потому также, что нечего есть, вследствие чего люди перестали интересоваться литературой: это соображение Редакция высокомерно отвергает.

– Разве сытость – обязательный фон интереса к литературе? Да с чего Вы это взяли? – вопрошает Редакция.

А дело в том, так кажется Редакции, что писательское имя входит в круг широкого чтения через периодику, через

журнал – такова наша литературная традиция. Журнал как бы прокладывает пути сообщения, рельсы, по которым идет литературный состав.

Говорят, у нас кончились рельсы.

Потеряв рельсы, вместе с ними – лицо, но озабоченные проблемой выжить, наши толстые „литературно-художественные и общественно-политические“ журналы застались между „Лав стори“, политологом Нуйкиным и Артемом Веселым... До Газданова ли тут, до неспешного ли чтения...

Первую попытку вернуть произведения Гайто Газданова на родину в те еще годы предприняли его земляки – осетинские литературоведы. Прежде всего Аза Асламурзаевна Хадарцева.

История эта в определенной степени отражает литературоведческие нравы тридцатилетней давности и заслуживает того, чтобы быть здесь хотя бы обозначенной: в личном архиве известного во Владикавказе доктора Дзыбына Газданова нашли письмо Горького к Гайто Газданову. Это была значительная находка, поэтому местное начальство отправило горьковский автограф умным людям в Москву, в Институт мировой литературы. Но предварительно показало его Азе Асламурзаевне – она тогда заведовала литературным отделом Северо-Осетинского НИИ.

Что касается ИМЛИ, то осетинская находка пролежала там до семьдесят девятого года, пока его не использовал для своей публикации столичный доктор искусствоведения И. Зильберштейн. Это была публикация в „Литгазете“. О Горьком, естественно, не о Газданове. Тем дело в Москве и кончилось.

Что же касается Азы Асламурзаевны, то поинтересовавшись, нет ли в ИМЛИ еще чего-нибудь о Газданове, она на свой страх и риск, не питая иллюзий относительно возможных публикаций, восстановила историю семьи Газдановых, разыскала еще не оборванные связи и вступила с писателем-изгнанником в переписку, что требовало тогда от корреспондентки из Осетии определенной отваги.

Хадарцева стала первым серьезным исследователем творчества Гайто Газданова. Впервые проза Газданова, как только это стало возможным, была напечатана в журнале „Литературная Осетия“ (тираж – 1 тысяча экземпляров).

Это был роман „Призрак Александра Вольфа“. Очень хороший роман. С точки зрения Редакции он значительно

сильнее „Пилигримов“. Вообще, у Гайто Газданова очень много просто первоклассной русской прозы.

В связи с настоящей публикацией в „Других берегах“ Редакция пересеклась с Азой Асламурзаевной Хадарцевой и была очарована: Аза Асламурзаевна Хадарцева вела беседу с благородством и вкусом настоящей кавказской дамы. Тот из читателей, кто знает Кавказ не только по среднерусским рынкам, поймет о чем идет речь.

Гайто Газданов. „Великий музыкант“. 1931 год:

„...все что было непосредственно прекрасного в моей жизни, уже кончилось, и позади остались горы с белыми вершинами и сверкающая, далекая, темно-зеленая листва деревьев, растущих в глубоких кавказских расщелинах и оврагах, синие и розовые лучи на вечернем, свежем снегу и пустынный запах водорослей, прибываемых морем к песчаному берегу...“

(Продолжение.) Когда Фред пришел в себя, он увидел, что лежит на кровати, в большой комнате, стены которой были выкрашены белой масляной краской. Через отворенное окно пахло летним днем. Он не знал, сколько времени он находится здесь, и ему понадобилось необыкновенное усилие памяти, чтобы понять, как он сюда попал. Первое, что он вспомнил, было лицо Лазариса; потом завтрак с Жанеттой; потом метро... Роберт Бертъе! Фред дернулся на постели и сразу почувствовал, что очень ослабел. В эту минуту вошел пожилой человек в белом халате, за которым следовало двое молодых. Он подошел к Фреду и резко поднял его подбородок своей прохладной и необыкновенно чистой рукой. Затем он посмотрел в его глаза равнодушным взглядом и сказал, обращаясь к одному из спутников:

– Скоро его можно выставить, все кончено.

– Послушайте, вы... – начал Фред. Но второй молодой человек холодно сказал ему:

– Заткни глотку.

И все трое пошли дальше. Фред хорошо знал этот тон и эти интонации; так разговаривали с ним в полицию. Этот голос объяснил ему то, чего не хватало в его представлениях: было очевидно, что он находился в тюремной больнице. Он вспомнил ощущение холодной воды, которую ему лили на голову: но где это было, и кто это делал? *(Окончание в следующем номере.)*

**Антонио Пиццүто -
итальянский Джойс**

**Джанфранко Контини, ведущий литературный критик
Италии:**

"В Риме 23 ноября умер писатель Антонио Пиццүто... Мы потеряли первого из наших великих "молодых писателей" [1].

...Он казался старшим братом "нового авангарда". Но непрочные узы этого поверхностного родства очень скоро были разорваны Пиццүто. Он продолжал развиваться, абсолютно самобытно, вплоть до самых последних своих строк, которые писал смертельно больным.

О последних его изданных книгах можно сказать, что они как бы еще и не изданы, не дошли до нас, не прочитаны нами: это трудно - дышать разреженным воздухом его вершин, трудно следить за головокружительными восхождениями этого итальянского Джойса.

Писателю Пиццүто будущее еще предстоит, его слава еще его ожидает.

Но сегодня, когда он уже мертв, я думаю об этом скромном человеке, чуждавшемся литературной братии, о духе, слишком аскетичном, чтобы быть понятным мещанскому уму.

Пиццүто любил жизнь, был щедр и в любви, и в дружбе, и когда смеялся, и когда плакал.

Он был мне другом..."

"Кусок плотной бумаги, всего-то; прозаический почтовый конверт 12 на 16 сантиметров содержал известие, заполнившее его с неотвратимостью прилива. Это не была уже просто конторская отметка на деловой бумаге, запись чиновника, выполненная с безупречностью Клее или идеограммы Тянь, - это был контракт с самим Альберто Мондадори [2] (- Семь тысяч экземпляров книги, полтонны бумаги размером с хороший холодильник, - ликовал он). Он рассказывал об этом с восторгом ребенка, не привыкшего к подаркам, но тут же утратил интерес, остыл: "Мерси за весточку, которая так порадовала меня в минуту глубокого и беспричинного уныния..." - Сообщив таким образом нашей весьма парижской критике свое весьма сицилианское "мерси", он вслед за тем и сам предстал перед нами старинным сицилианским аристократом, "Caro illustre maestro", таким же чопорным, как "Exzellenz" Гельдерлина, которым тот имел обыкновение в конце жизни ограждать себя от назойливых почитателей..."

Этот текст Контардо Каллигари [3], в той же мере художественный, что и психоаналитический, я бы сказала - чисто лакановский, был опубликован в "Критике" ровно за шесть месяцев до смерти Пиццутто и положил начало его литературной жизни во Франции. Собственно говоря, второй его жизни после той, которая наступила для него в 1964 году благодаря усилиям Мишеля Бютора. Тогда это было молчаливое с оттенком растерянности признание. Оторопь перед феноменом Антонио Пиццутто охватила англичан в меньшей степени, нежели немцев и итальянцев (исключая, конечно, Контини и некоторых других). Говорить же о Пиццутто заставил именно Каллигари. И толки о нем не утихнут еще долго: "О, этот бывший полицейский префект!" (Точно так же, как в свое время о Прусте: "Ах, да, этот сын санитарного врача..." Или о По: "Вот если бы он сумел как-то упорядочить свой гений, употребить его к месту и времени, он мог бы стать вполне "a making money autor" [коммерческий, кассовый автор (англ.)])."

Покой его лица, словно уже приподнятого к пульсирующему темени мироздания, к родничку, через который, как кое-кто полагает, жизнь к нам приходит и через него же она вновь отправляется в путь, этот высокий покой был разрушен в считанные дни: "отлучение от груди" было как шок...

Мадлен Санчи. Портрет Антонио Пиццутто
 Глава из книги Madeleine Sanchi. Portrait d'Antonio Pizzuto.
 Edit. L'Age d'Homme, Lausanne, 1986

...он метался в агонии на протяжении целой недели. И все же сумел при этом завершить свою последнюю книгу с горьким и пророческим названием "Spegnerе le caldaie" [Гасить огни] и успел надиктовать следующий "Автодиктант":

"Я категорически настаиваю - все написанное мной, есть единый текст. Точнее, это непрерывное и последовательное продвижение, требующее всей энергии и энтузиазма. Каждая часть есть целостность, а целое есть часть. Только в таком понимании мой труд имеет конкретный смысл".

Угол зрения

Язык Пиццучо унаследовал от "Деда".

- Дед. Дед - во всем, ему я всем обязан, - говорил он мне, - все свое детство я проторчал в его рабочем кабинете, слушая его разлагольствования.

Необъятный лабиринт дедовского дома в Палермо на "изумительной" площади Кватро Канти, носившей в прежние времена имя одного из пиццучовских пращуров. В этом доме бывали поэты (в том числе Эммануэле Амафорте - друг семьи), ученые, теоретики литературы... Дедушка, один или с друзьями, - вечно в своем кабинете: "...он любил писать фиолетовыми чернилами, добавлял в них щепотку сахара для стойкости и своим великолепным почерком покрывал один за другим листы великолепной папье-министр. Стопка этой бумаги помещалась между курительной трубкой и справочником Томмазо и Беллини, который всегда был под рукой, а не на полке справа, а стена напротив сплошь была скрыта рядами фолиантов в кожаных переплетках.

Иногда, уже под вечер, он перемещал позицию, пересаживался со своего рабочего стула в маленькое кресло. Тогда "Божественная комедия" Полетто, Форчеллини и тома биографического словаря оказывались за его спиной..."

Кому-то детство - колыбель под отчим кровом, лесная опушка, а большой мир - за завесой моря. Для Пиццучо детство - это слово, связь с миром - книга.

Семейство Пиццучо - целое созвездие живописнейших фигур.

Бабка - стареющая дама сильно не в себе, красящая лысеющий череп в аспидно-черный цвет, чтобы скрыть седину, и вечно путающая "лошадь с дышлом", а слугу с барином (- ...Взгляни, как он мил! Как он хлопочет, чтобы услужить нам...) - все это увековечит Пиццучо с отчаянием влюбленного: "Послушай, прикрой-ка дверь, теперь, когда мы одни, давай поговорим. Скажи мне, только правду, можно ли это сравнить - мою бабушку и бабку Пруста? Нет ли

ощущения, будто все, что я об этом написал, - всего лишь десяток страниц из Пруста?"

Стало быть, бабка: запах мускатного ореха и краски для волос... Потом пылкая, вездесущая, в курсе всего на свете мать (- Ты как кукушка, Пофи! Ну-ка, повтори, что ты сказала! Ты как заговоришь - ну, просто Девятая Бетховена... Ну, и глоссандо ты выдала сейчас...) - неспособная и часу посидеть над книгой, она, тем не менее, писала стихи. А Кардуччи посвятил ей поэму.

Затем мифический отец - "дорогой усопший" (- Он умер, я упал к нему на грудь и сжимал в объятиях ночь напролет...); сомнительные сводные братья и сестры; деньги, которые с легкостью возникали и так же легко таяли; переезды с места на место, обставлявшиеся так же или почти так же роскошно, как в "Леопарде" Лампедузо, с кузеном которого он был дружен и которому посвятил свой "Ultime" [*Последнее*], - словом, все обстоятельства, чтобы стать гением...

Он говорил о том, что такое "т р у д п и с а т ь". И это всегда было похоже на краткие передышки в пути на Голгофу или на белые камешки, которыми Мальчик-с-Пальчик метил свой путь в дремучем лесу. Казалось, он старается не дать себе расточиться, оберегает свою обособленность и единственность, сосредоточивается на своей ноше, которая с каждым днем становилась все тяжелее - постоянно вслушиваться и записывать - писать. Он испытывал постоянную потребность соразмериться, зафиксировать ориентиры в большей степени для себя самого, чем для других.

Его работа "Giunte e virgole" [*Изложение и рассказ*] появляется на французском в послесловии к "Si girapono Vambole" [*Реставрация кукол*] и на итальянском в конце "Paginette" [*Странички*]. Есть и другие известные его работы подобного рода, а есть и менее известные тексты и высказывания, которые существенно дополняют его писательский облик. Они мелькали и в дружеских беседах и в письмах к Контини, к Альберто Мондадори... Вот некоторые его соображения, которые возникли в ходе нашей с ним работы:

Из предисловия в "Спящей женщине" Альбино Пьерро:

"Искусство синтетично по самой своей природе - форма тождественна содержанию. Оно, словно некая завершенная молекулярная структура, зарождается шаг в шаг, ритм в ритм, от ракурса к ракурсу, от поля к другому полю - пока не достигнет полноты и завершенности, не синтезируется в однородную, не поддающуюся разъятию природу, породу эстетического высказывания".

Из предисловия к "Движению" Мадлен Санчи:

1. В меру отпущенных ему сил автор должен быть не бесстрастным информатором, но свидетелем.

2. Совершенствуясь, мы шагнули от текста к контексту, от соседства, перечисления идей - к коллажу, от прямого изложения - к хоральному созвучию тем, от реализма, более или менее онтологического, - к чистому эстетическому выражению, то есть доопытному, доэмпирическому.

3. Доминантой письма является всегда поиск стиля - когда лексика, синтаксис и ритм равноценны.

4. Простота не есть приблизительность, не есть способность методически отсекаать детали. Иногда наоборот, стоит опустить фантазию - она создаст пространство для конкретности невыразимого.

5. Я не могу относиться всерьез к утверждению, что искусство есть соединение формы и содержания. Оно есть единая сущность, нерасчленимая субстанция.

6. Факт, до конца проанализированный, - уже абстракция.

7. Любое пластическое, то есть метафорическое определение образно по своему существу и имеет то преимущество, что обращено к воображению.

И, наконец, несколько уже не принципов или постулатов, а, скорее, советов. Отечественских. Они обращены к дочери Марии (тоже литератору, поэтессе).

Мария рассказывала мне, насколько серьезно Пиццутто читал ее тексты, которые она не без трепета ему показывала: он никогда не навязывал своих мнений, проявлял много такта, ограничивался лишь изложением сути дела.

Советы Марии:

1. От конкретного изображения двигайся к обобщению, к отвлеченной мысли, не навязывая при этом читателю своего интеллектуального диктата.

2. Варьируй синтаксическую конструкцию - это всегда обогащает текст.

3. Избавляйся от общих мест, от манерности.

4. Умей делать необходимое излишним, а излишнее - необходимым.

5. Не злоупотребляй многосложными словами.

6. Умей выбрать в словаре слово и выражение, но прежде подумай, стоит ли оно того, чтобы его эксгумировали только потому, что оно необычно.

7. Учись искусству экономить языковые средства.

8. Искусство есть единая сущность: уловить образ, пусть даже и великолепный, недостаточно - нужно воплотить его так, как он того заслуживает. Сама по себе красивая экспрессия не удовлетворяет, если лишена сути.

9. Сдерживай руку.

10. Сто раз перечитай страницу. Это помогает избавиться от штампов и вскрыть самобытность.

11. Максимально варьируй метрический и лексический ритм.

12. Не повторяйся. Идеально было бы использовать слово только однажды, как женщине - менять платье каждый раз, что, увы, не всегда возможно.

Итак, Швейцария... Женева, где он когда-то работал, - как недавно это, в сущности, было...

Преследуемый образом Жан-Жака, он совершал долгие прогулки - уже и город исчезал из виду - он возвращался, думая, что следует течению Роны, но это был уже Авр и он удалялся все дальше и дальше... Женева, берег озера, которое называют то Женевским, то озером Леман - водяные кулики на озерном зеркале, движения птичьих головок напоминают девочек-гимнасток на ковре...

Женева - город Кальвина, где Пиццутто вместе с коллегой из Лиги Наций исходил как-то все магазины в поисках настоящих швейцарских часов для кухни, которые он вознамерился отправить в подарок своей жене в Рим. А когда эти часы были, наконец, торжественно куплены и отправлены, выяснилось, что они как раз итальянского производства...

Женева - город международных организаций... Пиццутто работал здесь в качестве вице-президента Международной комиссии криминальной полиции (- Ох, уж эти русские шпионы! Какие люди! Какие умы!...).

"Изложить - это не значит рассказать, - пишет Пиццутто, - персонаж, событие, движение души - все мертвеет в изложении. Персонаж в изложении - факт, документ, свидетельство. В рассказе - живой свидетель".

Свидетели, стало быть, и Авр, и Рона, служба, дела, разъезды, беседы за круглыми столами и за овальными, фальшивомонетчики - эти гении, чересчур расплодившиеся, ну, и деньги, о которых мы все прекрасно знаем, что это "грязь под ногами", но без которых не прожить... И Св. Павел. И Св. Фома Аквинский - самый великий из всех...

"Труд писать"

Говорят, чтобы погрузиться под воду, нужно сначала сделать глубокий вдох, а потом, по мере погружения, понемногу выдыхать, стараясь при этом не поддаться страху... Говорят также о чувстве необыкновенной свободы, которое испытывает ныряльщик, стоит ему только преодолеть боязнь. Ты погружаешься под аккомпанемент воздуха, уходящего из маски, - единственный признак жизни: поначалу здесь ничего не различишь. Потом постепенно прорисовывается здешний мир - косяки мелких рыбок, блуждающие рыбины, растение,

осьминог - невероятный пейзаж, возвращающий нас нашему уединению...

Так же и читать Пиццуту. Погружение. Высвобождение в магне утробной тьмы - нечто похожее испытываешь, принимаясь впервые за прустовское "В поисках утраченного времени": вдох, выдох... погружение в текст - не ведать, не бояться, все принять, бесстрастно примирившись со всеми, кто не приемлет теюя...

...Подсказанные нашим сознанием, расхожие слова из контекста будничных дней, месяцев, целой жизни (о каких-либо дневниках, записных книжках Пиццуту мне никогда не приходилось слышать), - среди этих обескровленных слов - два, особенно предательских и неточных, может быть окончательно потерянных. "Эти два слова - "сердце" и "смерть", - говорил Пиццуту, - их следует вовсе исключить из словаря".

Слова стремятся вернуть свое законное место, играть предназначенную им роль, они словно говорят "мы хотим жить", как говорил Отец в "Шестерых персонажах в поисках автора" - создании еще одного сицилианца, Пиранделло, которым так восхищался Пиццуту и так был горд, подписав свой первый контракт с тем же издателем и на тех же условиях, что и его великий земляк.

Слова не манерные, а точные, наполненные энергией, культурой и чувством. Он любил существительные без артикля, глаголы несовершенного вида, редко пользовался периодом. Он переводил жизнь, то есть ничто, в текст, который - все...

Слова перемещаются подобно тяжелой лаве, тесня друг друга и сцепляясь, как камни старинной кладки. И их движение напоминает вам о главном смысле: жизнь есть смерть, а смерть - жизнь...

Антонио Пиццуту.

Родился в Палермо 14.5.1893 в старинном аристократическом сицилианском семействе с давними литературными и филологическими традициями.

В юности изучал право, экономику, философию. Написал ряд работ по этим дисциплинам. Известен также его прекрасный перевод кантовской "Метафизики нравов".

Мадлен Санчи.

Писательница, теоретик литературы, журналист. Автор ряда книг. Среди них: "Путешествие с Мишелем Бютором", "Портрет Антонио Пиццуту", "Движение".

Именно Мадлен Санчи сделала доступными для франкоязычного читателя произведения таких мастеров, как Альбино Пьерро и Грация Деледда.

Литературой был увлечен с очень раннего возраста, читал в подлинниках и переводил античных авторов.

Впервые опубликовался в девятнадцать лет, последнюю книгу дописывал едва ли не в свои последние дни и часы.

На протяжении жизни совмещал занятия литературой со службой в правоохранительных органах, дослужившись, между прочим, до чина вице-президента Международной комиссии криминальной полиции.

Автор ряда романов, а также прозы, не поддающейся четкому жанровому определению. Бесспорно представляя собой значительное явление интеллектуалистской европейской литературы XX века, не приобрел широкой известности.

Сегодня на рабочем столе писательницы ее новый роман "Модная дама" и серия новелл "Ночь на ладони".

Семидесятитрехлетняя Мадлен Санчи живет в Швейцарии, что не мешает ей активно сотрудничать с нашим журналом.

1. Имеется в виду итальянский авангардизм.

2. Один из авторитетнейших итальянских издателей.

3. Ведущий французский критик и теоретик литературы.

МИШЕЛЬ БЮТОР

о Мадлен Санчи:

"Я полагаю, что Мадлен Санчи обладает подлинным даром раскрыть писателя для него самого, что она и проделала с блеском в отношении меня."

Милая Марина,

Почему я Вам посвящаю эту книгу? Вы и сами знаете. Впрочем, непрочь перечислить причины. (Вам нравится это чередование П и Р, и О и И, - знаю. Но уверяю, - в данном случае - не намеренно).

Всегда Вы мне говорили: "Заведите себе записную книжку". Вы почему-то находили, что то, что у меня иногда срывалось с языка в разговорах наших, - замечания, впечатления, сравнения, оценки, - заслуживает быть передано тому, что принято называть вечностью, то-есть попросту - печатному станку. Я не находил, а тем менее соглашался завести записную книжку: терпеть не могу. Мне всегда казалось, что записная книжка ослабляет память, а, следовательно, уменьшает силу личности. Понимаю - писать; но записывать? Нет, надо уметь в себе найти, а не в каких-то лоскутках, которые в кармане треплются. Когда я что "записал", я тем самым изгнал это из себя, я, как бы сказать, изменил химический состав своего Я, и, конечно, в сторону обеднения. Мысль незаписанная есть зерно, пребывающее в почве; записанная - выкинута наружу. Вот почему никогда не имел записной книжки и почему Вашему совету не последовал. Но Вы продолжали приставать, в письмах приставать. После того, что в течение двух лет мы с Вами прожили в Москве, что в течение двух лет, не унывая, духом бодрым пробивали мрак и мразь советского житья, судьба нас разлучила. Я был в Париже, Вы жили в Праге. (Я знаю, - Вам и тут нравится чередование П и Р, и преобладание А, но и тут не моя вина). Мы обменивались письмами, и в письмах Вы продолжали приставать, но уже не насчет записной книжки, а насчет книги, - пишите да пишите.

Что? О чем?

Вы стали мне присылать выписки из моих же писем: вот, мол, о чем, - развивайте, распространяйте. Странно мне было видеть себя превращенного в цитату. Но я пошел по Вашему указанию и, не зная еще, куда это меня приведет, стал сам собою питаться. Это самоедство оказалось более питательным, чем я предполагал. Так произошла эта книжка. Вы повинны в ее возникновении.

Теперь о содержании. Как объяснить? Где-то в своих изречениях Марк Аврелий спрашивает - "Что такое жизнь?" И отвечает - "Дым, зола и рассказ, - даже не рассказ". Дым и зола то, о чем пишу; и даже не рассказ. Значит, жизнь? Да, жизнь, всегда жизнь.

По: "Кн. Сергей Волоконский. Быт и бытие", изд. "Медный всадник", Берлин, 1924

Сергей Волконский. Быт и бытие
Из прошлого, настоящего, вечного

Думал, было, взять эти слова Марка Аврелия эпиграфом к книжке. Но, несмотря на то, что они так хорошо подходят, они все-таки не годятся. Они односторонни. Односторонни, потому что указывают только на то, что есть в моем предмете преходящего, мимолетного. Между тем, говорю не об одном преходящем. Ведь нет явления, нет впечатления в жизни нашей, которое, при всей мимолетности своей, не покоилось бы на нерушимых законах. Потому, говоря о мимолетном, мы в то же время говорим о вечном. Тут и легкое, и тяжелое, и глубокое, и поверхностное, и сомнительное, и непреложное, и неуловимое, и неизбежное. Вот почему считал слова друга Марка непокрываемыми содержания моих наблюдений, впечатлений, размышлений. Думаю, что, объяснив, почему эти его слова не подходящи, я вместе с тем до некоторой степени раскрыл содержание последующих страниц. Впрочем, дам Вам еще, для явщего разъяснения, одно сравнение.

Бывали Вы когда-нибудь в типографии? Ну, конечно, бывали, - автору, хотя бы и поэту, да не бывать в типографии! Конечно, бывали. Но замечали ли Вы, как работает станок? Например, кладут лист белой бумаги на железные лапы станка. Лапы тихонько, можно сказать, - нежно его поднимают и нежно прикладывают к той доске, на которой буквы, - только прикладывают. Но попробуйте между этими лапами и доскою с буквами положить палец, - Ваш палец будет раздавлен, уничтожен этим нежным, преходящим прикосновением. Вот то же и в природе: малейшее, тончайшее, легчайшее прикосновение к впечатлительности нашей есть действие тяжелых, грозных в нерушимости своей, безжалостных в неизменности своей законов. Понимаете, о чем моя книжка? Нет? Ну, так прочитайте. А теперь еще о заглавии.

Однажды Вы мне написали, что нравится Вам, как я быстро от неприятных вопросов быта перехожу к сверхжизненным вопросам бытия. И тут же я подумал, какое было бы красивое заглавие - "Быт и Бытие". Но как, подумал я, трудно написать такую книгу, которая бы такому заглавию соответствовала. Признаюсь, когда я начал, я совсем не думал, даже забыл об этом заглавии и только на восьмой главе, говоря о русском уездном городе, вдруг почувствовал, что я ведь именно об этом пишу. [Вы заметите, что только в этом месте в первый раз эти два понятия сопоставляются в виде формулы; впоследствии чаще и все чаще, так что к концу смысл книги сгущается (надеюсь, по крайней мере).] Такова история заглавия, - Вы видите, что оно принадлежит Вам.

Но не одно только слово, не один словесный звук Вам принадлежит. Принадлежит Вам и содержание этого звука, то есть раскрытие его содержания.

Это было в те ужасные, гнусные московские года. Вы помните, как мы жили? В какой грязи, в каком беспорядке, в какой бездомности? Да это что! А помните нахальство в папаше, врывающемся в квартиру? Помните наглые требования,

издевательские вопросы? Помните жуткие звонки, омерзительные обыски, оскорбительность "товарищеского" обхождения? Помните, что такое был шум автомобиля мимо окон: остановится или не остановится? О, эти ночи!..

А заря? Аугога, нога аугеа (Заря, час золотой)? Помните зори? Когда-то Пушкин писал:

Но вот багряною рукою
Заря от утренних долин
Выводит с солнцем за собою
Веселый праздник именин.

А теперь что выводит она, - не от утренних долин, а из застенок и от свальных ям? Что выводила заря багряною, да, багряною, обагренною рукою? Кровавую повесть ночи. Была ли хоть одна заря без жертв, без слез, без ужасов?.. Не могут, не могут понять те, кто не жили там, - не могут. Странно, не умеют люди перенестись в такие условия, в которых сами не были, - не хватает людского воображения. И сердиться на них за это нельзя: разве может воображение человеческое нарисовать то, чего вообразить не может? Но меня еще одно удивляет: как люди не способны применить к себе самим то, через что прошли другие. Перейти от действительности чужого страдания к возможности собственного страдания, - как мало людей способны на этот шаг!.. И знаете, еще что я заметил? Людям не нравится слушать про чужие мытарства, - скучно, надоело, - приелось. Представьте себе - приелось! О, как легко было бы жить на свете, если бы свои страдания так же легко приедались, как рассказ о чужих!.. Но мы с Вами знаем, мы жили тогда, мы жили там. И страшно было жить, но и стыдно было жить, когда кругом так много умирали. А дышать тем самым воздухом, которым дышат женщины-расстерльщицы? А дети, игравшие в расстрел? А рассказы приезжих из провинции: этот маленький четырнадцатилетний палач, который на площадке лестницы с револьвером поджидал проходящих осужденных и выстрелом в затылок спускал их вниз по ступеням?.. И мы дышали тем же воздухом. И мы жили. И мы выжили... Помните все это? Так вот, - это был советский быт.

А помните наши вечера, наш гадкий, но милый на керосинке "кофе", наши чтения, наши писания, беседы? Вы читали мне стихи из Ваших будущих сборников. Вы переписывали мои "Странствия" и "Лавры"... Как много было силы в нашей неподатливости, как много в непреклонности награды! Вот это было наше бытие.

Вы не забыли, как Вы жили? В Борисоглебском переулке. Ведь нужно же было, чтобы "Ваш" переулок носил имя "моего" уездного города! В Борисоглебском переулке, в нетопленном доме, иногда без света, в голой квартире; за перегородкой Ваша маленькая Аля спала, окруженная своими рисунками, - белые лебеди и Георгий Победоносец, - прообразы освобождения...

Печурка не топится, электричество тухнет. Лестница темная, холодная, перила донизу не доходят, и внизу предательские три ступеньки. С улицы темь и холод входят беспрепятственно, как законные хозяева... Против Вашего дома, на той стороне переулка два корявых тополя, такие несуразные, уродливые, - огромные карлики. Мы выходим в лунный свет. Вы босиком, или почти, - сандалии на босу ногу; в котомке у Вас ржаные лепешки и рукопись стихов. На улице лошадиная падаль лежит, и из брюха ее врассыпную кидаются собаки; а сверху звезды сияют; мы шарахемся в сторону, - обдает нас грязью и руганью советский автомобиль; кремлевские купола под луной блестят... - Во всем этом какое смешение быта и бытия. Как тяжел был быт, как удушливо тяжел! Как напряженно было бытие, как героически напряженно!..

А помните, когда вошел к Вам грабитель и ужаснулся пред бедностью, в которой Вы живете? Вы его пригласили посидеть, говорили с ним, и он, уходя, предложил Вам взять от него денег. Пришел, чтобы взять, а перед уходом захотел дать. Его приход был быт, его уход был бытие.

Так все в жизни смешано; перемешано то, что нам дорого, с тем, что нам противно; и бытие получает большую ценность, когда есть быт, над которым оно торжествует; и быт становится ценным, когда пронизан бытием. Раскрытию и осознанию всего этого Вы, может быть, и сами того не замечая, содействовали собственным примером. И сейчас, припоминая Вас в тогдашней мерзости, вспоминаю Ваш же стих из Вашей "Царь-Девуцы":

На перине, на соломе,
Середь моря без весла, -
Ничего не чтит, кроме
Струнного рукомесла.

Помню, Вы как-то сказали, что сочинили себе девиз: "Mieux vaut être qu'avoir". Вы правы. "Avoir" это - быт, "Être" - это бытие. Из тех, кто много "имеют", мало кто знает настоящее бытие; кто мало "имеют", те, может быть, знают лучше, хотя не уверен, сомневаюсь и в этом. Зато те, у кого отняли то, что они "имели", те знают, хорошо знают. И это понятно. Естественно и справедливо, что тот, у кого отнято, понимает лучше цену того, чего отнять нельзя. И я думаю, что тот, кто может спрягать глагол "иметь" только в прошедшем времени, тот и не хочет спрягать его в будущем. О, сколько в нас такого, что ни отнять, ни украсть, ни реквизиовать нельзя! И какая бесконечная награда в том сознании, что никогда не поймет этого - отнимающий!..

Вот, милая Марина. Я перечислил причины, по которым посвящаю Вам эту книжку. Вместе с тем, думаю, я раскрыл и то, что составляет внутреннюю связь разрозненных глав, что сообщает этому разнообразию единство. А коснувшись причин

моего к Вам уважения, я раскрыл то, что единству моей благодарности сообщает разнообразие восхищения.

С.В.
Рим.
25 Ноября 1923.

I

Т Е Н Ь

Мимо белой стены, в лунную ночь, приходилось ли вам проходить и любоваться, как колышутся черные на белой стене очертания, - тени от листьев кустов, растущих при дороге? Бесплотные, невесомые, бескрасочные очертания, но полные жизни. И не той жизни, которая в тех листьях, что колышет ветер. Нет, это иная жизнь, чем та, первая, зеленая; иная, но новая в бесплотности своей, новая крепостью и четкостью своих очертаний, а главное - таинственностью черной своей прозрачности, в которой уничтожена трехмерность и вместо тяжести объема - легкость отражения. Всякий объем тяжел, но отражение самого тяжелого объема легко. Тень всегда легка, и только в угоду предмету, ее бросающему, мы говорим про тень - "тяжелая"...

Мимо белой стены, в лунную ночь, приходилось ли вам проезжать верхом и видеть на стене всадника, похожего, но другого? Черного, бескрасочного и бесшумного? Не он копытами стучит, но четко над холкой вырисовывается колыханье гривы и под шеей крепко натянутый повод. Не он устал, не он напрягает последние силы, но он торопится, он неуклонен. И иная в нем жизнь, иная, нежели ваша и в вашем коне. И эта жизнь рядом с вашей жизнью - какое умножение жизнеощущения!

Тень не есть повторение жизни. Повторение скучно, повторение ненужно, повторение есть нагромождение и загромождение. А тень есть новый вид существования. Это есть превращенная жизнь, утонченная, упрощенная. Да, упрощенная, а вместе с тем осложненная, ибо никакая тайна не проста, а тень таинственна, жутка, и в этом ее отдельность, ее самостоятельность. Она жутка двухмерностью своей, она жутка своей неосязаемостью и она жутка обманом, обманчивой своею верностью. "Трижды я обнял его, - рассказывает Данте о загробной встрече своей с поэтом Сорделло, - и трижды руки мои возвращались к моей груди". Тень неосязаема и проницаема, так же точно, как и свет - проницаем и неосязаем, но она есть следствие осязаемости и непроницаемости. Она есть следствие препятствия, которое ставит свету плотность; свет не может проникнуть и бросает точный след своего препятствия. Без света нет тени, - тень от света. Тень есть то третье, что родится от встречи света с материей. Но, сама третье, она для

осуществления своего требует тоже третьего, и ей нужны: свет, препятствующая среда и материя, ее принимающая, та, на которую она ложится. И какие странные между родившим и рожденным отношения! Свет родит ее, а она от света бежит. Она боится зачавшего ее; а свет, родивши, гонит. И бежит тень от света, бежит, вращается вокруг своего основания, а сама удлиняется все длиннее, длиннее, пока, наконец, не сливается с темнотой: мрак поглощает от солнца родившуюся, и она вливается в лоно своей матери, - ночи. Там, в лоне матери теряет она четкость своего очерка и перестает быть:

Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай. [1]

Да, тени нужна, - чтобы она могла осуществиться, - тени нужна, кроме света, ее рождающего, кроме предмета, свету препятствующего, нужна еще материя, на которую она ложится. Представьте воздушный шар. Он с одной стороны облит солнечным светом, другая его половина в тени; но мы, с шаром поднимающиеся, мы увидим его тень только, когда она упадет на облако. Но если облака нет? Есть ли тень? Есть, только в состоянии возможности, в состоянии потенциальном. Тут уже мы из физики переходим в метафизику. Здесь встреча принципа субъективного с объективным. Существует тень, когда ей не на что упасть? А существует горькость плода, если я его не ем? "А вы думаете, принц, - спрашивает в Лессинговой драме Эмилия Галотти, - вы думаете, что Рафаэль не был бы величайшим гением живописи, если бы по несчастью родился без рук?"... Мимо, мимо! Оставим рассуждения, вернемся в ощущения.

Отрицание или утверждение? Ни то, ни другое. Свет утверждает, но и тень не отрицает, раз она живет таинственностью своей двухмерности. Что же делает она, если не отрицает и не утверждает? Да, не утверждает, но подтверждает. Как дым подтверждает огонь, так, и с гораздо большей степенью несомненности, тень подтверждает существование предмета, ее бросающего.

Тень, дочь света, - сестра тишины. В тени покой, отдых. Теневой покров, ложащийся на волнения трудового дня, успокаивает дневное сердцебиение. Все ниже падает оно, становится все тише, и только зло, сознательное зло нарушает этот покой тревогою и страхом. Не должно бы быть места злу в эти мгновения, когда "утомившийся день склонился в багряные воды" и "прохладная стелется тень". [2]

Стелется и ведет за собою сумерки. Темнеют низины, макушки рдеют. И наступает тот блаженно-неопределенный час в комнатах, когда поздно читать, рано зажигать. А на дворе тень ложится и легла - одна на всем, и можно сказать, что тени нет, потому что поглощена надвинувшейся ночью. Если будет раньше утра тень, то новая, уже не солнечная, - лунная...

А замечали вы участие тени в архитектуре? Выступы, западины, карнизы, арки, своды, - все тенью очерчено, подчеркнуто. Рельефы точно не резцом высечены, - изрыты тенями. Какая слепая, белесая была бы архитектура без теней, - что без бровей лицо. А тень, которую само здание бросает, - через площадь или на долину? Разве не красота - на зеленом лугу темная полоса от башни? А, наконец, - тень, которая ложится не от архитектуры, а на архитектуру. О, как понимал это поэт, когда писал:

И на порфирные ступени
Екатерининских дворцов
Ложатся сумрачные тени

Октябрьских ранних вечеров... [3]

А разница утренней тени и вечерней: утром влажная, ночью сыростью еще пропитанная, глубокоросистая; вечером сухая на неостывшем еще жаре земли. Утренней тени хочется сказать - "Останься, не уходи". Вечерней тени говорим - "Спасибо, что пришла"...

Но главная разница утренней и вечерней тени: утренняя убавляется, вечерняя растет, растет до самой последней возможности, какую дает ей заходящее солнце. Это удлинение тени перед ее исчезновением, перед окончательным ее поглощением надвинувшейся ночью проникнуто тою таинственною и щемящей прелестью, что живет в слиянии грусти и утешения. Немецкий мыслитель Гердер сказал: "Die Freundschaft mit Guten ist wie der Abendschatten. Er wächst, bis des Lebens Sonne sinkt" (Дружба с хорошими людьми, - как вечерняя тень. Она растет вплоть до того мгновения, когда заходит солнце жизни).

Вращательное бегство тени от света - это первый зачаток графического изображения времени. Отсюда солнечные часы. Пока солнце, - они показывают время вращательным движением тени своего стержня; укрылось солнце, - тени нет, и только ухо внимает звон, "глагол времен" [4], но глаз пребывает в безвременьи, пока не забрезжит рассвет. Верно надпись на солнечных часах гласит: "Horas non numero nisi serenas", - "Часов иных не отмечаю, кроме ясных". Ведь правда: как бы и отмечали солнечные часы, когда солнца нет? Ибо, как гласит другая надпись: "Nec sol, nec umbra", - "Нет солнца, нет и тени". А третья надпись с грустью предупреждает: "Sine sole sileo", - "Без солнца молчу". И, наконец, четвертая откровенно признается: "In umbra desino", - "В тени перестаю"...

Но вращение тени не есть ее единственное движение. Самая прекрасная жизнь тени это, когда не только она движется в силу высшего закона вращения земли, но когда она ложится от движущегося предмета. Вот где тень от листьев, колышимых ветром; вот где тень от скачущего всадника. И однако и это не высшая ее краса. Самое торжество, это когда тень движущегося

предмета вступает в соревнование со светом. Ну вы, конечно, знаете - на гладком лоснящемся полу ослепительный квадрат раскрытого окна, и на этой луже света - перемежающаяся игра света и тени от листьев липы или березы, которая там где-то за окном трепещет?.. Точно природа задалась осуществить неосуществимое совместительство света и тени на одном и том же месте! Сосуществование немислимо, но чередование под дуновением ветра так быстро, что не знаешь, - свет или тень, раскрытые или закрытые веки. А ни то, ни другое, - миганье, светотень. О, как восхитительны эти мимолетные мгновенья! Когда самая скромная горница превращается в солнцезлатную палату. И почему вспоминаю именно такую горницу, одну из тех сотен горниц, что видал по селам, по деревням? По лоснящемуся полу полосатая дорожка от двери до красного угла, где под иконами угольный столик, покрытый нитяной сетчатую скатертью. Некрасивые серебряного стекла подсвечники, перед одним из окон толстолиственный неуклюжий фикус, под уродливой лампой кружок из шерстяных цветов и с орехами... Все некрасиво, оскорбительно некрасиво, а вместе с тем - солнцезлатная палата, залитая, пронятая светом... И почему так глубоко охватывает праздничная сила этого утреннего трепета? Почему изпод покрова житейского, из-под пыли прожитых годов высвобождает и будит душу детскую, прежнюю, давнюю, предсознательную, может быть, - еще неродившуюся? Почему? Не знаю, но только безмерно радостны эти, казалось бы бессодержательные мгновенья, безмерно ценны. Потому ли, что, в малом прикасаясь великому, всемирному, мы тем чувствуем утверждение свое, или наоборот, - потому что, в близком соприкасаясь с далеким и неведомым, мы утопаем в безбрежьи миров, в которых мы, да и сама наша земля - песчинка? Кто скажет? Но редко когда так едко ощущал радостное слияние с мировой жизнью, как когда в маленькой укромной комнате, на лоснящемся полу, в ослепительной луже раскрытого окна видел, от растущей где-то за окном березы или липы, перемежающуюся игру света и тени и в этом напряженном трепетании темных листочков и световых кружков чуял за окном дрожащий жарким светом день и все

Цветущее блаженство мая... [5]

Еще есть одна игра светотени. Когда светотень, - то есть тень от предмета, который сам движется, - ложится на тоже движущийся предмет. Те же древесные листья, то есть тень от древесных трепещущих листов, падающая не на гладкий неподвижный пол, а на зыбкую, тоже трепещущую поверхность реки. Эта встреча струй световых и водяных, в которой уже не разберешь, где тень, а где вода, где свет, а где отражение. Какое умножение в сочетаниях, какая опрокинутость в сопоставлениях. Уже листовая светотень сама по себе прекрасна, изменчива, сложна; уже отражение листов в воде удесятывает эту сложность и изменчивость,

Но струя бежит и плещет
И, на солнце нежась, блещет. [6]

Кто же сосчитает количество возможностей в несчетных встречах светосолнечных лучей и водосветных струй?..

Эта легкость, эта зыбкость, вот что больше всего определяет ту аллегоричность, с какою слово "тень" живет в нашем сознании и в языке. Все преходящее, все мимолетное, на чем не стоит останавливаться, все, что не оставляет следа, все это -

Как тень от облаков, бегущая по ниве... [7] "Ни тени" - последняя степень несуществования: тень - последняя плотность на пороге бесплотности, и когда нет "ни тени", то, значит, нет ничего. Понятно, - тень есть подтверждение, подтверждение существования, и только сама тень не бросает тени, хотя и существует. Вот почему, сводя к ничтожеству земное наше существование, сказал поэт: "тень, бегущая от дыма" [8]. Чего же меньше?.. А другой, много-много раньше его сказал: "Жизнь человека есть сновидение тени" [9]. Что из двух меньше?..

Вам, чувствую, хочется остановить меня: "Как! Ты сказал, что все, что существует, бросает тень, и тень одна лишь тени не бросает? А свет? Разве не существует? А где же его тень?" Да, свет своей тени не дает, он лишь чужую тень бросает. Своей тени не дает, и в этом сходство тени со светом. Только, пожалуйста, не ставьте вопросов, не уклоняйтесь ни в философию, ни в космографию. Ужели по поводу тени, зыбкой, белой, мимолетной будем ставить вопросы точные, определенные? Ужели будем надевать очки, когда так полна прелести дымчатость неясных различий? Ужели будем любознательны, когда так любо не знать?

Нет, оставьте. Ступайте лучше в лес. Весенним ранним утром, когда,

Еще прозрачные, леса

Как будто духом зеленеют, [10] войдите под дымчатую сень молодых листьев, играющих с каплями и искрами росы. Идите, не думайте, - дышите. Не спрашивайте, - впивайте весну... Разве есть вопросы? Разве нужны ответы?

О, первых листьев красота,
Омытых в солнечных лучах,
С новорожденною их тенью! [11]
Или это не ответ?

Везинэ
23 Августа 1923.

II

ДЕРЕВО

Не так давно один француз сказал, что деревья уродуют землю, что на поверхности земной дерево то же, что волос в ушах или в носу: их надо выполоть. Какая хула на природу! Какое отступничество от ее материнского лона! На высшей точке утонченности человек уходит от земли! Цивилизация приводит к дикости. Ибо не могу назвать иначе, как диким, того, кто уподобляется крестьянину, не видящему красоты дерева, видящему в нем только будущие дрова. Крестьянин ополчается против дерева во имя пользы. Утонченный француз - во имя ложно понятой красоты. Но оба - враги природы, и оба дики: один остался в дикости, другой к дикости пришел. И почему это так в природе устроено, то есть нет, именно не в природе, а в человеческом строе так устроено, что конец повторяет начало? Неужели всякое развитие есть возвращение?..

Но дерево не возвращается. Из желудя родившийся дуб в желудь не вернется; но он родит новые желуди. Не знаю, существует ли радость в растительном царстве, но если существует, - думали ли вы, какая радость для дубочка его первый желудь? Из родившегося превратиться в рождающего! И каждый год больше: высится рост, разветвляются ветви, раскидывается шапка, и множатся желуди, - в Августе дождем падают на лоно матери-земли. И осеняют их "пращурсы лесов" [12]. За все минувшие века - какие желудинные дожди сыпались на землю!..

Ходили под дубами по дорожке? Хрустели под ногами вашими, лопались сухие желуди? А в лесу, в свежей зелени, пронизанной горячим солнцем, смотрели вы себе под ноги? Видели под травой, под редкою подлесною травой, - пласт сухих прошлогодних листьев? Они, как кора по земле, нога в них уходит, и под ними, когда раскопать, черная земля и кишит насекомое царство. Так вот, сквозь эту легкую кору мертвых, прошлогодних листьев, видели вы, как пробиваются маленькие, зеленые живчики-дубки? Куда ни глянешь, все дубки. Вырвите один. Не ствол, - стебелек; не шапка, - два, три листочка; не корни, - раскрытый треснувший желудь, и из него тощак кисточка висит. Вот будущий дуб. Я не знаю ничего во всей природе более величаво-таинственного, нежели желудь, маленький желудь, вмещающий в себе сложное величие дуба.

Есть у французов великолепное слово: *virtuellement* (от прилагательного *virtuel*), т.е. пребывающий в состоянии возможности. У нас говорят - "потенциально", но это так некрасиво. *Le chene est virtuellement contenu dans le gland*. Дуб потенциально, в состоянии возможности, в виде необманного обещания заключается в желуде. И эту "виртуальность" желудя всегда чувствую, когда держу в ладони дубовый плод, когда пальцами ощущаю его гладкую, полированную поверхность.

Таинственные силы родильницы-природы, - где они, в чем они? В желуде? В земле? Где? Ни желудь без земли, ни земля без желудя дуба не родят. Родильные силы во встрече желудя с землей. Как всегда, - самое важное, решающее есть третье из двух. Но в земле нет дуба, в желуде есть дуб. Земля дает возможность бытия, желудь дает предмет бытия. Земля может родить из всякого семени, которое в свое лоно принимает; желудь должен родить, не может родить иное, чем то, что вмещает его желудина сущность. Скажем так: земля есть возможность множественности, желудь есть необходимость единственности.

"Необходимость есть царство природы", сказал Шопенгауэр. Какая огромная, тяжелая, законами определенная и вселенской волею предопределенная необходимость в этом маленьком, легком лоснящемся предмете, который перекатывается на моей ладони... Всякая необходимость тяжела, а пифагорейцы даже сказали, что "Суровый закон пожелал, чтобы с необходимостью сочеталась властность". Но как сочетать эту необходимость, властную, тяжкую, с той прелестью, которою пленяет нас природа, с той легкостью, которой веет от нее, с тем разнообразием капризности, с какими она себя проявляет? Нет, - не одна в природе необходимость, и другой великий мыслитель, Гумбольдт, сказал про ту же природу, что она "есть царство свободы". Дивное сочетание. Что может быть надежнее необходимости, и что прельстительнее свободы? А вместе с тем, - что сравнится с жестокостью необходимости и с грозностью свободы? И как решиться сказать, - что желательнее: необманность опоры, или безграничие выбора? И, наконец, что дороже: безопасность в подчинении или риск при праве выбора? В мучительной двойственности пребывает человек и всегда стремится к сочетанию, и всегда ищет середины, и всегда жаждет слияния, въздыхает к примирению, - к примирению закона и свободы. Жизнь без примирений немислима. Но мысль не терпит примирений. Мироззрения неуступчивы, и один мыслитель из глубины мыслительного одиночества провозглашает, что "необходимость есть царство природы", а другой мыслитель в порыве радостного созерцания возглашает: "Природа есть царство свободы". А природа, "равнодушная природа", не внемлет, не внемлет и смеется потугам человека пригнуть ее в русло своих мыслительных путей. Повинуясь "необходимости", желудь родит дуб и ничто иное; пользуясь "свободой", дуб выбирает изгибы своего ствола, изломы своих ветвей, всю ту своеобразную картинность, которую он будет отличаться от тысячи тысяч других, столь же картинных, но и столь же своеобразных дубов. Да, свобода - это личность, необходимость - это стадо. И горе, когда личность потоплена в необходимости, а в свободе торжествует стадо. Скажете, что не лучше, когда стадо потоплено в необходимости, а торжествуют личности. Ну, видите ли, здесь все зависит от качества личностей. А когда торжествуют изверги...

Ох, куда нас завела наша прогулка по лесу! На край оврага, да какого оврага, - мрачного, жестокого... Мимо, мимо! Я овраги люблю, только не этот, не эту пропасть, не эту яму, откуда тянет смрадом, и стоном, и скрежетом. Нет, куда хотите, только не туда. Я три года, даже четыре там прожил, - не туда. На Таити, на Гвинею, на Фиджи, куда хотите. Туда, где законодатели - попугаи и обезьяны, где вместо комиссаров - откровенные тигры, вместо декретов - землетрясения, вместо исполкомов - стаи колибри...

Но овраги наши я любил. Когда со дна оврага поднимается тополь, - белый ствол, до макушки голый, и на нем шапка трепещущих листьев, лоснисто-зеленых на бело-пушистой подкладке. Такие листья в народе зовутся "мать-и-мачеха", потому что зеленая сторона холодная, а белая теплая. И, переливая из зеленого в белое, из холодного в теплое и наоборот, трепещет на тополе каждый листок, - серебристый тополь, не простой. Какая отзывчивость, на самое нежное прикосновение! Ветра нет, и ветерка даже не чувствуешь, а листья трепещут... Ох, красивы наши овраги! Степь кругом, а тут в глубоком дне лесная гуща. Самого дна не видеть, оно скрыто под кустарником. Раскидистый пакольник шапками своими укутал дно и скрыл от взоров. Некрасивый кустарник сам по себе, но такой раскидистый, макушистый, и осенью обсыпан ярко-красным семенем. За кудрявостью его прячется, не кажет себя глубокое дно... Стою на круто выдавшемся бугре; круглый, гладкий бугор, и скользко по сухой траве. Стою, смотрю, как из зеленого дна поднимается белый ствол и как на шапке тополя трепещут послушные листья... Как сладостно следить за этим трепетом. Какая ласка в уходящем закате, какая благодарность в неуходящей, остающейся природе... Все объято одним сознанием кончающегося дня. Макушки рдеют, тянутся прощаться. Уже все успокоилось, даже кузнечики перестали стрекотать, ласточки уж успокоились, а листочки все трепещут, все еще трепещут...

О, этот трепет! Как часто я "в моей блуждающей судьбе" вечерним часом засматривался на макушку дерева! Как забывал все окружающее, когда останавливался взором на трепещущем абрисе древесной шапки! Таяли алые, тонкие, плавучие облака и уходили в негу зеленого неба, а я смотрел, как вырисовывается на светло-зеленом небе темно-зеленая, все гуще темнеющая древесная шапка. И когда кругом другие деревья, я смотрел, - что дает на светлом небе общий рисунок темнеющих шапок. В какой-то иной мир переносишься, - над землей, а все же от земли. И такая далекость чувствуется ото всего скверно-земного. Какая-то одинаковая благодать стелется над макушками древесными, все равно где, без различия к стране, без внимания к людям, независимо от того, что происходит на той земле, в которой сидят корни их стволов. И что бы ни встретил мой взор, спускаясь от макушки по стволу к корням, - асфальт ли парижского тротуара, советскую ли гниль московского бульвара, -

всегда для меня неожиданно; всегда я жду травы, знакомую полынь, слышу запах дыма и соломы, дальний лай собаки, домашний окрик петуха, ближний взлет испуганной сороки... И странным, в первое мгновение даже невероятным кажется очнувшемуся слуху внимать другие, неприродные, городские шумы: слышать летучий пых автомобиля, а не трясучее дребезжание деревянной таратайки, слышать дальний грохот мостовой, а не мягкий топот табуна...

Да, велика вызывающая (эвокативная) сила древесной макушки на вечернем небе; сравнится только с силою иных звуков, иных запахов. И когда смотрю на них, на них, которые везде одинаковы и потому могут перенести куда угодно, я понемногу перестаю думать о месте и времени, уже не думаю, где я и когда я: то, что я вижу, это есть - везде и всегда, а следовательно, - нигде, никогда. Так все полюсы сливаются в своих центрах, и от нас лишь зависит, чтобы все центры слились в одном... Вот что мне дает лицезрение на макушке трепещущих листов.

Да, от дерева покой. Стелется ли дуб длинными ветвями раскидистой шапки, - он осеняет. Выскакивает ли из окружающей кудрявости высокий столб пирамидального тополя, - он стережет. Вислыми прядями возвращается ли к земле плакучая ива, - грустная, она прощается. В сухой дали, на знойном трепете степного воздуха, среди слепительной равнины темнеет ли купа ветел, - они зовут к воде. От дерева, вокруг дерева - покой. Под дерево садится путник; под дерево укрывается стадо. В дереве некая притягательная, собирательная сила. Под дубом Мамврийским встретились Авраам с Мельхиседеком. В дереве - надежность, стародавность; оно переживает "век отцов". В нем стойкость, домовитость, и оно воплощает принцип собственности; посадкою дерева отмечает человек переход от кочевого быта к оседлому, даже больше, чем постройкой дома, который может быть снесен и перенесен. Дерево есть нерукотворный памятник, природою поддерживаемый, и когда человек хочет отметить, - себя ли, место ли, событие ли, - он сажает дерево: "Дерево Карла Великого", "Дерево Петра Великого". Дерево, под которым отдыхал великий человек или близкий нам, - последнее, продолженное с ним живое соприкосновение. Немногие видели, но кто не знает "три сосны" Пушкина? Дерево - прибежище, защита - все равно человеку ли, думам ли его. Я не слышал рассказа раненого, который бы не начинался с дерева, куста, лесочка. И под деревом, возвращаясь к сознанию после обморока, узнал Дмитрий Донской о русской победе на Куликовом поле. Под дерево укрывается человек, под деревом же ищет вдохновения, - укрывается от прикосновения внешней жизни. Поэт бежит "в широкошумные дубровы" [13]; под дубами ходили, учили и жертвоприносили древние друиды, и лавр осенял

храмы оракулов и пещеры сибилл. Один поэт сказал про другого поэта:

Как мелодически шумели
Их ветви над его главой!
Их мрак торжественно-угрюмый
И дикий, заунывный шум
Какою сладостною думой
Его обворожали ум! [14]

Дерева же ищет и под деревья уходит больное, страдающее сердце. "Туда, - говорит Вергилий, - в таинственные тропы укрываются те, кого безжалостная любовь казнит жестокой мукою желаний, и миртовые рощи осеняют их своею тенью". И девятнадцать веков спустя, как будто выходя из тех самых рощ, про которые говорил творец "Энеиды", наш поэт спросил:

Вздохнули ль вы, внимая глас ночной
Певца любви, певца своей печали?
Когда в лесах вы юношу видали,
Встречая взор его потухших глаз,
Вздохнули ль вы? [15]

Да, где вздох, где покой, там дерево, и над последним покоем - плакучая ива или кипарис...

Беспокойство не пристало дереву. Оно прекрасно в бурю, растрепанное, взъерошенное, но это картина страдания. Даже ветер, - и то уже на дереве картина страдания. Посмотрите: под ветром листья переворачиваются изнанкой, дерево теряет лоснистость и сереет. И в каждом стебельке каждого листка чувствуется напряженность, надорванность; каждый листок страдает, и какое умножение страдания от тысяч и тысяч тысяч напряженных и дрожащих листов! Подумайте: ведь каждый лист дрожит не только от того, что ветер его теребит, но и от страха, что вот-вот сорвется. Каждый листок молит дерево не отдавать его, и дерево не хочет отдать ни одного. Какой ропот проносится по вершинам, когда ветер

Вдруг на дубраву набежит,
И вся дубрава задрожит
Широколиственно и шумно!
Как под незримую пятой
Лесные гнутся исполины;
Тревожно ропшут их вершины,
Как совещаясь меж собой. [16]

Шум дерева под ветром не одинаков у лиственных и хвойных. В лиственном есть лепет, трепет, переплетение звуков; в хвойном

шум длительный, без перебоя, - шелково шуршит, шепотом шумит. Но и в том и в другом беспокойство, и слышится всегда: "Зачем? Оставь!" И всегда чувствуется нарушение, - нарушенное право покоя, одиночества; есть в этом вмешательство, посягательство: то мы были одни, а теперь не одни. Нет, дерево не любит ветра; оно отдыхает, когда ураган прошел, когда после сокрушительного налета

Земля освежилась и буря промчалась,
И ветер, лаская листочки древес, [17]
только еще тучу "с успокоенных гонит небес"...

Зато, когда ветер был с дождем, какой тогда праздник - первый луч солнца! Всю ночь страдали, мучились, противились напору, гнулись, трещали и ломались, -

Когда же из-за туч, прозрачна и чиста,
Поведает заря, что минул день ненастья,
Былинки не найдешь и не найдешь листа,
Чтобы не плакал он и не сиял от счастья. [18]

Вы помните влажную радость солнечного утра, - когда "сирень в слезах дрожала" [19]?..

Да, дождь они любят, - когда, прежде чем поить их корни, он обмывает их листву, возвращает ей ее поблекшую лоснистость. Дрожат "дождя отшумелого капли" [20] на краях листов, алмазами спадают "капли не сдержанных слез" [21] с листочка на листочек. Сколько падений перед последним падением в сырую землю! В этом возврате небесной воды в ту землю, с которой она исправилась, сколько покоя! В этой утрате своего отдельного бытия какая покорность! В этом падении дождевой капли то же, что в падении всякого зрелого плода. Она тоже "созрела" [22], она совершила великий путь от земли в небо и обратно в землю. Какой прообраз нашей жизни с ее взлетами и падениями. Сказано - "В землю возвратишься" [23], и пар небесный в землю возвращается. И возвращение это не должно быть страшно ни капле, ни кому другому; оно благостно. Только в человеке благодушия нет, а конец сам по себе благостен. Мудрый Марк, благостный Аврелий, имя которого в первых строках этой книжки, сказал человеку, что он должен умирать с тою же покорностью, с какою с дерева своего падает олива, - "благословляя землю, которая ее принимает".

Одна из самых для духа нашего дорогих сторон природы - этот постоянный обмен, перерождение смерти в жизнь. Жизненная сила не избывает, и гниение есть зарождение. Материя в землю возвращается, чтобы, в земле переродившись, опять выйти из земли. Ведь утешительно. Ведь, если материя не пропадает, то ужели дух слабее ее? В этом обмене есть своего рода возмещение за ту жестокость, царящую в мире животном, в силу которой все живущее друг друга пожирает: каждое живое

существо - и жертва, и убийца. В природе неодоушевленной этого не ощущаем, и отсюда воспитательное значение дерева: умягчение нравов. Внушайте детям любовь к дереву, к листу, к цветку, к семени. Кто это любит, тот способен любить и уважать многое другое. Не потому предосудительно дерево губить, что это жестоко, а потому, что это есть признак жестокости. Всего могу я ожидать в будущем от мальчишки, который ломает дерево, чтобы снять с него несколько несозревших яблоков. Вся наша крестьянская Россия была такова.

Вот что по этому поводу припоминаю. Сидели мы в уездном городе Борисоглебске в одном доме на крылечке, чай пили. Зашла речь о моем парке, о моих лесонасаждениях. Я выразил сожаление по поводу того, как мало развита в народе нашей любовь к дереву: наш крестьянин, сказал я, не любит дерева. Сидел против меня директор вновь открывшейся в нашем городе школы. Услышав мое замечание, он воскликнул: "Как, не любит? Да крестьянин ненавидит дерево". Знаете, когда это было и кто это сказал? Это было в Августе 1917 года, а в Ноябре этот человек был главным комиссаром нашего уездного большевистского правительства. Я и тогда был рад, что слова директора училища оказались сильнее моих слов, но с особенным удовольствием думаю о том, что будущий представитель "крестьянского" правительства нашел мой "буржуазный" отзыв слишком слабым. Да, ненависть к дереву! В ком эта ненависть, в том легко раздуть и всякую другую. Я с трудом поверю, что мой тогдашний собеседник под видимым осуждением крестьянина не скрывал тайной радости перед будущим союзником в ненависти и будущем сотрудником по разрушению. И утверждался я в этом моем впечатлении всякий раз, как, проходя улицами Москвы, читал одну из тех невероятных надписей, упорным повторением которых выковывается миропонимание "нового" человека. На заборах, в пустых окнах неторгующих магазинов большими буквами кричит прохожему и останавливает его внимание заявление о том, что - "Бога нет. Природы нет".

Конечно, существование Бога может стать вопросом точки зрения. Но природа? Не будем задаваться розыском того, на чем ее упразднение основывается, и удовольствуемся ясностью причин, которыми оно вызывается. Любовь к природе - источник любви. Любовь не нравится тем, кто проповедует и воспитывает в людях ненависть...

Смерть дерева особенно грустна. Не знаю, как вам, а мне грустнее видеть смерть дерева, чем лошади. Не говорю о реальной стороне потери. В крестьянском быту, например, смерть лошади - несчастье, подрыв всему дому, и полю, и урожаю. Но если посмотреть с некоей высшей точки, - как символ, дерево дороже. Испытали вы щемящий страх и болезненное чувство непоправимости, когда под стуком топора вдруг в первый раз дрогнет древесная листва? Рана, передавшаяся по всем жилкам,

до последних оконечностей. А треск, - с противодействием, с нехотением? И потом безвольный рух, и наконец глухой удар о землю... А пеньки? Проезжая лесом, мимо порубленной делянки, где пахнет подгнивающей щепой, видали вы - пеньки, пеньки, пеньки? Лишь кое-где от пенька жирный зеленый отпрыск, а все кругом картина смерти, побоища. Одно только пожарище деревенское мрачнее и грустнее этого. Но и здесь бывает что-то утешающее, бодрящее: когда картина оправдана сознанием хозяйственной необходимости, освящена разумной намеренностью, искуплена усилиями возмещения причиненного ущерба. Рядом со срубленной делянкой, вот питомник: в шашку посаженные деревца, молоденькие, свеженькие, радостные, со всею радостью новых поколений тянутся они на смену старикам. Не знаю, чувствует ли природа эту преемственность своих поколений, но я никогда не мог проходить мимо такого лесонасаждения в соседстве со свежее порубкой, чтобы это соседство не вызвало в памяти последнюю страницу "Дворянского Гнезда". Тут запах гниющей щепы, а тут - распускающейся почки. Так соприкасаются концами своими те бесконечные нити, в которых духовная связь преходящих явлений: Память и Надежда. Так, разделенные лишь узенькой межой моего минутного впечатления, старое Прошлое и молодое Будущее сливаются в одно безвозрастное Время...

Дерево, люблю тебя! Люблю тебя - "в полном блеске проявлений" [24]. Люблю в лесу полдневный час; люблю полуденную прозрачность полуденной тени. Какое напряжение природных сил: наибольшая сила света, наибольшее противодействие листа. И свет побеждает: прозрачная тень. Уже Леонардо да Винчи, великий природовед, заметил, что прозрачность листа уменьшается в соответствии с остротой угла, под которым он принимает солнечный луч. Очевидно, в полдень, когда лучи отвесны, тогда же и листья более всего прозрачны. Люблю в полдневный час полуденную прозрачность полуденной тени. "В полном блеске проявлений", дерево, люблю тебя.

Везинэ
18 Сентября 1923.

III

НЕЗРИМАЯ ВЕСНА

Неужели вы предпочитаете весну осени? После Пушкина? Разве это мыслимо? Разве мыслимо после него любить какое-нибудь время года больше осени? Как он ее любил! И как прославил! А вместе с тем, одна из изумительнейших песен весне - первые строки седьмой главы "Евгения Онегина":

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега

Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.

Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея, блещут небеса;
Еще прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют;
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой;
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.

Какая восхитительная поспешность: ручьи, сбегающие на потопленные луга. Ведь луга оттого и потоплены, что сбежали на них ручьи, а он заставляет ручьи сбежать на уже потопленные луга. Видите, какая поспешность, какой "ракурс" картины тающих снегов. Вся эта строфа, начинающаяся "Гонимы вешними лучами" и кончающаяся "И соловей уж пел в безмолвии ночей", не есть описание момента, это не статистическая картина весны, а это есть развитие весны, сгущенное, ускоренное действие, как быстрого вращения кинематографическая лента; это не впечатление весеннего часа, это вся весна, в ускоренном, но полном своем развитии. И вот, в этой последовательности есть один, первый момент, дивный, неповторимый. Тютчев сказал про осень:

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора. [25]
Скажу:
Есть и в весне первоначальной
Короткая, но дивная пора.

Да, как ни внезапна наша русская весна, как ни краткосрочен ее расцвет, а и в ней есть свои периоды. Первый из них особенно мне дорог, то есть не дороже других, а своеобразно дорог. Он скромн, он мало известен. Ну кто ездит (виноват, - ездил) в деревню в конце марта? Это еще не весна, но только предсказание весны.

Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят. [26]

Кто же был в деревне в эту раннюю пору? Да, только воды говорят о весне, а то кругом еще зима. Но чувствуется безвозвратный поворот туда, где уже зимы нет. Все бело, слепительно бело под горячим солнцем. Снежная кора еще плотная, еще выносливая. Едете в розвальнях и диву даетесь: как же это едем? Если по снегу, то почему мокро? Если по воде, то

почему же не проваливаемся? Обыкновенно так бывает: по плотному, твердому мокрые места, лужи; а тут как-то наоборот: под крепким, плотным чувствуется вода, как будто все полыньи. Даже и сугробы еще есть; правда, они как-то сели, по стариковски осунулись и какие-то пористые стали, но все же настоящие сугробы. Да только не знают они, что снизу они истекают, что точит их своя же вода: текут неугомонные струйки из-под сугробов, и от сугроба ничего не останется, - один провал и над черным местом какой-то грязный, дыристый леденец. Бежит, бежит вода, кругом бежит, откуда только можно бежать, - отовсюду, где повыше; и куда только можно бежать, - всюду, где только пониже. Ни одного склона, ни овражка, ни колеи не пропустить; всякую излучину отыщет, наделает промоин, канавы пораскопает, овражные вершины поразмоет, по речкам, по прудам поразойдется, в землю мягкую просочится, а поверхность оставит, отдаст горячему солнцу...

Но это еще когда! А сейчас исподтишка лукавые струйки чернеют, в снеговой белизне поблестывают. Впрочем, деревней поедете, - уже много черного. Улица - непролазная черная грязь, и жмется к избам прохожая баба, в тулупе, в сапожниках, красная по случаю зимы, потная по случаю весны. Идет и ищет, где покрепче ногу поставить. Солома на прошлогодних токах чернеет, и навоз чернеет по заборам гумен и чуть-чуть дымится. Вороны, черные, над черным местом взлетывают и садятся: длинный клюв, вислые лапы, а крылья как будто не знают, что им делать, - поднимать ли птицу или опускать. В их движении глупая нерешительность и какая-то неуклюжая бережность...

Какое-то во всей картине отсутствие растительного царства. И это придает какую-то сказочную заколдованность. Гдето вдали, над слепительной снеговой белизной, серая дымка голого леса; вблизи ничего. И только около плотины, край полузамерзшего пруда, красными, как юной кровью налитыми прутьями встают пучки вербы, ракиты, тальника. И вокруг сочных, гибких, красных прутьев едва-едва заметная желтая дымка... И стоит в кустах и вокруг кустов и над кустами невидимое щебетанье, нежное попискивание немолкнущих малиновок...

Животное царство еще не приспособилось. Собака, лохматая, глядит, не лает, во дворе не сидит, а и на улицу не хочет, - трется около жилья. Свиньи с поросятами у ворот копошатся, чтото нашли. Курицы не отваживаются. Все у ворот толпится, все ждет чего-то. И только лапчатая птица, гуси да утки, дождались своего: на полынью посередь замерзшего пруда выплыли, плавают и гогочут -

Ни дать ни взять - в торговых банях бабы... [27]

С соломенных крыш ледяные сосульки висят. Но и капает же с них на подсолнечной стороне! Прямо мокрый говорок стоит, неугомонная капельная болтовня...

Странно все: что-то кончилось, а что-то еще не началось. Но нега обнимает; от мокрого воротника холодно, а от солнца горячо. От шубы ломит, а дышать легко... И хочется выйти,

расправить залежавшиеся члены, а и жалко думать, что приедешь и придется вылезать...

Какие-то силы работают в природе, работают дело весны; но не видать. Леса "еще прозрачные", но пухом еще не зеленеют; "пчела за данью полевой" еще не вылетала; стада не шумят, долины еще не сохнут и, конечно, не пестреют, и соловей еще не скоро будет петь "в безмолвии ночей". И тем не менее - весна! И в холодном полусне, еще недвижная, природа

Сквозь сон встречает утро года. [28]

Все еще околелое (да и легко ли первым, косым еще лучам согреть и растопить эту долгую зимнюю промерзлость),

Но возрожденья весть живая

Уж есть в пролетных журавлях. [29]

И, внимая этой пролетной вести, все живет смутным сознанием будущей радости. Сама недвижная,

Еще природа не проснулась,

Но сквозь редеющего сна

Весну прослышала она

И ей невольно улыбнулась... [30]

Вот эту улыбку мерзлой природы весне, еще не существующей, но несомненной, вот это я хотел отметить, закрепить. То есть закрепить то, что она в нас пробуждает, - необманное ожидание неминуемой радости. Всякое ожидание лучше осуществления. Чем позже осуществление, тем радости больше. Уже путь к радости есть радость:

Ступенями к томительному счастью

Не меньше я, чем счастьем, дорожу. [31]

Ведь лучше радоваться тому, что цветок расцветет, чем оплакивать, что он отцветает. Всякий нераскрывшийся цветок есть цветенье в будущем; всякий цветущий цветок есть будущее увяданье. Всякое ожидание радости - это раскрытые ворота в будущее, и это, собственно, наибольшие наши радости, ибо это есть радость по радости. Вместе с тем это есть одно из наших соприкосновений с беспредельностью, потому что предельный день, день радости, не наступил. Это есть, следовательно, радость чистая, без примеси той грусти, которую примешивает к радости сознание, что она, начавшись, должна и кончиться. Неотмеченность предела ставит душу нашу перед прообразом вечности. Вечность не страшна, вечность притягательна. А страшен именно предел, всякий конец, последняя инстанция. Странно, - как будто даже незаконно, - что предел вмещает в себе беспокойство, вместо покоя, который бы должен давать. Нет, я не люблю предела, меня предел тревожит; я спокоен, когда пределы падают или еще не вставали; мой покой -

беспредельность. А предел всегда тревожен, и все равно, - начальный или конечный: ведь все, что началось, должно кончиться, что родилось, должно умереть. Вот почему люблю весну прежде, чем она началась, - еще не родившуюся, еще во чреве матери-зимы. И вот почему говорю, что

Есть и в весне первоначальной
Короткая, но дивная пора...

Знаете, еще почему захотелось мне закрепить то, что сейчас описал? Скажу вам.

Я знаю, что в Россию никогда больше не попаду. Все, что я на этих страницах описываю, - мимолетно. (Даже сперва думал книгу назвать "Мимолетности", но оставил заглавие вследствие некоторой изысканности слова, а также односторонности его). Но из всего мимолетного, из всего безвозвратного, самое мимолетное для меня - эта мимолетность; самое безвозвратное - эта безвозвратность. Из всей России самое далекое, ушедшее, для меня не достижимое - русская деревенская весна...

Вот почему с волнением тревожу эти образы; вот почему люблю будить их в дремлющих глубинах памяти и вызывать на трепетную поверхность сегодняшнего дня. Думаю о смраде, что заволок несчастную страну, -

А небо так нетленно-чисто,
Так беспредельно над землей... [32]

Но неужели одна только природа будет праздновать весну? А людям будет весна? Или навсегда останутся в зиме? Ужели "возрождения весть живая" не прозвучит в "пролетных журавлях"? И, уставшая в страданиях, оконечелая до безразличия, ужели "сквозь редеющего сна" не улыбнется когда-нибудь Россия невидимой, но чуемой весне?..

Везинэ
19 Сентября 1923.

ІУ

С О В П А Д Е Н И Я

Как определить, что такое случай, случайность? Можно так сказать: два действия, не состоящие в отношении причины и следствия, но одновременность которых получает некое неожиданное для нас значение. Такова всякая встреча. Вы выходите из дому, - на подъезде сталкиваетесь с человеком, который к вам шел: непреднамеренное последствие двух несогласованных действий.

Но это не исчерпывает формы случайности. Надо и иначе еще сказать. Случайность есть нечто втирающееся между причиной и следствием и определяющее разнообразие последствий. Мальчик играет с заряженным ружьем и убивает сестренку: случайная смерть. Человек стреляет в неверную любовницу, попадает в брешь: случайное спасение.

Случайность. Странно: сама по себе не существует, только в вещах существует, и даже не в них, а в сопоставлениях, - а между тем называем случайность, говорим о ней, как о какой-то личности. Неуловимая личность, но какая ответственная! Только подумайте, - если бы можно было на нее руку наложить, как бы ей досталось! И где только ни действует она, на какое только попроще ни распространяется ее действие и в каком масштабе! Судьбы сражений, царств, народов! "Времена и лета" от нее зависят. Мюрже, автор "La vie de Boheme" ["Жизнь богемы"], сказал: "Le hasard est l'homme d'affaire du Bon Dieu". Но ученые упорствуют и, несмотря на шалости случайностей, выводят из событий - Разум Истории...

Конечно, не совсем верно, когда говорю, что случайности нагорит, в тот день, когда она попадет под руку. Иной раз ее и благословляют, и, хотя она без разума, без замысла, но могла бы сказать, подобно Федровой кормилице:

Но если бы мой замысел удался,
Разумною меня сочли бы все
Затем, что ум успехом люди мерят. [33]

Да, конечно. И люди это знают, - называют же они случайность то счастливою, то несчастною. Эти эпитеты, понятно, имеют чисто субъективное значение, даже скажем, до известной степени эгоистическое: счастливая случайность для меня, человека, а вовсе не сама по себе. Случайность сама всегда безразлична. Это сама апатия, апатия до цинизма. А вместе с тем она всегда куда-нибудь склоняется; это вечно нарушенный нейтралитет.

Кроме счастливой и несчастной, в каждой из этих категорий есть еще большие и маленькие, смотря по важности последствий; или скажем - важные и неважные случайности. И, наконец, есть совсем безразличные совпадения, безразличные, но которые поражают, "фраппируют", как говорили некоторые герои Достоевского.

Помню, в министерстве Иностранных Дел в Петербурге был раут. Кто-то посмотрел в окно и в морозной ночи, освещенной электричеством, увидел на поиндевелой поверхности Александровской колонны большое латинское N. Конечно, разыгрались все фантазии; спириты ликовали. Оказалось, что это с ближайшего электрического фонаря падала на колонну тень одной из букв фабричной марки на поверхности матового глобуса. Спириты приуныли; но, по-моему, гораздо интереснее всех мистических объяснений именно та тупая случайность,

которая на колонну Александра I набросила вензель Наполеона. Нужно же было, чтобы именно этой буквой фонарь оборотился к колонне.

Случайность тем более нас поражает, чем больше количество возможностей, из которых осуществляется одна. Когда она из тысячи возможных совпадений выбирает одно, то совпадение нас более удивляет, чем когда выбирает из десятка. Значимость совпадения увеличивается в зависимости от процентного отношения единицы, т.е. осуществившегося акта, к сумме неосуществившихся возможностей. Вот пустяшный пример.

Сижу на скамейке Никитского бульвара в Москве. Рядом со мной дама двум своим детям читает вслух. Мало обращаю внимания на чтение: что-то из рыцарских времен... Думаю, не пора ли мне идти? Надо на часы посмотреть. Пока вынимаю из кармана часы, барыня читает: "В это время часы на башне пробили половину третьего". Смотрю на свои часы: половина третьего. Вот совпадение без всякого внутреннего смысла, без какого-либо выхода в область практическую. Но оно нас поражает именно и только вследствие огромного процентного отношения единичного случая к бесконечному числу иных, возможных, но капризную случайностью оставленных возможностей. На первый взгляд может показаться не очень сложным. Ну, что ж? - скажет иной, - выбор из двенадцати часов; прибавить, что часы бьют половины, - вот вам выбор из двадцати четырех, т.е. 4%. Такое рассуждение было бы правильно, если бы дело шло только о совпадении данного места данной книги и моего прихода в данный час. Но ведь и данная книга могла быть раскрыта на другой странице в данный момент, и я мог посмотреть на часы прежде, чем была прочитана эта фраза. Это при самой скромной численности элементов совпадения. А начните только прибавлять все прочее: мог автор сказать, что часы пробили не половину третьего, а половину четвертого; и наоборот, - могло чтение состояться в то время, когда мои часы показывали бы половину второго или иной какой час. Далее, - могла мать читать своим детям другую книгу, мог и я сесть на другую скамейку и т.д. и т.д. Раскрывается поле бесчисленным возможностям, и случайность выразится уже не в четырех процентах, а и сосчитать нельзя будет, во скольких. Тут окажется недостаточным и то, что наши купцы называли "один процент на тыщу". Я думаю, что это то же самое, как если бы в рулетке вместо одного шанса на 36 была бы одна тысячная на тыщу. Тут уже сочетание сочетаний и совпадения совпадений.

Собственно, это есть как бы встреча двух жизней, подобно тому, как встречаются два поезда на соседних путях. В каждом окне человек, в каждом окне, можно сказать, своя жизнь; но есть в этих двух поездах два окна, по окну в поезде, в которых сидят два человека, друг с другом знакомые. Поезда, идущие в разные стороны, на станции останавливаются, и случайно наши

знакомые смотрят друг на друга, окно в окно. Так и случайности житейского пути неожиданно сводят два момента двух жизней, идущих по разным направлениям. Это есть механическая картина совпадений. А вот другая. Представьте, вы едете в поезде: рядом с вашим другом. Но в этом втором поезде нет окон, или только очень редкие окна. Вы можете, соответственно капризам скорости, все время ехать так, что ваше окно будет против глухого места; а можете ехать и так, что вдруг, хотя на мгновенье, ваше окно окажется против окна соседнего поезда. Тогда сквозь это второе окно вы увидите то, что по ту сторону поезда, то, чего без этой случайности вы бы никогда не увидели. Да, это еще другая механическая картина совпадений, но вместе с тем не есть ли это эмблема того, в чем некоторые видят соприкосновение с потусторонним? Не будем углубляться; но как бы они это ни называли, - оккультизм, спиритизм, или просто случай, - а только, руководимые судьбой, поезда житейские встречаются, друг другу сопутствуют, останавливаются, расходятся и разъезжаются, но окна иногда совпадают. В этих мимолетных встречах, в этих безвозвратных разлуках есть что-то волнующее нашу поверхность, что-то тревожащее нашу глубину. Где теряются концы тех нитей, которые к этим совпадениям приводят? Есть ли кто, кто этими нитями руководит? И если есть, то для чего? Неужели только ради мимолетного удовлетворения какого-то неопределенного синтетического инстинкта? Почему нас привлекает случайное, то, что французы называют - *le fortuit*? Почему мы отмечаем то, что случайно, почему собираем рассыпанное, сближаем далекое, сочетаем чуждое, ищем намерения в том, где намерения нет, и почему вводим в высший мир разума то, во что мы сами вкладываем разум?

Не на этом ли самом инстинкте основана рифма? Случайное звуковое совпадение слов, и мы гонимся за ним; и эта случайность сближает далекое по смыслу; и чем дальше смысл, тем дороже созвучие. Почему же так ценна близость звуковая при дальности смысла? Не есть ли это - введение сознательности в область случая? Очень возможно: случайность - оккупированная область, оккупированная сознанием. И случайность капитулирует, звуковые совпадения ложатся в рифмы, подчиняются:

Две сами придут, третью приведут.

На днях сама природа, - назовем так стечение обстоятельств, - пожелала устроить такую "рифму". Мы были в театре *Le Grand Guignol*. Глупая пьеса с претензиями на ужас. Возвращаемся домой. Один из нас говорит: "Во всей пьесе собственно только одно, в смысле ужаса, действительно удачное место: когда он кидается в темную комнату, и раздается треск разбитого зеркала". В это самое мгновенье мы все вздрагиваем: где-то в доме рухнет стекло, - треск огромного количества

стекла. Повскакали с мест и в нижнем этаже, в буфете увидели лежащий на полу шкаф с порожними бутылками. Разве не рифма?

К тому же порядку надо отнести и опечатки, - тоже случайность. Три категории опечаток: первая - ошибка, которую читатель тотчас же мыслью восстанавливает; вторая - затемняющая смысл, т.е. бессмысленная и не поддающаяся разъяснению; наконец третья - опечатка со смыслом, но не тем, опечатка искажающая. Это, конечно, самая неприятная, та, которая больше других заслуживает обычный эпитет "досадная". Какая здесь игра процентов и какая иногда ехидная в случайности изобретательность. Но бывают и не "досадные" опечатки, - из категории счастливых случайностей. Известно происхождение стиха -

Et, rose, elle a vecu ce gue vivent les roses, -
L'espace d'un matin. [34]

[*"И роза, она прожила ту жизнь, что и живут розы -
Пространство утра" (франц..)*]

У автора было - "Et Rosette a vecu..." Наборщик набрал - "Roselle". Автор при корректуре воспользовался тем, что ему положила под перо случайность, и, разорвав слово надвое, поставив две запятые, написал один из прелестнейших стихов французской песни.

Есть и четвертая категория опечаток. Это когда наборщик не ошибается, а поправляет автора. Здесь сама опечатка не является последствием случайности; напротив, в ней есть умысел, определенно волевой элемент. Но результат такого рода опечаток дает любопытные случайности.

В одном стихотворении Марины Цветаевой:

Здесь на земле, мне подавали гроши
И жерновов навешали на шею.

Наборщик, очевидно, рыцарски настроенный и оскорбленный за женщину, поправляет: жемчугов.

У нее же, в другом стихотворении:

Голуби реют растерянные.

Наборщик переправляет: расстрелянные.

У Максимилиана Волошина:

След босой ноги благословляя...

Наборщик предпочел широким махом:

След босой ногой благословляя...

В моих американских лекциях по русской истории (русское издание) я рассказываю о браке Иоанна III. Софья Палеолог,

обручившись с ним заочно в Риме, отправилась в путь на север и через Любек приехала в Москву. Наборщик, очевидно, лучше меня знакомый со способами сообщения, написал: "через Любань". И как же византийской царевне в Москву приехать, как не курьерским поездом Николаевской дороги...

Эту категорию можно бы назвать сознательными случайностями, с бессознательным, т.е. непреднамеренным результатом. Это относится к области того, что принято называть *sancta simplicitas* [*святая простота (лат.)*]; и сюда же можем отнести неожиданности тех, кого называем *enfants terribles* [*избалованный ребенок (франц.)*]. Случайность часто пользуется неведением, и никакое ехидство не сравнится по жестокости с ехидством наивности: невинность бывает изыскана в жестокости.

В присутствии гостя отец спрашивает девочку:

- Сонечка, ты сказала маме, что Мария Ивановна к нам пришла?

- Да.

- Что же она сказала?

- Она сказала - какая скука.

Это случайности бескровные. Есть случайности кровавые. Есть то, что у нас называется "шальная пуля". В советской России жизнь человеческая висела на тонком волоске случайности. Случайно спасались, случайно попадались. Милый, радостный Леша Смирнов спал сладким детским сном, когда товарищ разбудил его: "Пришли, беги!" Кровать стояла у окна; но он не допроснулся и повернулся набок. Товарищ выскочил, а он был расстрелян... Одна из гнуснейших пуль... Он так просился - жить! - когда гнусные целились в него... Да, не всегда случайность имеет значение только пустого бряцания бесполезными совпадениями...

Вот не "кровавый", но и не "пустой" случай.

Одному нумизмату попалась замечательная монета, такая, что ни в одном каталоге нумизматическом не значится. Он пригласил нескольких своих приятелей, тоже собирателей монет, позавтракать и за завтраком показал удивительное свое новое приобретение. Монета пошла по рукам, вызывая общее восхищение. Когда хозяину показалось, что вдосталь ею налюбовались, он протянул руку, чтобы ему ее вернули. Но монеты не оказалось. Искали, искали, - пропала монета. Видя, что на лице хозяина начинает проступать недоверие, гости предложили подвергнуть себя обыску. Один наотрез отказался. Можно себе представить впечатление, произведенное отказом. Его не обыскивали, но он покинул дом своего друга, провожаемый общим подозрением в сокрытии монеты. Все присутствовавшие при этой сцене прекратили с ним знакомство, на улице ему не кланялись. Он прослыл вором, и неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не заблагодарасудилось случайности разъяснить то самое, что было делом рук ее.

Через много месяцев все бывшие на том завтраке очутились опять в доме своего приятеля, собирателя монет. К большому

удивлению своему они увидели и того, в ком подозревали похитителя и которому в течение этого долгого времени не кланялись.

- Мы все очень виноваты, сказал хозяин, перед нашим добрым другом; мы его подозревали и жестоко его наказали за преступление, которого он не совершил. На днях производили у меня чистку квартиры, поднимали ковры, и под ковром столовой нашли монету. Вот она.

Затем, обращаясь к тому, которого считали виновником пропажи:

- Скажите нам теперь, почему вы не пожелали быть обысканным и предпочли нести незаслуженное подозрение со всеми его последствиями?

- Потому что вы начали с того, что монета ваша уникум, и, действительно, она ни в одном каталоге не значится; но я нашел такую же и принес ее тогда, чтобы показать вам. Если бы ее нашли в моем кармане, кто же бы поверил, что это не ваша, а другая? Вот она. [Если не ошибаюсь, подобный эпизод составляет содержание одной из повестей Лермонтова. Однако мною переданный случай имел место в Англии.]

Самая жестокая случайность та, которая может быть исправлена только другою же случайностью. Тут требуется возвращение случайности на то же место, на свой же собственный след. Это новое осложнение в области совпадений; а чем сложнее, тем реже:

Gelegenheit, Gelegenheit!

Wann komst du mir entgegen!.. [35]

[Случай, случай!

Когда ты мне подвернешься! (нем.)]

Наконец, относятся к области совпадений еще и находки. Какими сложными, длинными путями иногда потерянное возвращается! Но я расскажу один случай очень несложной находки, только особенно мне дорогой и замечательный тем, что предмет был как будто найден для того, чтобы пропасть.

Мать моя обожала деревья. В Павловске у нас сажала, развела целые леса. На огромном пространстве двухсот пятидесяти десятин обходила, подстригала, повитель и хмель сдирала, сушь пилила, семена собирала, гусениц снимала, червяи гнезда срезала и, придя домой, на кухне сжигала. Однажды вернулась домой в отчаянии: пропали ее любимые ножницы. Искать на таких пространствах - разве мыслимо!.. Так ножницы пропали...

Через тринадцать лет после ее смерти садовник наш Иван Воробьев приходит сияющий: нашлись княгинины ножницы. Они были найдены в лесной чаще, в одном из дальних углов парка... Ржавые, уже ни на что не годные, хранил я эти ножницы в ее спальне; там заняли они свое бывшее место на стене, в числе

других (менее любимых) ножниц, рядом с садовым ножом и пилой. Там висели они в течение семи лет...

Когда в первые месяцы революции я переехал в уездный город Борисоглебск, я свез туда в числе прочих своих "остатков" и эти ржавые ножницы. Уезжая в Урюпинскую станицу, оставил их на окне и прикрыл книжкой... Оттуда как-то раз писал домашним: "Берегите ножницы", но о месте, где лежали, забыл упомянуть. Письмо попало в руки представителей Чеки. "Ножницы? Что такое? Какие-такие ножницы? Знаем мы ножницы! Это для отводу. Ножницы? Пулеметы, а не ножницы"...

Напрасно домашние объясняли, в чем дело: ржавые, старые садовые, тупые! Ничто не помогало, и все грознее раздавалось грозное слово. Вдруг случайно кто-то из них, подойдя к окну, поднял книжку: ножницы были вторично "найжены". Перед этим немым ответом смолкли, - поверили. Да, поверили, но взяли: ножницы вторично "пропали"...

Они, конечно, туда ушли, - как предмет презрительно-ненавистный. Но как не смогла тринадцатилетняя ржавчина снять с них того любовно-трудоого налета, который был их украшением, так не снимет его и ненависть похитителей: они его не видят, но он остался... В этой истории вторая случайность оказалась изменницей. Потому невзлюбил я и первую: уж лучше бы оставались там лежать, ржавели бы под мертвым листом...

Не знаю, много ли из моих читателей (да вообще из людей) склонны уделять внимание той стороне жизни, которую определяю общим именем совпадений. Есть, конечно, люди, случайностью интересующиеся, но они же ее и искажают. Они не только верят, они веруют в случайность и в ее пророчески необманную силу. Это люди, одержимые предрассудками. Что такое предрассудок, как не отмеченное, закрепленное и в закон возведенное совпадение? Но это есть насилие, это есть предьявление требования. Они ставят случайность в причинную зависимость от какого-нибудь постороннего явления и этой зависимостью уничтожают самую сущность случайности, придавая ей характер обязательный. Но большинство, думаю, - даже уверен, - на случайностях не останавливается, проходит мимо и даже смеется над теми, кто не только останавливается, но еще и задумывается над такими пустяками, говорит, пишет о них. Однако есть случаи, когда сама жизнь с какой-то особенной яркостью выставляет их напоказ, как будто тычет нам их в глаза. Именно "в глаза". Только послушайте.

Я был у известного глазного врача Дюфура в Лозанне. На стене его кабинета я увидел мужской портрет, который приковал мое внимание. Во-первых, само по себе редко прекрасное лицо, во-вторых, удивительно похожее на покойного Владимира Соловьева.

- Кто это? - спросил я доктора.

- О, это удивительный человек. К сожалению рано скончавшийся. Молодой немецкий окулист, но в краткую свою

жизнь успевший сделать замечательное открытие, давшее возможность излечивать одну глазную болезнь, которая до него считалась неизлечимой... И, представьте, какая странная его биография. Он был подкидыш. Его положили на ступени крыльца одного из принцев Гогенцоллернского дома. Принц принял его, дал ему отличное воспитание. Он пошел по медицинской части, стал окулистом, сделал свое замечательное открытие и умер совсем молодым. Принц на много лет пережил своего приемыша. В преклонном возрасте он заболевает той самой глазной болезнью, и его вылечивают тем самым способом, который был открыт его приемышем...

Какой красивый случай заgrabной благодарности. И как нравится мне это полное отсутствие каких-нибудь сверхестественных вмешательств, - никаких духов, никаких предзнаменований, не говоря уже о вертящихся и постукивающих столах. Ничего выманенного, никакого надрыва в этой благодарности:

Все тихо, просто было в ней. [36]

Да, мимо такого случая уже пройти нельзя, не призадумавшись. Но вообще скажу, - для тех, кто с усмешкой от этого рода явлений отмахиваются, - скажу, что я ведь ни разу и не придавал ни моим наблюдениям, ни моим ощущениям какую-либо объективную ценность. Оценка всего этого лежит в области субъективной, зависит от темперамента, личной впечатлительности, того уклона, какой принимает наблюдательность того или другого человека. Но думаю, что менее занимательна жизнь того, кто проходит мимо, нежели того, кто заметит, остановится и призадумается, а то и рассмеется. Смех, горячий, умный, столько краски придает. Приходит мне на память, как однажды Владимир Соловьев читал лекцию о Тютчеве (он только что тогда написал свою знаменитую характеристику, послужившую исходной точкой дальнейших исследований о поэте). В одном месте лекции он говорил о чередованиях света и мрака: "Эти переходы из тени в свет и из света в тень"... Вдруг на этом самом слове тухнет электричество, зал погружен в недоумевающую темноту, и среди всеобщего озадаченного молчания - громкий, искренний, радующийся смех Владимира Соловьева... Мне думается, что в смене явлений мимолетных, разрозненных, из которых складывается ожерелье жизни, эти случаи есть как бы окрики; не окрики из другого мира, как, может быть, думают некоторые, но окрики природы нашему невниманию, нашей зрительной беглости, своего рода "Memento". А, может быть, и даже вероятнее всего, - не природа, т.е. не извне нас окликает, а изнутри, наш же голос, один из наших внутренних голосов. Впечатлительность наша окликает наш разум: "Эй, прохаживай, остановись!" Вам не кажется, что, в порядке одушевленного чередования явлений, это то же, что в порядке одушевленном - улыбка? Улыбкой этой дайте закончить мой рассказ, - "даже не рассказ".

Одна моя знакомая дама ехала из Москвы в Петербург. Ехала в третьем классе. На одной из станций входит и садится напротив нее молодой парень лет шестнадцати с сестренкой. Прелестным своим лицом, ясными глазами и курчавыми белокурыми волосами он сразу понравился моей знакомой; а тем, как уложил головку сонной девочки себе на колени, как оберегал ее сон, он сразу же завоевал ее расположение. Разговорились: он маляр, живет с матерью и сестрой в Петербурге на Пряжке, ездил за девочкой к бабушке и теперь везет ее домой. Перед отъездом захотелось моей даме сделать ему на прощание подарок, - положила ему в руку три рубля.

- Что вы, зачем же, это не надо...

- Не тебе, - спохватилась барыня, - сестренке на гостинцы.

На другое утро, рассказывала мне моя знакомая, пошла она к своей приятельнице. На Конногвардейском бульваре жила, высоко, в четвертом этаже. Из окон вид великолепный; чудное солнечное утро. Сидят у окна, разговаривают, - вдруг снизу за окном что-то поднимается, и выплывает большая малярная кисть и за ней милое белокурое лицо!..

- Я раскрыла глаза, - так и обомлела.

- А он что?

- Улыбнулся!..

Везинэ
30 Сентября 1923.

V

ПРЕДЕЛЫ И БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ.

Какое у Пушкина легкое прикосновение к смерти! Как она у него не страшна! Как он ее сводит до чего-то незаметного, что поглощается жизнью! С двух сторон подходит жизнь, за жизнью смерти и не ощущаешь. "Младая жизнь", "вечная краса", игра "у гробового входа". Смерть - мгновение такой краткости, что почти не существует; предел земной упраздняется, он лишь прохождение, и беспредельность беспредельная раскрывается за тем, что принято называть последним мгновением.

И как это возможно человеку до такой степени любить жизнь и в то же время до такой степени легко ее отдавать! И не думайте, что это была легкость отношения к смерти, то есть к тайне ее. Всю глубину он понимал и чувствовал, и перед ликом смерти, хотя и на одно мгновенье, но набегала тень, склонялась голова и омрачались очи. Так смотрел он на лежащий на снегу труп Ленского:

Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.

Знаю от очевидцев, что Лев Толстой со слезами на глазах читал эти два стиха, считая их высочайшими среди стихов высочайшего поэта. И подумать, что это написал тот же, кто так любил жизнь, не только жизнь, но дурман жизни. Да, тот же самый, который был навсегда поэтом, к чему бы ни прикасался: поэт, когда говорит о смерти, поэтом и остается, когда говорит, что

Еще бокалов жажда просит
Залить горячий жир котлет.

Но все это исчезает, и "горячий жир котлет", и "томный мир его чела", все расходится, как дым, как пар, расходится в раскрывающейся вечности, разливается в посмертном сиянии "равнодушной природы".

Здесь, конечно (сделаем маленькое отступление), здесь говорю не о человеке - Пушкине. Не об Александре Сергеевиче, которого мы с вами и не знаем. Говорю о поэте, о том, который в книге. Как я вообще не люблю, когда по стихам восстанавливают образ человека. Какая-то реставрация римского Форума. К чему это, и разве это интересно? А главное, разве это может быть живой, цельный образ? Да ведь поэт не может быть без противоречий, - разве может? Ведь он пишет обо всем, он пишет все что чувствует об этом всем, на все откликается, ибо

Dichter lieben nicht zu schweigen. [37]
[Поэты не любят молчать (нем.).]

И если он поэт, то пишет в последней степени напряжения, в каждое мгновение он весь, он непреложен, он вещает истину данного мгновенья, но навсегда. Эта молниеносность провозглашения, равно не думающая ни о последствиях, ни об ответственности, вот в чем яркость и сила; но в этом же и трудность, скажу даже - невозможность, определения личности; а для самого поэта - какая мучительность в чередованиях этих глубин, готовых одна от другой отказаться! Вы не думаете, что к нему, к самому поэту можно отнести то, что "простивший" поэт говорит той, которая его измучила? -

Ich san die Schlang, die dir am Herzen fziBt,
Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist. [38]
[Я видел змею, что сосала твое сердце,
Я видел, дитя, как безмерно ты страдаешь (нем.).]

Разнообразие откликов, разнообразие освещений, - да ведь в этом и прелесть, и сила. Легкость впечатления, непосредственность провозглашения, - да ведь в этом и глубина, и убедительность. И из этого вы хотите составить портрет, построить характер? Да кто скажет, какие среди всех этих чередований страшные в душе поэта бывают пустоты, - когда

обольщение увековечено в стихе, а самообольщение прошло; когда соблазненный читатель ликует, а соблазнивший поэт уже занят другим и чувствует иное, и по-иному горит, и вздыхает по-иному? Ведь каждую минуту творчества ему дорого именно то, о чем пишет, или, вернее, - то, что пишет. Все мимолетности, все безвозвратности он переносит в вечность, делает их навсегда неизбежными и всегда возвратимыми. И нет бренности, которая бы не была ему дорога. Он все принимает, - если он поэт, - он, как некая сокровищница брэнностей. И из этого вы хотите вычитать человека? Бросьте! Нет, не об Александре Сергеевиче, а о Пушкине.

Есть некая странная, скажу - античная в Пушкине холодность. Не знаю, чувствуете ли вы ее? Холодность, но, конечно, не сухость. Именно в Пушкине видим разницу между холодностью и сухостью, все равно как между чувством и чувствительностью. Как бы близко он ни подошел к вам, он никогда не возьмет вас под руку: в нем нет запанибрательства. Как сочетать эту холодность с горячим отношением к жизни? И как сочетать эту глубину лирики с отсутствием всякого копания в самом себе? Непревзойденные сочетания и никем не осуществленная полнота, круглота, сферичность. Никогда радости без грубости, никогда горя без надежды. Проливной дождь при ярком солнечном сиянии - вот Пушкин. Удивительное равновесие отражений. Но всякое равновесие холодно, даже равновесие самых горячих ощущений, самых жгучих колебаний. И это равновесие есть та нить, что проходит из прошлого в вечность сквозь игольное ушко смерти. Но и само игольное ушко у него упразднено. Нигде я этого упразднения не чувствую, как в "Похоронной Песне" из "Песен Западных Славян". Выписываю: мне столь же приятно переписать, как вам перечитать.

С Богом, в дальнюю дорогу!
Путь найдешь ты, слава Богу.
Светит месяц; ночь ясна;
Чарка выпита до дна.

"Дальняя дорога", - так представляется ему загробие. И как легко! Так у нас, бывало, перед отъездом из деревни, глядя в окно, говорили: "Хорошо поедете, холодком поедете". Не труднее этого и переселение туда: чуть не "лошади поданы". И какое продолжение земных мерок в безмерности потустороннего: "Светит месяц", "ночь ясна". Я бы сказал - геоморфизм, подобно тому, как есть антропоморфизм, - когда мифология создавала богов по человеческому образу; то человекообразие, а то земнообразие. Бесконечное - по образу конечного, безмерное по мерке мерного. Как же и вместить ограниченному разуму неподдающееся уразумению безграничие? Иначе не вместить, как при помощи знакомых образов; - отмеренных, отсчитанных,

прожитых, испытанных. И вот, сливается образ земной со значением неземным, и все приобретает силу двойственности. "Чарка выпита до дна". Тоже двойственность. Какая чарка? Та, что, пустая, поставлена на стол и по обычаю опрокинута донышком вверх, или та, в которой был сок земной жизни и выпита до последней капли? Какая чарка, - та ли, из которой больше не хочет пить, или та, из которой больше не может пить? Ну, какая бы ни была, а только - "пора ехать". Еще два слова напутствия:

Пуля легче лихорадки;
Волен умер ты, как жил.
Враг твой мчался без оглядки;
Но твой сын его убил.

"Пуля легче". Да, все легко. Какое желание утешить. Ведь ему приятно будет знать, что было в последнюю его минуту, или, вернее, в первые минуты его бессознания. "Пуля легче лихорадки". Да разве может быть не легко это дивное текучее чередование буквы Л? ЛЯ, ЛЕ, ЛИ. Эта одинаковость звуковая, которая сливает обе сравниваемые величины (пуля, лихорадка) в среднем члене, в решающем понятии, в заливающим качестве легкости, - это действительно легко. Самый легкий саван в сравнении с этим тяжел. И как хорошо слово "убил" заканчивает картину. Три стиха длительного действия, в безвремении продолжающегося (легче, жил, мчался), и четвертый стих четкий, ставящий точку: последняя предельность в жизни того, кто, перейдя пределы, вступил в беспредельное. И затем - поручения переселяющемуся путешественнику:

Вспоминай нас за могилой;
Коль сойдется как-нибудь,
От меня отцу, брат милый,
Поклониться не забудь!
Ты скажи ему, что рана
У меня уж зажила:
Я здоров - и сына Яна
Мне хозяйка родила.
Деду в честь он назван Яном:
Умный мальчик у меня;
Уж владеет ятаганом
И стреляет из ружья.
Дочь моя живет в Лизгоре;
С мужем ей не скучно там;
Тварк ушел давно уж в море,
Жив иль нет, - узнаешь сам.

Знаете ли вы что-нибудь более волнующее, чем величие этой обыденщины? Знаете ли что-нибудь более необыденное, чем простота этого величия? Какая благодать, какое примирение в

этом общении земли с небом. И как земное все уменьшено до степени ничтожества перед бесконечностью того, во что оно вливается, к чему служит лишь преддверием. И всем предстоит то же: и Тварку, и дочери, и мужу, и умному мальчику Яну, и хозяйке, и самому ему, - всем им, и не только им. Так быть должно, так не быть не может. Таков порядок, таков и обычай. Вся жизнь земная - один обычай, и выход из нее тоже один из обычаев. Есть в неизменности обычая смиряющая и вместе утешающая сила. Поражает во всем этом отсутствие слезы, - никакого причитания. Какое сочетание нежности и мужественности. И даже на этом отсутствии нежности как будто слишком долго человек остановился, - загляделся, заслушался, замечтался, чуть не нюни распустил! Чего там еще!.. Ну, еще раз:

С Богом, в дальнюю дорогу!
Путь найдешь ты, слава Богу.
Светит месяц; ночь ясна;
Чарка выпита до дна.

Проводил. И даже вослед глядеть не стоит: по этой "дороге" пыли нет...

Не знаю, как вы, а меня ни одно стихотворение Пушкина так не выносит за пределы, как это. Предел упразднен, стена опрокинута, смерть продырявлена. Предельное осталось позади, или нет, - сливается с беспредельным. "S'ingolfa nell'infinito", сказал Тасс о реке, вливающейся в океан. Замечательно здесь слово "s'ingolfa", от слова "golfo" - "гавань": ей бесконечность служит гаванью. Не всякий способен на такое упразднение предельности, но я думаю, что настоящее углубленное мышление немислимо для того, для кого пределы имеют объективную ценность. Мысль должна перешагнуть, а перешагнуть можно только через предрассудок. Но предрассудки так же стары, как и мудрость. По крайней мере, вот что я читал у одного китайского мудреца. А что же старее китайских мудрецов?

"Размеры безграничны; время бесконечно. Условия не неизменны; пределы не конечны".

"Таким образом, мудрец смотрит в пространство, и не считает малое слишком малым, а великое слишком большим, - потому что он знает, что нет границ размерам".

"Он оглядывается на прошлое и не печалится о том, что далеко, и не радуется тому, что близко, - потому что он знает, что время бесконечно".

"Он испытывает успех и разочарование, но не радуется удаче и не печалится неуспеху, - потому что знает, что условия не неизменны".

"Тот, кто действительно познал основу бытия, ни жизни особенно не радуется, ни смерти особенно не страшится, - потому что он знает, что пределы не конечны".

Так китайский мудрец уничтожает потусторонность не тою материалистической слепотою, которая не хочет посмотреть за предел, а тем упорно-вдумчивым взглядом, который упорством своим упраздняет предел...

К числу пределов относится и то нечто странное, что люди называют возрастом. Конечно, есть физическая сторона, всегда стоящая в зависимости от состояния здоровья. Но само по себе количество годов разве есть нечто осязаемое, весомое? Дух не имеет "возраста". Я по крайней мере решил, что умру моложе, чем родился. Эта отметка пределов там, где их нет, эта покачивающаяся головой покорность перед тем, что не наступало, - какая трата жизни в этом, какое самоумерщвление прежде смерти.

С этой же нежной склонностью к предельности связано и другое, не менее противное понятие: итог. Вы понимаете это, - "итоги"? Человек, дошедший до известного "возраста" и объявляющий читателю в предисловии, что он решил подвести "итоги" своего жизненного "опыта". Какой ужас! Какой халат! Какие туфли!!! И какой же "итог" может быть, когда цепь слагаемых никогда не прекращается? Нет, не признаю итога, - люблю плюс, всегда плюс, ждущий своего слагаемого; не люблю точку, - люблю вопросительный знак; ненавижу закрытую дверь, - обожаю раскрытое окно. И возраста не люблю, - разве жизнь имеет возраст? Все это остановки, перегородки. Зачем? Ведь пределов можно настроить так много, а беспредельность - одна...

Но так уж устроен человек, и так складываются условия, им создаваемые, что перегородки и множатся, и высятся. Вся наша жизнь, собственно, очерчена, переполосана пределами. Кроваво выступили на поверхности человечества пределы классовые и национальные. В них задыхается наше сознание, и мы ищем, мы ловим, - как заключенный ловит сквозь окно луч солнца, сквозь форточку струю воздуха, - мы ловим всякое проявление жизненного единства. Бывают, редко, но бывают случаи его подтверждения, и тогда это праздники, незабываемые праздники духа. Вот один такой праздник.

Зимой 1923 года восхитительная Фелия Литвин давала в Париже концерт. Она, между прочим пела всю "Dichterliebe" Шумана, по-французски, в том числе "Ich grolle nicht". Французское "J'ai pardonne", конечно, лучше передает удивительный текст оригинала, нежели русское "Я не сержусь". У нее эта нота прощения с особенной, безгоречной щедростью проникала дивную музыку, и каждый звук был полон этим забвением перенесенных страданий. И тем не менее, думал я, - как мало перевод передает: все в ней, а не во французских словах. Она прощает, она забывает, не помнит обиду, слезами своих ран омывает ранившую ее руку и тяжесть злопамятства заменяет радостью забвения. Да, она опрокинула пределы и вышла на простор. Когда она кончила, - среди бури рукоплесканий мне хотелось крикнуть: "Genereuse!"

[*"Превосходно!"*] Понемногу буря смолкла: видно было, что она готовится повторить. Но тут произошло нечто неслыханное. Среди молчания вдруг раздались слова: *"Voulez-vous maintenant me permettre de vous le chanter en allemand?"* [*"Не позволите ли теперь спеть это по-немецки?"*] Не могу передать впечатление той минуты молчания, которая за этим последовала. Это было в самый разгар Рурских осложнений и добрососедского человеконенавистничества. В воздухе повис вопрос, - я понял, - вопрос человеческого достоинства. Сколько это длилось, не знаю, не помню, но ответ прорвался громом разрешительных рукоплесканий. Это, конечно, один из самых памятных мне праздников духа. Здесь были опрокинуты пределы, и она за собой вывела в беспредельность...

Как удивительно все это сочеталось вместе. Что иное, кроме этой чудной Шумановской страницы, с гордо-примирительными Гейневскими словами, могло осуществить ту победу духа? Кому же, как не этой музыке, каким словам, как не этим, вывести толпу из закостенелости того, что Владимир Соловьев называл - "зоологический патриотизм" и "национальный каннибализм"? Эта удивительная вещь Шумана стоит совершенно отдельно во всей музыкальной литературе. Я бы сказал, что она единственная, если бы не было удивительного "Для берегов отчизны дальней" Бородина. Вот две вещи, одна на великолепные слова Гейне, другая на дивные слова Пушкина, одна в мажоре, другая в миноре, обе до последней степени каждая в духе своего народа, и обе, при всей народности своей, - классические в самом незыблемом, неоспоримом, вечном смысле этого слова. Они тоже - вышли за пределы человеческих делений.

Заговорив о музыке по поводу пределов, не могу не упомянуть одну навсегда запечатлевшуюся мне картину. Наш известный певец, тенор Александрович, поет сейчас по всей Европе циклы русской песни. "Откуда вы достаете ноты? - спрашиваю я его: ведь это так трудно; из России достать нельзя, да и что же там осталось? Немцы во время войны уничтожили в Лейпциге доски беляевских изданий... Откуда берете вы ноты?" "А я из России с собой привез. От Минска до границы мы с женой сани наняли: шестьдесят верст лесами и болотами. И вот, пока мы по колено в снегу шли, рядом с нами, на санях, ехал огромный тюк с нотами"... Что скажете об этой картине? Человек, сквозь снежные сугробы, из чащи лесов и болот спасающий поющую душу своей земли, чтобы из пределов родины вынести ее в мировую беспредельность...

Да вообще, из всех творений человека музыка больше всего способна выносить за пределы. Развиваясь в одном только времени, она упраздняет пространство: вместо двух категорий, в которых мы живем, - только одна. И упразднена та категория, которая больше всех пределами грешит. Вместо трех измерений, в которых мы живем, - только одна - длина. Когда мы в музыке пребываем, для нас не существует ни "где?", ни "откуда?", ни "куда?": музыка есть торжествующее "нигде". Но и единственное

музыкальное измерение, - длина, - развивается не в пространстве, а во времени. Не отвечая на вопрос "когда?", отмечая понятие "никогда", музыка есть торжествующее "всегда". Нигде и всегда. Этими двумя понятиями упраздняются: пространство целиком, а во времени - пределы. Здесь же мы прикасаемся к близости музыки со светом. Свет есть наименьшая телесность в пространстве, в том, что мы воспринимаем зрением; музыка есть наибольшая телесность во времени, в том, что мы воспринимаем слухом. Вот почему в изображении невидимого, бесплотного мира живописцы прибегали к сочетанию света и музыки; вот почему в картинах вечного блаженства видим ангелов, в солнечных лучах играющих на музыкальных инструментах. Свет, как наименьшая пространственность, и звук, как осязаемая длительность, и сочетание их - как наипростейшая зрительно-слуховая формула вечности, беспредельности.

Трудны некоторые словесные изображения. "Беспредельное", "бесконечное", "безвременное" - все это не определения, а лишь отрицания земных определений. Один мой маленький племянник вернулся из зоологического сада: "Ну, папа, какого я странного зверя видел! Вроде не-собаки". Так мы определяем новое старым, неведомое ведомым, непостижимое постигаемым. Так мы и беспредельность - измеряем! Измеряем отсутствием предельных вех. Впрочем, иногда для уразумения малопонятного прибегаем и к сравнению. Так, Вольтер говорил, что он понимает бесконечность, созерцая человеческую глупость...

Одно из труднейших для понимания слов - слово "бесчисленный". Обычно мы его употребляем в смысле - такой, которого считать нельзя (значит, такой, который имеет число). Но если возьмем слово в порядке аналогии с такими словами, как "беспредельный", "бесконечный", то оно будет значить - такой, который не имеет числа. Это превосходит мое земное понимание больше даже, нежели отсутствие пределов и концов. Без числа! На числе построена вселенная. "Отними у предмета число, - сказал Блаженный Августин, - останется прах". Вселенная тоже "предмет", и выйти мыслью из власти этого "предмета" свыше наших сил. Такое существование вне условий не укладывается в разум. Во всей известной мне поэзии знаю лишь четыре строки Тютчева, где существование мыслится в наибольшей возможности отрешения от условий пространства, времени и тяжести, - они сданы светом:

Душа хотела б быть звездой, -
Но не тогда, как с неба полуночи
Сии светила, как живые очи,
Глядят на сонный мир земной, -
Но днем, когда сокрытые как дымом
Палящих солнечных лучей,
Они, как божества, горят светлей
В эфире чистом и незримом.

Здесь вся материальность существования съедена светом, пределы в свете тонут, и предельность светом поглощается. В земных условиях существования свет, конечно, больше всего дает ощущение отсутствия пределов и ближе всего подводит к беспредельности. В строках Тютчева много уничтожающих сил: светила скрыты дымом лучей, солнечные лучи - палящие, эфир незрим; и несмотря на все это скрывающее, съедающее, сжигающее, испепеляющее, - бытие подтверждается: нет зримости, но есть знаемость. Знаемость эта рождает в нас уверенность, уверенность в бытии светил, светом поглощаемых. И это, я думаю, самая сильная картина беспредельности, какую можем зреть в пределах земных.

Везинэ
28 Сентября 1923.

VI

ОДИНОЧЕСТВО

Как утомителен звук человеческих голосов! Не шум толпы, не вокзал или биржа, или митинг, а несколько человек в одной комнате, и даже не одновременно говорящих. Как это утомительно! А когда при этом вам ставятся вопросы! Все готов отдать, только бы минуту молчания, одиночества, а тут приходится отвечать. На меня иногда это производит такое впечатление, как будто у меня в голове катушки, на них намотаны на каждой своя нитка, а кончики этих ниток наружу, на лбу торчат. И вот, каждый вопрос - это как будто берет человек такую ниточку за кончик, вытаскивает и к столу прибавляет гвоздиком: каждый вопрос это, как гвоздь, которым кончик ниточки пригвождается к столу. И надо отвечать, а если не ответишь, то ниточка так и останется пригвожденная и двинутся нельзя. А как ответил, так кончик освобождается, и ниточка сама на катушку закручивается и обратно втягивается. Вот какое мученье человеческие голоса. Понятно блаженство одиночества в такие минуты .

Впрочем условимся в значении слов. Одиночество не значит отсутствие людей. Ведь можно и среди людей, можно в обществе чувствовать себя одиноким. И вот именно это и есть то, что обуславливает утомительность, - одиночество в обществе. Когда выдыхается всякая внутренняя связь с окружающими, - вот тогда голоса перестают быть носителями мысли, а становятся лишь носителями звука в разных степенях напряжения. Вы слышите интонации, скорость, медленность, большую или меньшую громкость, но вы совершенно безразличны к содержанию, и, окруженные себе подобными, вы умственно одиноки. И когда я сказал, что в такие минуты все готов отдать за минуту

одиночества, это не совсем верно. Надо бы сказать наоборот: готов отдать все, только бы уйти из этого одиночества.

Приходится, очевидно, слову "одиночество" дать два значения. Одно одиночество, так сказать, численное, арифметическое, когда я один; другое одиночество нравственное, умственное, - когда я, хотя и не один, а одинок. В первом случае я со своими мыслями, я пребываю целиком в своем мире, значит, я в одиночестве не одинок. Во втором случае я в чужом мире, среди чужих мыслей и потому - в неодинокестве одинок.

Возьмите, например, отшельника: он в своей келье не одинок, а в гостиной, среди светской болтовни, очевидно, одинок. Неправильно разве говорю, что слово "одиночество" имеет два значения? Но вот что любопытно. Для некоторых людей оба одиночества совпадают, т.е. когда он один, тогда же чувствует он себя одиноким; а для других наоборот, - между обоими одиночествами разрыв, они несовместимы: когда он один, тогда он не одинок, а одиночество он ощущает, когда он на людях. Предоставляю всякому положить на весы сравнительную ценность этих двух пониманий и постараться разрешить, - кто же из двух больше страдает: "человек общества", когда он один, или человек, любящий одиночество, когда он в "обществе"...

Человек второго типа в этих случаях одним лишь спасается: наблюдательностью. Какой друг, какой верный союзник духовного одиночества - наблюдательность! Какой наперсник! А когда к наблюдательности еще прибавляется юмор! Вот компания! Да, разве может быть что лучше? Какое общество заменит это? Ведь юмор - это вторичная ценность явлений, субъективная ценность того, что я вижу, ценность, которой нет в природе, но которую я даю явлениям. Юмор есть некая переоценка явлений, проведение их под другим углом, освещение другим лучом. И этот луч всегда смягченного света; в нем нежность выбора, тонкость осторожности, благодушие снисходительности, и все сливается в улыбке смягчающего обстоятельства.

Какая удивительная в юморе способность к перерождению явлений, или, собственно, не явлений, а нашего восприятия явлений, - в конце концов, перерождения нас самих. Читая разговор Чичикова с Коробочкой, думали ли вы когда-нибудь, что вы и сами могли бы быть на месте Чичикова, и с вас бы лил третий и девятый пот от этой тупой бестолковости, что вы бы готовы были кулаком хватить по этому лбу, так хватить, что она и не очнулась бы (и присяжные бы оправдали). Но вот, пока читаете, ни капли злобного нетерпения в вас нет, - одна улыбка, одно наслаждение. Ведь наслаждение тем самым, что в жизни вас привело бы в состояние каленого железа. Что же произошло? Юмор вас переродил, из гнева перестроил на благодушие. Юмор как бы двойит явление в нашей оценке и, заслоня раздражающую действительность, выдвигает новую, творчески созданную

ценность явлений. Естественно, что становится дорогим товарищем в жизни этот удвоитель жизни, и что никогда вы не одни, когда есть в вас склонность к юмору.

Но юмор имеет и другое еще значение, не по отношению только к самому человеку, а в качестве связующего начала, как мост от человека к человеку. Ведь никакая скука не скучна, когда есть с кем переглянуться, перемигнуться. Эти минуты - это как бы подчеркивание жизни, это курсив житейского текста. Эта встреча двух юмористов создает ту почву однородности, на которой два мало знакомых человека вдруг находят основу к сближению: это есть первый залог к полному взаимопониманию, то есть, когда этого нет, то до окончательного понимания не дойдет. В ком есть юмор, никогда не сойдется с тем, у кого его нет. Но тот, у кого его нет, знает ценность его в смысле связующей силы и не гнушается приемом перемигивания, когда хочет поймать чужую благосклонность: игра в искренность, - не поддавайтесь.

Юмор, сказал я, перебрасывает мост от человека к человеку. В этом смысл его общественной роли. Сколько ораторов признавались, что только после того, как им удавалось вызвать смех аудитории, они чувствовали, что завладели ей, - уже не были одиноки. В юморе сливаются разности людские, это есть покров, примиряющий, утишающий, и я вполне понимаю, почему в большевицкой Москве не было улыбки на лицах: не только от нужды, от голода и холода, а и у тех, даже главным образом у тех, кто были против нужды более обеспечены, нежели другие - у коммунистов никогда не было улыбки. Скажу более, - на лицах оскорбляемых чаще видал улыбку, чем на лицах оскорбителей. Естественно, - они должны ненавидеть юмор, как начало любви, как одну из форм прощения. Для них юмор - это покров, под которым сглаживаются те грани, на подчеркивании которых они строят свое отношение к людям. Никакая классовость, никакая партийность с юмором несовместимы; они должны перед юмором растаять, "аки воск от лица огня". Ну как же классовости и партийности выдержать прикосновение юмора, когда даже застенчивость перед ним испаряется. Помню, в лазарете один раненый, очень застенчивый и потому ко мне относившийся очень несмело, собрался с духом, попросил отстучать ему на машинке письмо к отцу. Диктует: "И прошу передать поклон супруге моей"... Я перебиваю, как будто продолжаю: "Акулине". "Как вы знаете?" Хохот по всей палате, и в этом хохоте потонула и отчужденность моего застенчивого солдата... Да, юмор - антикоммунистическое семя, это персидский порошок человеконенавистничеству. И, конечно, те, кто задается целью рыть пропасти между людьми, должны изгонять из жизни то, что обладает такой силой сближения. Кто творит дело расторжения, не может любить юмор.

И не только исчезновение юмора подметил я в коммунистической молодежи; вместе с юмором уходит и его постоянный спутник - общительность, а с нею и приветливость.

В булочной, на Пантелеймоновской в Петербурге, поздно вечером в декабре 1921 года. Перед самым закрытием магазина зашел булку купить. Стоит в магазине молодой человек новой формации, в шинели, в папаче, белокурый, толстые губы, белесые глаза, как стеклянные, - холодные, черствые. Дама-продавщица вышла на мороз, чтобы перед закрытием взять из витрины выставленное печенье. С огромным нагруженным подносом останавливается перед стеклянной дверью магазина, - обе руки заняты. Молодой человек, ближе меня стоявший к двери, - хоть бы двинулся. Я тогда кинулся мимо него и отворил дверь. Впустил продавщицу и, захлопнув снова дверь, говорю:

- Да, молодой человек, в наше время почиталось за счастье даме услужить.

С каменно-недвижным лицом он произнес:

- Крррайне неуместное ваше замечание.

- Простите, никакого замечания, а просто вспомнил свое время.

- Крррайне неуместное срравнение.

- Никакого сравнения, а просто воспоминание. Будете моих лет, тоже будете вспоминать.

Как тумба, он стоял, и стеклянный взор выражал одно, отрицание, одно холодное отталкивание всяких человеческих отношений... Я вышел на щиплющий, кусающий, потрескивающий мороз...

Что ж? Я и об этом сейчас вспоминаю с улыбкой. Но вспоминаю и слова Ювенала: "Difficile est satiram non scribere" (Трудно не писать сатиру)...

Велика общественная сила улыбки. Животные не улыбаются, и исчезновение улыбки в людях есть признак приближения их к животному состоянию. Недаром у англичан во время войны везде, в окопах, на батареях, на кораблях, было написано: "Keep smiling" (Не переставай улыбаться). Да, - улыбка, как противодействие страху и зверству... Конечно, эта, если можно так сказать, - дисциплинарная улыбка не представляет собою то, что есть в улыбке ценнейшего: непосредственность, произвольность, что французы называют - spontaneite. В безответственности человека за то просветление, которое заливает его лицо, истинная ценность улыбки. Она поднимается со дна, точно родник высylает ее на поверхность, и, чем меньше человек сам повинен в улыбке, тем она драгоценнее. В этом преимущество ребенка: ребенок никогда не улыбнется, если он не чувствует удовольствия или радости. Улыбка ребенка лишена обмана, потому что лишена усилия; в нем нет намерения улыбнуться. Впоследствии жизнь засоряет тот родник, прокладывает густые пласты, и не так легко родник выносит на поверхность сияющий разлив своего избытка... Но есть люди, есть женщины, которые, совершенно утратив способность и даже охоту к улыбке, продолжают улыбаться! Ничего не может быть противнее этой лжи, этой хулы. У них родник давно иссяк и улыбка есть своего рода поливка. Зато, что может быть

драгоценнее, умильнее, как когда из-под тины житейской, прорвав броню страдания, поднимается со дна сияние, заливающее всю поверхность глубокого горя? Много в природе прекрасного,

Но и в избытке упоенья
Нет упоения сильней -
Одной улыбки умиленья
Измученной души твоей. [39]

Улыбка с юмором неразлучна. Даже когда нет видимой, мускульной улыбки, есть внутренняя, и она чувствуется. Тогда как деланная улыбка тем противна, что под ней чувствуется отсутствие внутренней. О, как ужасны люди, не знающие юмора! Люди, видящие один "буквальный" смысл явлений! Человек без юмора, - что фонарь без света. Бегите их: вот оно настоящее одиночество. Бегите от них, - на них и наблюдательность притупляется, ей нечего наблюдать. Бегите, идите на улицу...

А я, правда, на улице менее одинок, чем в гостиной. И как все полно интереса! На улице наблюдательность немножко как будто смягчается, теряет остроту. Оттого ли, что нет причины спорить, нет возможности воздействовать, что никому дела нет до вас, а главное, что никто вас ни в чем не хочет убедить, - только на улице наблюдатель во мне понемногу уступает место зрителю. Смена явлений не допускает последовательности мыслей и выводов, и улица, превращая меня в зрителя, сама плывет, как зрелище.

Зрелище жизни! Кто те, кто сохраняет способность этого зрительства и радость, им доставляемую? Ведь это радость детских глаз. Подумайте только, - сохранить свои детские глаза! Какое сокровище сравнится с этим? Тот же маленький племянник мой, о котором упоминал, вернулся однажды с прогулки по Парижу: "Ты знаешь, папа, что я видел? Карету, которая ехала без лошадей! И знаешь, чем она двигалась? Электричеством, просто электричеством". Вот эта "простота" явлений, опрощение великих законов природы, когда они проникают ежедневную нашу жизнь, когда удивление превращается в привычку, а привычка перестает удивлять, - вот что я называю сохранением детских глаз. И у кого это есть, тот никогда не одинок.

Не знаю, достаточно ли обрисовываются смыслы слова "одиночество". Я думаю, нам придется еще разложить это понятие: русский язык так богат. Скажем так. Арифметическое понятие - "одиночество", то есть когда человек численно один, один сам с собой. Когда он в обществе, но чувствует свою неслиянность с окружающими, это - "одинокость". Не правда ли, это уже совсем другое? Но когда он хочет уйти от одинокости, обрести себя, - чего он тогда ищет? Он из "одинокости" спасается

в "уединение". Вот то ценное, что устраняет физическую численность окружающего и обеспечивает неприкосновенность внутреннего содержания личности. Уединение - великое врачевание. Врачевание от прикосновений, врачевание от Вопроса! Вопрос - враг, разрушитель уединения. Вот в чем отдохновенность улицы: она не спрашивает. В этом же отдохновенность толпы. Почему-то принято толпу считать врагом уединения. Не понимаю. Ведь в толпе нет отдельных личностей, в ней люди пропадают, и мы можем без всякой натяжки сказать, что в толпе нет людей. Как же она может мешать уединению? Да, толпа не спрашивает, откуда ее отдохновенность. Но и грозное же нарушение того, к чему мы привыкли, - когда толпа да вдруг потребует ответа...

Есть в вопросе известная издевательская сила. Учащенный вопрос может превратиться в своего рода пытку. Дети, во многих отношениях мучители, знают и этот способ мучительства. Вы знаете детское "Зачем?" Этот вопрос, который сторожит ваш ответ, чтобы сейчас же за ответом поставить вас перед новым "Зачем?" Собственно ответ ребенку не нужен, он хорошо чувствует, что жизнь не в ответе, а в вопросе. Вопрос силен безразличием к ответу. В одном маленьком городе в окне одного домика висел попугай. Он все повторял: "Как тебя зовут?" Перед окном целый день толпились ребятишки. Их занимал говорящий попугай, которому хотелось знать, как их зовут. Но вы думаете, может быть, что хоть один из них ответил попугаю: Ванька, или Катя, или Мишка? Ни разу. Они все только повторяли его же вопросы: "Попка, как тебя зовут?" Да, мучители дети. И философы при этом. Они знают, а не знают, так чувствуют, что Шиллер сказал:

Nur das Irrtum ist das Leben,
Und das Wissen ist der Tod.
*(В заблуждении лишь жизнь,
А уж знание есть смерть).*

Дети это знают, и вовсе не ждут, что Попка действительно ответит и скажет, как его зовут, и вовсе не намерены и ему сказать, как их зовут: они не хотят знать, не имеют никакого желания ни умереть, ни другого убивать. И вот, стоит трескотня вопросов...

О, звон словесный, как оскорбительно твое трескучее движение! Столь же оскорбительно, как тупая недвижность невнемлющего молчания. И всегда предносится памяти моей наставление митрополита Филарета: "Да не будет слово твое праздно, да не будет молчание твое бессловесно". Правда, восхитительна геометричность этого изречения? И не восхитительна разве полярность его; и два полюса, друг у друга заимствующие свои эпитеты? Не прекрасна разве образная дальность и при этом близость по существу? Ведь именно оттого, что они далеки друг от друга, оттого оба сравниваемые члена так

крепко сливаются в одинаковости. Не поражает вас, как силою этих крайностей сама собой выжимается единственность истины? Или, может быть, вы против крайностей? Зачем вы против крайностей? Бойтесь неправдоподобия? Я знаю, вы все за правдоподобие. Ну что такая за драгоценность - правдоподобие? Термоз мышлению, больше ничего. Вы, может быть, и против геркулесовых столпов? Ну как же можно? Ведь геркулесовы столпы - это самая крайность. А как же быть против крайностей? Все, в особенности всякую ложь, надо доводить до крайности. Из крайности рождается истина. Бэкон сказал, что она гораздо скорее родится из заблуждения, чем из смешения понятий. Поэтому мы должны приветствовать геркулесовы столпы, это врата в истину. Ложь хитрая, она боится договоренности. А ее надо заставить договориться. И когда она во всей яркости наготы своей предстанет, тут и обнаруживается истина. Уверю вас, - в договоренной лжи есть своего рода "Да будет свет!" Нет, нет, ни геркулесовых столпов, ни неправдоподобностей, ни крайностей презирать не надо, а тем более бояться... Но мы, кажется, говорили о вопросе.

Да, вопрос. Всегдашний нарушитель одиночества. Собственно, всякий встречный человек уже вопрос. Чем больше встреч, тем больше вопросительных знаков. Вот почему так благодатна ночь: прекращаются встречи, и вы действительно одни. Когда вы одни, то кажется, что природа вам одному принадлежит. Сочетание одиночества с этим чувством принадлежности дает некое ощущение власти, которое поднимает сознание нашей личности. Самый слабый человек в такие минуты чувствует силу своего Я. В обычных, скажем "денных" условиях, сила нашего Я испытывает умаление от постоянного соприкосновения; только очень сильный человек, внутренне сильный, черпает новую силу в соприкосновении с другими и не испытывает ущерба своей сущности, а слабый еще более слабеет. Эммерсон говорит, что всякий человек есть нечто целое, но когда двое сходятся, то они превращаются в дробь. В ночном одиночестве мы крепки, самый слабый крепнет.

Таково же влияние высот. Все физически стремится книзу: вода течет в долину, растительность сгущается вокруг вод, люди собираются туда же, - внизу людность, вверх одиночество. Вниз тянут нас заботы материальные, вверх зовут интересы духовные. Как человек распределен, - вверх голова, мысль, духовные стремления, внизу желудок, животные стремления, - так вся природа построена в соответствии с этим двойственным делением живущего в ней человека. Горные высоты, обеспечивающие одиночество превыше толпы, дают духовную силу и чистоту. Смотрите вниз с горы: внизу кишит, а чем выше, тем реже жизнь; чем гуще, тем грязнее; чем реже, тем чище. Внизу действие, работа; вверх мысль, созерцание. Вот почему монастыри селились на горах. Там же всегдашний спутник

высоты - даль. Даль недвижна, даль безмолвна, - отсюда спокойствие высот. Красиво наблюдать эту картину разрежения материи, которую являет нам природа на пути восхождения; красиво смотреть,

Как в кадьнице тает у ног божества
Грубый ладан душистой струей. [40]

Соедините теперь безмолвие и спокойствие высоты с безмолвием и спокойствием ночи, - получите усугубленное, удесятенное чувство одиночества. И еще большее одиночество, с еще более усиленным сознанием своего Я, - если в этой ночи, с этой высоты увидим далекую световую картину не одиночной, а сгущенной жизни. Представьте, в темном море окружающей ночи где-нибудь далеко под вами - озеро городских огней. Или - над вами темное небо, усыпанное звездами. Эта численность под вами, эта бесчисленность над вами еще сильнее выделяет вашу единичность. Думаю, что это минуты наибольшего одиночества, которые может дать земля, - одиночество

В тихую звездную ночь... [41]

В эти минуты наше Я поставлено как бы в обратное отношение к внешнему миру, чем то, о котором мы говорили вначале. Помните? Наименьшее одиночество - когда все окружающее как будто вопрошает, требует ответов. Здесь же, на горной вершине, под звездным небом - никакого вопроса к вам, ни откуда, ни от кого, ни от чего. Наоборот, - Я вопрошаю; каждая звезда для меня предмет вопроса, я сам многотысячный вопрос; они же, звезды, смотрят - и не отвечают, не только не спрашивают, но не отвечают! Понимаете ли прелесть неотвеченного? Что может быть несноснее ответа? Ведь ответ есть смерть вопроса, ответ гасит вопрос. Вопрос есть пламя, жизнь, продолжение. Ответ есть конец, это предел, это дно, - то дно, на котором лежит все узанное. И как это знание плоскодонно! Счастье наше, что предмет познания, само познаваемое бездонно. А вдруг бы мы прикоснулись дна!.. Паскаль сказал: "Le silence de ces espaces infinis m'eprouvante". Да, конечно, молчание небесных пространств страшно, - неизвестно, что оно в себе таит. Но представьте, что они бы заговорили, нарушили бы свое молчание, то есть раскрыли бы свою тайну (ибо не думаю, чтобы Паскаль разумел одно только звуковое молчание). Какой ужас! Как плоско упадет весь мир! Ведь конец искания есть конец жизни. Вам не кажется, что это равносильно концу мира? Вы не думаете, что конец мира будет один огромный ОТВЕТ? Нет, - счастье наше, что познаваемое бездонно и потому нами неместимо.

Бездонно звездное небо. О, Фет, певец бездонности звездной!
Зачем жестокое невежество разрушителей лишает меня даже
духовной радости читать тебя! Не вижу твоих песен, наизусть не

знаю, но они есть, их дух звучит во мне, и не могу подумать о бездонной бездне звездной, чтобы не вспомнить того, кто "высмотрел глаза", читая темноту, кто сказал:

Меж теми звездами и мною
Какая-то связь родилась, - и который еще сказал:
Я слушал таинственный хор,
И звезды тихонько дрожали,
И звезды люблю я с тех пор.

Это общение с тысячами, с миллиардами светящихся молчаний поднимает ощущение одиночества до степени слияния с беспредельным космосом. В этом смотреии есть встречное втягивание, поглощение, уничтожение. Встреча смотрящего взора и светящихся звезд одна из восхитительнейших картин мировой геометрии: единое, обнимающее бесчисленность, и бесчисленность, в одном сливающаяся. Эту геометрию дивным образом выразил Платон в стихотворении, которое перевел Владимир Соловьев. Привожу своими словами:

Ты стоишь, смотришь на ночное небо
И любишься тысячами звезд.
О, быть бы мне небом и тысячами очей
Любоваться тобою, звезда моя!

Восхитительна эта геометрия, зараз мировая и личная. Геометрическая фигура в обоих предложениях одна и та же: точка, соединенная с бесчисленным количеством точек. Но в первой картине (он любит небо) - движение снизу вверх и расходящееся; во второй картине (небо любит) - движение сверху вниз и сходящееся. [Говорю "он" для точности передачи платоновского образа: по-гречески, звезда - мужского рода.] И в этой встречности движения, благодаря которой субъект превращается в объект и наоборот, двойственность картины уничтожается, - она из двойственности входит в единство. Одно из наибольших удовлетворений в миросозерцании - эти случаи слияний двойственности в единстве: вверх уходящий предмет и вниз уходящее отражение, вдавленная печать и выдавленный отпечаток, вогнутая матрица и выгнутая медаль, одинаковость угла падения и угла отражения... И когда это проявляется в мире нравственном или в сопоставлениях духовного с материальным, тогда к удовлетворению чисто физико-математическому прибавляется все то, что дает нам "образ". Тут в физику и в геометрию вливается искусство, и тогда удовлетворение получает совсем особый, исчерпывающий характер. И что дает его? По-моему - формула. Формула дает то удовлетворение, в котором познаем слияние.

Формулой, только формулой вливается философия в поэзию; формула та воронка, которою мысль проходит в образ. Где здесь начало, где источник зарождения? Кто скажет? И что раньше:

образ или мысль? Но я думаю, что, коснувшись формулы, мы прикасаемся к самому таинственному зародышу творчества. Думаю, что "вдохновение" есть собственно - посещение формулы. Не выдуманно, не сверху и не снизу и даже, пожалуй, не изнутри, - формула даже не рождается, ибо рождение есть процесс, а формула есть: то не было ее, а то вдруг есть она. Случалось вам на вечернее небо смотреть: чистое небо, а вдруг - звезда. Откуда? Когда? Была или не была? Так вот и формула рождается, - то есть не рождается, а возникает, - на лоне сознания душевного, как на лоне небесном звезда. Немученность, неожиданность и легкость этого рождения сообщают какую-то радость неотчетливости. Люди спрашивают, пристают, знать хотят, чуть не за рецептом идут к поэту! "Как? Когда? Каким образом? Нашли? Придумали? Долго искали?"...

О мир, пойми: певцом во сне открыты
Закон звезды и формула цветка. [42]

Какова настоящая роль геометрии в таинственных путях творчества? Руководит ли она или уже после объясняет, но есть красоты в поэзии, которых мы не можем понять во всей их полноте, если недоступны впечатлениям тех незримых чертежей, которые определяют или в которых выражается наше отношение к обнимающей нас вселенной. Центр и окружность лежат в основе этой мировой геометрии: принцип бесчисленности - в окружности, принцип единичности - в центре. Стремление в едином слить бесчисленное присуще человеку. Не имея возможности познать, вместить в себе, он вмещает в единицу, которая становится носительницей невместимого. Отсюда - символ. Раскинуться человек не может, но сосредоточиться - в его власти. И вот, бессильный охватить окружность, он окружность сосредоточивает в точке. Центр становится вместилищем окружности, вселенная сливается, и алчный взор, подобно взору тысячи звездных очей, успокаивается на одном. Тот же Фет, который вперялся взорами в бездонную звездную бесчисленность, сказал:

Только в мире и есть - этот чистый
Влево бегущий пробор.

Пробор - символ. Символ отказа от возможных достижений, покорности перед необъятным. Между стремлением к необъятному и стремлением сосредоточить себя в едином мечется дух человеческий. Между "Я во всем" и "Все во мне" колеблется неустойчивость его решений.

Когда б не смутное влеченье
Чего-то жаждущей души,
Я здесь остался б наслажденье
Вкушать в неведомой тиши.

Забыл бы всех желаний трепет,
Мечтою б целый мир назвал
И все бы слушал этот лепет,
Все б эти ножки целовал.

"Лепет и ножки" для Пушкина; "Влево бегущий пробор" для Фета; для Платона бесчисленность звездная, сливающаяся в одном смотрящем в небо взоре, - все это есть вселение далекого, недоступного вселенского единства в близкий доступный образ единого существа. Так от устрашающей множественности спасается человек в успокаивающую, усыпляющую, утешающую единственность. Так за недоступность численностей и окружностей находит он возмещение в центральных глубинах своего сердца. За отказ от вселенной единое существо возвращает ему сознание вселенной:

Я умер от счастья, любя тебя страстно.
В объятьях твоих я лежал погребенный.
Воскрес, поцелуем твоим пробужденный, -
И небо увидел в очах твоих ясных. [43]

Наконец, есть то, что мы могли бы назвать - одиночество вдвоем. Разумею не совместное пребывание двух существ, сливающихся воедино, а разумею то одиночество, которое наступает после расставания, когда человек остается один, но когда одиночество его полно памятью о том прошлом, в котором он только что прожил. Он физически один, но духовно он еще вдвоем; и память эта, сладость этой памяти так сильна, что преобладает над самим сознанием одиночества. Приведу три стихотворения, - два мало известных, даже совсем неизвестных поэтов, а одно очень известного поэта.

Первое стихотворение князя Андрея Александровича Ливена:

Я сладко спал, а надо мною,
Как ангел чистый, вы крылом
Мне навевали чередою
За грезой грезу, сон за сном.
Но вы забылись, вы устали;
Крыло взмахнуло надо мной,
Проснулся я, вы улетали
С моей тревожною душой...
Другое стихотворение моего отца:
Ушла... Но целый день ты провела со мною, -
Наедине со мной.
Я все внимал тебе, не слухом, а душою, -
Раскрывшейся душой.
И слово каждое теперь я вспоминаю
Сквозь чудный голос твой,
И все мне кажется, я жемчуг собираю, -
Рассыпанный тобой. [44]

Третье стихотворение Аполлона Майкова:

Еще я полн, о друг мой милый,
Твоим явленьем, полн тобой!..
Как будто ангел легкокрылый
Слетал беседовать со мной.
И, проводив его в преддверье
Святых небес, я без него
Сбираю выпавшие перья
Из крыльев радужных его.

Это те минуты жизни, которые страшно колыхнут, - чтобы не кончились. Это единственная поверхность воды, в которой точность отражения становится дорога, как отражаемый образ. Вот почему страшно колыхнуть, страшно дунуть, страшно загасить; потухнет, и тогда настоящая одинокость и тоска внутри, и пустота вокруг...

Знаете, еще где и когда я испытывал то утверждение своего Я, которое дает нам одиночество? Ох, как это не похоже на то, о чем сейчас мы говорили!.. На маленьком каком-нибудь полустанке, когда приходилось дожидаться поезда. Знаете наш маленький в степи затерянный полустанок? Поезд только два раза в сутки проходит, - так дожидаться иной раз и часов восемь приходится. Никогда я не скучал в этих случаях. Да вообще "скука" есть один из видов бедности духовной. Я не скучал, я любил эти остановки жизни. И я уходил на другую сторону маленькой станции; не оставался на той стороне, где рельсы, а шел на крылечко; я ждал не на той стороне, где станция соприкасается с машиной, а на той, где она соприкасается с природой. И в то время как там из окна раздается стук телеграфного прибора (и о чем только может стучать в такой глуши этот всемирный сплетник, - телеграф?), в то время как в "зале" на буфете сохнут мухами засиженные пирожки, я смотрю на недвижную даль, и на маленькое движенье маленькой жизни около маленькой станции. Какая-то Жучка пугает петуха; какой-то ребенок, в рубашонке, босой, с хворостинной, пугает Жучку; мать какая-то, грязная, всклокоченная, с ведром в руке, пугает ребенка; сторож, грязный, но с намеком на мундир, выносит на крылечко рваное лукошко, что-то вытрясает, наводит какой-то порядок... Ветерок уносит пыль, играет рубашонкой ребенка, раздувает хвост петуха... Там, на той стороне иногда свисток... неизвестно, откуда... для чего... Подойдет, не торопясь, товарный поезд и стоит, стоит, - нехотя тронется, не торопясь уйдет... Ветерок шуршит акацией и играет листьями тополя, который он же, ветерок, когда-то поломал и изуродовал...

Овес колосится, рожь наливается, просо темнеет, лоснится... И все колышится, переливается над недвижной землей и под недвижным небом,

И птицы реют голосисто
В воздушной бездне голубой... [45]

Часами, часами мог просиживать, смотреть на расстилающуюся пустынность. Из этой пустынности глядела странная, себе доверяющая полнота. И перед спокойной простотой, перед тихою несложностью, перед первичностью этой полноты проходили в памяти далекие картины жизни сложной, искусственной, выдуманной. Рычащие чудовища грохочущих городов. Скользящая лоснистость нарядных паркетов; в атласных складках блеск камней и ложь улыбок... В загроможденности той жизни - сколько пустоты; в лоске ее сколько затасканности... И перед той измельченностью, перед мученой измятостью, - как широкополосна неисполосанная ширь колышимых полей!.. Часами мог просиживать, смотреть...

На той стороне звонок: поезд вышел с предыдущей станции...

Часами мог смотреть, как из буро-го проса поднявшись, Бог весть, как туда попавший, золотой подсолнух выглядывает, на ветерок смеется и, не мигая, смотрит солнцу прямо в лицо...

- Пожалте, барин, поезд подходит.

Кончилось одиночество...

Да, я не жалею о стоянках на полустанках. И такие минуты бывают нужны. Так вину нужно отстояться, чтобы войти в полноту своей прозрачности, а нам нужно бывает отстояться, чтобы войти в искренность своего самоосознания.

Уединение - богатство. Человек, неспособный к одиночеству или не ощущающий потребности в уединении, свидетельствует о скудости внутреннего содержания. Люди, не умеющие обойтись без "гостей", не знающие иных удовольствий, кроме покупок, умственно бедны. Ибо уединение не меньшее средство внутреннего обогащения и углубления, чем общение. Общение есть текучая вода, уединение есть недвижимая вода. Нарочно говорю "недвижная", а не "стоячая", - в слове "стоячая" по отношению к воде есть осуждение. Уединение - недвижимая вода, и в этом тоже много прелести. В текучести есть лишняя трата, много расплескивания; в уединении этого нет, там сжатость и бесшумность.

Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум...

Наконец, неподвижность яснее, прозрачнее, чем движенье. Хорошо бежать и журчать и нести в даль неясную, стремиться к неведомой цели. Но хорошо и в себе нести цель, не нестись самому и не журчать, и не стремиться, а в неподвижности сосредоточиться и на поверхности темного дна отражать глубину светлого дня.

В уединении есть сбережение. Каждое прикосновение людское есть как бы некое атмосферическое вытеснение в помещении, где и так уже тесно. Мне всегда кажется, что моя духовная квартира - луч солнца, а под вертикальным лучом даже и двоим не уместиться. Эгоизм? Гордость? Безразличие? Что это? Восторг или омерзение? Чего больше? Не все ли равно. Только согласиться, - утомителен звук человеческих голосов. Утомительно общество тех, кого зовем "себе подобными". И если бывает скучно "одинокество", если тяжела "одинокость", то дивно притягательно "уединение".

Понимаю поэта, воскликнувшего:

О мука, о любовь, о искушенья!
Я голову пред вами не склонил,
Но есть соблазн, - соблазн уединенья,
Его никто не победил. [46]

И в нем, в уединении, те крылья, к которым взывала душа другого поэта, прося, чтобы они

Ее спасали от насилья
Бессмертной пошлости людской. [47]

Везинэ 24 Сентября 1924.

(Продолжение в следующем номере.)

Указатель цитат

1. Тютчев	16. Тютчев	32. Фет
2. Жуковский	17. Пушкин	33. Еврипид
3. Тютчев	18. Фет	34. Малэрт
4. Державин	19. Фет	35. Гете
5. Тютчев	20. А.К.Толстой	36. Пушкин
6. Тютчев	21. Фет	37. Гете
7. А.К.Толстой	22. Фет	38. Гейне
8. Тютчев	23. Моисей	39. Тютчев
9. Пиндар	24. Тютчев	40. Бутурлин
10. Пушкин	25. Фет	41. Фет
11. Тютчев	26. Тютчев	42. Цветаева
12. Пушкин	27. А.Н.Островский	43. М.С.Волконский
13. Пушкин	28. Пушкин	44. М.С.Волконский
14. Тютчев	29. Фет	45. Тютчев
15. Пушкин	30. Фет	46. Гиппиус
	31. Фет	47. Тютчев

ИЗ КНИГИ ПРОРОКА ИСАИИ

Возьмет Господь у вас
Всю вашу плоть, отнимет трость и посох,
Питье и хлеб, пророка и судью,
Вельможу и советника. Возьмет
Господь у вас ученых и мудрейших,
Художников и искушенных в слове,
В начальники над городом поставит
Он отроков, и дети Ваши будут
Главенствовать над вами. И народы
Восстанут друг над друга, дабы каждый
Был нищ и угнетаем. И над старцем
Глумится будет юноша, а смерд -
Над прежним царедворцем. И падет
Сион во прах, зане язык его
И всякое деянье - срам и мерзость
Пред Господом, и выраженье лиц
Свидетельствует против них, и смело,
Как некогда в Содоме, величают
Они свой грех. - Народ мой! На погибель
Вели тебя твои поводыри!

1918

Иван Бунин. Стихотворения

НА ИСХОДЕ

**Ходили в мире лже-Месии, –
Я не прельстился, угадал,
Что блуд и срам их литургии
И речь – бряцающий кимвал.**

**Своекорыстные пророки,
Лжецы и скудные умы!
Звезда, что будет на востоке,
Еще среди глубокой тьмы.**

**Но на исходе сроки ваши:
Вновь проклят старый мир – и вновь
Пьет Сатана из полной чаши
Идоложертвенную кровь!**

6.II.16

**Никогда вы не воскреснете, не встанете
Из гнилых своих гробов,
Никогда на Божий лик не взглянете,
Ибо нет восстанья для рабов,
Темных слуг корысти, злобы, ярости,
Мести, страха, похоти и лжи,
Тучных тел и скучной, грязной старости:
Закопали - и лежи!**

27.VI.16

**Мы сели у печки в прихожей,
Одни, при угасшем огне,
В старинном заброшенном доме,
В степной и глухой стороне.**

**Жар в печке угрюмо краснеет,
В холодной прихожей темно,
И сумерки, с ночью мешаясь,
Могильно синеют в окне.**

**Ночь – долгая, хмурая, волчья,
Кругом все снега и снега,
А в доме лишь мы да иконы
Да жуткая близость врага.**

**Презренного, дикого века
Свидетелем быть мне дано,
И в сердце моем так могильно,
Как мерзлое это окно.**

30.IX.17

ИЗГНАНИЕ

Темнеют, свищут сумерки в пустыне.

Поля и океан...

Кто утолит в пустыне, на чужбине

Боль крестных ран?

Гляжу вперед на черное распятье

Среди дорог –

И простирает скорбные объятия

Почивший Бог.

(Бретань), 1920

Стихи Бунина называли “стихами прозаика”. Это **глубоко неверно.** Конечно, между прозой Бунина и его стихами очень много общего (иначе ведь и невозможно: каждый большой художник всегда целостно присутствует в каждом своем создании), но это общее раскрывается в стихах совершенно иначе, чем в прозе.

Обще Бунинской прозе и Бунинским стихам: 1) стереоскопическая свехрельефность описаний (в особенности описание природы), 2) ясность и точность смысловых содержаний, как отдельных слов, так и всех словесных построений, (смысловая сущность (эйдема) Бунинских слов, фраз, периодов, никогда не растворяется в звуках и напевностях (Фонема) [*термины Г.Г. Шпета*] его прикровенно мелодических стихов. Даже стихи о тумане у Бунина – кристаллы. “Русская весна” [стр. 27] и 3) особая аристократичность, – скупость на внешние эффекты, сдержанность слов и страстей, чувство меры и нелюбовь к педали. Этими тремя моментами сходство Бунинской прозы и Бунинских стихов, конечно, не исчерпывается, но меня сейчас интересует не столько сходство, сколько различие.

Оно есть и оно очень значительно. Чем пристальнее вчитываешься в стихи Бунина, тем глубже ощущаешь ту их пронзительную лиричность и глубокую философичность, которых в рассказах Бунина нет (которые вообще нерассказуемы). Излагать рецензентской прозой явленное в совершенных стихах мирозерцание поэта – вещь ненужная и невозможная. Возможно только указание на главные, постоянно возвращающиеся мотивы Бунинского лирического раздумья над сущностью мира и жизни.

В основе Бунинского мироощущения не лежит, а неустанно вращается некий трагический круг: предельно напряженное чувство жизни (отсюда зоркость его глаз – их у него две пары: орлиные на день, совиные на ночь); жажда жизни и счастья, неутолимость этой жажды:

*Снова накануне. И с годами
Сердце не считается. Иду
Молодыми, легкими шагами –*

И опять, опять чего-то жду. (Стр. 210.) – затем срыв, сгорьбь, смерть:

*Познал я..
Ненужную для мира боль и муку,
И эти одиноки часы
Безмолвного, полуночного бденья,
Презрения к земле и отчужденья*

Федор Степун. Ив. Бунин. Избранные стихи
О сб. “Ив. Бунин. Избранные стихи”, изд. “Современные записки”, Париж, 1929
Пол журн. “Современные записки”, N XXXIX, 1929, Париж

От всей земной бессмысленной красоты. (Стр. 222.) – и тут же упоение красотой скорби, восторг о бессмертии смерти:

*Зачем пленяет старая могила
Блаженными мечтами о былом?
Зачем зеленым клонится челом
Та ива, что могилу осенила,
Так горестно, так нежно и светло,
Как будто все, что было и прошло,
Уже познало радость воскресенья
И в лоне всепрощения, забвенья*

Небесными цветами поросло? (Стр. 221.) – затем снова срыв, скорбь, смерть, страх.

Я намеренно назвал вечно вращающийся круг Бунинского мировосприятия трагическим. Это большое слово не случайно. Не всякая борьба человека со своею долею, со своею судьбой есть уже трагедия, а лишь та борьба, что происходит на глазах у присутствующего, но до времени молчащего и не помогающего человеку Бога. Взор такого немого, скорбящего о человеке, но не протягивающего ему своей руки Бога все время чувствует Бунин где-то высоко над вечным миром и над своею брэнною судьбой.

*Весь мир молчит – затем,
Что в мире Бог, а Бог от века нем. (Стр. 195.)*

Порою кажется, что Богу самому тяжело это молчание, тяжела обреченность немого вслушивания в “тоску всех стран и всех времен”, что Он вот-вот заговорит с человеком, но это только кажется. Бог, сам Бог у Бунина молчит, лишь Слово его цветет божественною плотью мира, неизъяснимо-прекрасною скорбью человеческой жизни.

*Он (Бог) в ветре был, в моей душе бездонной, –
И содрогался синим блеском звезд
В лазури неба, чистой и огромной. (Стр. 57.)*

Эта пантеистическая тема в мироощущении Бунина очень сильна. Порою она достигает такого напряжения, что Бог становится чем-то почти враждебным миру.

*Все ритм и бег. Бесцельное стремление,
Но страшен миг, когда стремленья нет.*

Не знаю, верно ли слышу я тайную волю Бунинской мысли, но мне кажется, что если бы Бунину пришлось выбирать между

"бесцельным стремлением" мира и Богом вечного покоя, он выбрал бы стремление и отверг Бога.

*Темнеет зимний день, спокойствие и мрак
Нисходят на душу – и все, что отражалось,
Что было в зеркале, померкло, потерялось...
Вот так и смерть, да, может быть, вот так.*

.....

*Кто это заиграл? Чьи милые персты,
Чьи кольца яркие вдоль клавиш побежали?
Душа моя полна восторга и печали –
Я не боюсь могильной темноты. (Стр. 151.)*

"Восторг и печаль", вернее, восторг печали, что сильнее страха смерти, – какой это характерно Бунинский мотив – быть может, корень его религиозного восприятия трагедии жизни и мира.

Глубина религиозного сознания (об этом согласно свидетельствуют величайшие мистики всех эпох) всегда связана с предельным углублением памяти. Помня прошлое, внутренне зная тайну "вечной памяти", нельзя не верить в вечность. А что же может быть вечным, кроме Бога? Ничто с такою силою не свидетельствует о подлинной религиозности Бунинской музыки, как ее связанность с памятью. Что сущность поэзии в связи памяти с вечностью, эта изумительная мысль с прекрасной точностью почти что сформулирована Буниным в сонете, озаглавленном "В горах".

*Поэзия не в том, совсем не в том, что свет
Поэзией зовет. Она в моем наследстве,
Чем я богаче им, тем больше я поэт.
Я говорю себе, почувяв темный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
– Нет в мире разных душ и времени в нем нет. (Стр.155.)*

Тема памяти неоднократно повторяется в стихах Бунина. Но важно, конечно, не столько то, что Бунин часто говорит о памяти, сколько то, что почти все его стихи можно в известном смысле рассматривать как углубление сознания поэта через воспоминания, т.е. через перевоплощение в дальнее. Образы дали: в поэзии Бунина очень разнообразны. Ему одинаково близки и дали чужих стран ("Стамбул", "Иерусалим", "Малайская песнь"), и дали русской истории ("Святогор и Илья", "Святой Прокопий", "Князь Всеслав"), и дали дочеловеческого, звериного бытия человека (стихи о собаке, волке, пантере, олене). Не думаю, чтобы мое понимание всех этих перевоплощения в даль, как образов памяти, было натяжкой. Все отмеченные мною стихотворения при всей их изумительной пластичности и, на

поверхностный взгляд, почти внешней описательности, совсем не простые описания, а из глубины внутренней жизни извлеченные переживания.

В этом смысле весьма показательна разница между патетически-историософской "Италией" Брюсова и интимно-личной "Венецией" Бунина.

Страна, измученная страстностью судьбы,

Любовница всех роковых столетий... так форто-фортиссимо начинается "Дума" Брюсова. И совсем иначе у Бунина. Он просто приехал в Венецию, как к себе в усадьбу.

*Восемь лет в Венеции я не был...
Всякий раз, как вокзал минуешь
И на пристань выйдешь, удивляет
Тишина Венеции, пьянеешь
От морского воздуха каналов. (Стр. 107.)*

И это не случайность. Все "исторические" стихи начинаются у Бунина с такой же маленькой, почти случайной, глазом подобранной мелочи. Иерусалим с мака во рву на припеке, Стамбул с облезлых, худых кобелей. От этих случайностей Бунин легко и просто подымается к великому, историческому, к тому, что он сам именует "прахом веков". Но этот "прах веков" не высшее в исторических стихах Бунина. Высшее в этих стихах "опадение" исторического "праха веков" на "прах святынь", личных Бунинских святынь, - святынь его памяти.

*Как старым морякам, живущим на покое,
Все снится по ночам пространство голубое
И сети зыбких вант, - как верят моряки,
Что их моря зовут в часы ночной тоски,
Так кличут и меня мои воспоминанья... (Стр. 81.)*

И о зверях Бунин пишет так же, как о чужих странах и древних русских временах. Он и их вспоминает, только не исторической, а какой-то биологической памятью. Я не знаю, о себе ли, или об олене написал Бунин прекрасные строки:

*О, как легко он уходил долиной!
Как бешено, в избытке свежих сил,
В стремительности радостно-звериной
Он красоту от смерти уносил!*

Есть у Бунина строчка; в том сонете, который с нее начинается, до конца понятная и оправданная, но на все Бунинское творчество настолько нераспространяемая, что мне представляется необходимым сказать о ней несколько слов.

"Поэзия темна, в словах невыразима" (Стр. 155.)

Это сказано поэтом Буниным, но это сказано не о Бунинской поэзии. Бунин типичный представитель русского апполонизма.

Его стихи до конца вняты уху, уму и сердцу. Все несказуемое в них сказано... в размере его сказуемости. В стихах Бунина нет "зауми", "невнятицы", нету хаоса, ворожбы и крутения мистически-эстетической хлыстовщины (очень глубокой темы русского сознания), т.е. всего того, что так характерно для Блока и Белого, чем оба они перекликаются не только с Есениным и Пастернаком, но в известном смысле и с Гете второй части Фауста.

Указывая на это ограничение Бунинского дарования, я в конце концов указываю только на его совершенство, ибо вне определенных границ и граней возможно быть может свершение, но невозможно совершенство.

1. Из книги пророка Исайи.

Газ. "Киевская мысль", 12.12.1918. Перепечатывалось в парижской "Русской мысли" в 1924 г. и в нью-йоркском "Новом журнале" в 1960 году.

2. "Качаюсь, плескаюсь..." - "Новый журнал", N 59, 1960.

3. "Иконку, черную дощечку..."

"Новый журнал", N 89, 1967. Ранняя редакция - в одесской газете "Южное слово", N 98, 13/26.12.1919.

Долгое время печаталось в советской России с искажениями последней строки: "...убогий символ божьих сил", и заменой слова "затешил" на "ставил", смысл которых очевиден.

4. "Жизнь промелькнула как во сне..."

Впервые - в "Новом журнале", N 91, 1968.

5. "Никогда вы не воскреснете, не встанете..."

Впервые - в "Новом журнале", N 91, 1968.

6. Бретань.

Впервые - в "Новом журнале", N 57, 1959. Перепечатано без ссылки и с искажениями в "Литературной газете", N 66, 4.6.1960.

7. Ночь.

Впервые - в кн. "Бунин И.А. Весной, в Иудее. - Роза Иерихона". Нью-Йорк, Изд. им. Чехова, 1953.

Федор Августович Степун -

оригинальный мыслитель, блестящий эссеист.

Родился 6(19) февраля 1884 года в Москве. С трех лет - в Калужской губернии в небольшом имении отца, директора писчебумажной фабрики. По окончании среднего учебного заведения в Москве выехал в Германию. В течение семи лет изучал философию, историю, политическую экономию, государственное право, историю искусства и литературы в Гейдельбергском университете. Темой диссертации была философия В.Соловьева, которую он сблизил с философией немецкого романтизма.

Вернувшись в Россию в 1910, вместе с товарищем по университету С.И. Гессеном издавал философский журнал "Логос". В качестве члена "Бюро провинциальных лекторов" много ездил по стране. В октябре 1914 года - в 12 Сибирской стрелково-артиллерийской бригаде, потом - ранение и десять месяцев госпиталя, потом опять фронт. Делегирован в Петербург в качестве фронтового представителя во Всероссийский Совет Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов. Через некоторое время - начальник политического управления в военном министерстве у Савинкова. После революции при содействии Луначарского был назначен заведующим репертуаром и помощником режиссера "Показательного театра Революции".

Федор Степун:

"После постановок Софокла "Царь Эдип" и Шекспира "Мера за меру", я был снят с этого поста за явное непонимание сущности пролетарской культуры, с чем я не мог не согласиться, так как всегда считал, что таковой быть не может: культура требует языка, а у пролетариата, как и у каждого класса, есть только своя терминология..."

(*"Старые - молодым"*, Мюнхен, 1960).

В 1922 году был выдворен из России. С 26 по 37 годы - профессор кафедры социологии на культурно-философском отделении Дрезденского Политехникума. После войны приглашен на специально открытую для него кафедру русской истории и русской культуры в Мюнхенский Университет. Один из основателей и редакторов журнала "Новый град". Постоянный сотрудник многих эмигрантских журналов.

Умер в Мюнхене в 1965 году.

Автор следующих книг, изданных за рубежом:

- Из писем прапорщика-артиллериста, (роман); Москва, 1918; Берлин, изд. "Обелиск", 1923.

- Николай Переслегин. Роман в письмах. Париж, изд. "Современные записки", 1929 г.

- Бывшее и несбывшееся; Нью-Йорк, "Изд. им. Чехова"; 1956.

- Встречи. (Мирозерцание Достоевского. "Белая" и большевистская революция. Религиозная трагедия Л.Толстого. Бунин. Вяч.Иванов. Б.К.Зайцев. Памяти А.Белого. Советская и эмигрантская литература 20-х годов); Мюнхен, изд. "ТЭП", 1962.

- Основные проблемы театра; Берлин, изд. "Слово", 1923.

- Жизнь и творчество; Берлин, изд. "Обелиск", 1923.

НОЧЬ

**Ледяная ночь, мистраль
(Он еще не стих).
Вижу в окна блеск и даль
Гор, холмов нагих.
Золотой недвижный свет
До постели лег.
Никого в подлунной нет,
Только я да Бог.
Знает только Он мою
Мертвую печаль,
Ту, что я от всех таю...
Холод, блеск, мистраль.**

1952

**Качаюсь, плескаюсь – и с шумом встаю
Прозрачно-зеленой громадою.
В лазурь бы плеснуть моему острию,
До солнца! Но я уже падаю –
И снова расту и, качаясь, бегу –
Зачем? Чтобы радостно вскинуться,
Блеснуть, вознестись на пустом берегу –
И в смертную бездну низринуться!**

26.VIII.16 (ночью, засытая...)

**Иконку, черную дощечку
Нашли в земле – пахали новь...
Кто перед ней затеплил свечку,
Свою и горечь, и любовь?
Кто осветил ее своею
Молитвой нищего, раба –
И посох взял и вышел с нею
На степь, в шумящие хлеба.
И, поклоняясь вихрям знойным,
Стрибожьим внукам, водрузил
Над полем пыльным, беспокойным
Ее щитом небесных сил?**

13. XII. 19

**Жизнь промелькнула как во сне.
И вот уж утро раннее
Виски посеребрило мне,
И стала даль туманнее.
А все в душе восторг и боль
И все вспоминается,
Как горьких слез тепло и соль
Со зноем уст мешается.**

22.VII.16

БРЕТАНЬ

**Ночь ледяная и немая,
Пески и скалы берегов.
Тяжелый парус поднимая,
Рыбак идет на дальний лов.
Зачем ему дан ловчий жребий?
Зачем в глухую ночь зимой
Простер и Ты свой невод в небе,
Рыбак нещадный и немой?
Свет серебристый, тихий, вечный.
Кресты погибших. И в туман
Уходит плащаницей млечной
Под звездной сетью океан.**

**Ты жила в тишине и покое.
По старинке желтели обои,
Мелом низкий белел потолок,
И глядело окно на восток.**

**Зимним утром, лишь солнце всходило,
У тебя уже весело было:
Свет горячий слепит на полу,
Печка жарко пылает в углу.**

**Книги в шкапе стояли, в порядке
На конторке лежали тетрадки,
На столе сладко пахли цветы...
„Счастье жалкое!“ – думала ты.**

18.X.38

**Под окном бродила и скучала,
Подходила, горестно молчала...
А ведь я и сам был рад
Положить перо покорно,
Выскочить в окно проворно,
Увести тебя в весенний сад.**

**Там однажды я тебе признался, –
Плача и смеясь, пообещался:
„Если встретимся в саду в раю,
На какой-нибудь дорожке,
Поклонюсь тебе я в ножки
За любовь мою“.**

6.XI.38

Стихи Бунина – лучшее что было создано русской музой за несколько десятилетий. Когда-то, в громкие петербургские годы, их заглушало блестящее бряцание модных лир; но бесследно прошла эта поэтическая шумиха, – развенчаны или забыты „слов кощунственные творцы“, нам холодно от мертвых глыб брюсовских стихов, нестройным кажется нам тот бальмонтовский стих, что обманывал новой певучестью; и только дрожь одной лиры, особая дрожь, присущая бессмертной поэзии, волнует, как и прежде, волнует сильнее, чем прежде, – и странным кажется, что в те петербургские годы не всем был внятен, не всякую изумлял душу голос поэта, равного которому не было со времен Тютчева. Полагаю, впрочем, что и ныне среди так называемой „читающей публики“ – особенно в той части её, которая склонна видеть новое достижение в безграмотном бормотании советского пиита, – стихи Бунина не в чести или, в лучшем случае, рассматриваются, как не совсем законная забава человека, обреченного писать прозой. Оспаривать такой взгляд нет нужды.

Среди „избранных стихов“ Бунина нет многих, которые хотелось бы перечислить. Они печатались вместе с рассказами автора, в тени его прозы, они есть в старых журналах в приложениях к „Ниве“, в отдельной книжке, бедно и неряшливо изданной той же „Нивой“. Всё это хотелось бы видеть собранным, всякая строка Бунина достойна быть сохраненной. Но спасибо и за этот сборник (кстати сказать, очень изящный по внешности), за эти двести бунинских стихотворений.

Легко громить стихотворца, легко выуживать из его виршей смешные ошибки, чудовищные ударенья, дурные рифмы. Но как говорить о творениях большого поэта, где всё прекрасно, где все равномерно, как выразить прелесть и глубину его стиха, новизну и силу его образов, как выписывать цитаты, – когда за цитатой целиком тянется на бумагу и все стихотворение? И еще есть трудности: музыка и мысль в бунинских стихах настолько сливаются в одно, что невозможно говорить отдельно о теме и о ритме. Пьянеешь от этих стихов, и жаль нарушить очарование пустым восклицанием восторга.

Вот я прочел эту книгу, отложил ее и начинаю вслушиваться в тот дрожащий, блаженный отзвук, который она оставила. И постепенно различаю особый бунинский лейтмотив, наиболее простое выражение которого – повторение, томное повторение одного слова: „...пойте, пойте, сверчки, мои товарищи ночные...“ „И зал плывет, плывет в протяжных напевах счастья и тоски...“ „Воркуя, ходят, ходят турмана...“; „Звон бубенцов течет, течет...“ И найдя этот ритмический

Владимир Набоков. Литературное обозрение
 О сб. „И. Бунина. Избранные стихи“, изд. „Современные записки“, Париж 1929
 Пис гез., „Рубль“, 22.5.1929, Берлин

ключ, уловив этот звук, я уже чувствую его дальнейшее развитие, - музыкальное перечисление действий или вещей, почти заклинательное восклицание, две строки, начинающиеся одинаково: "Только звон твой утренний, София, только голос Киева..."

Основное буниновское настроение, соответствующее этому основному ритму, - есть, быть может, самая сущность поэтического чувства творчества вообще, самое чистое, самое божественное чувство, которое может человек испытать, глядя на роспись мира, слушая его звуки, вдыхая его запахи, проникаясь его зноем, сыростью, холодом. Это есть до муки острое, до обморока томное желание выразить в словах то неизъяснимое, таинственное, гармоническое, что входит в широкое понятие красоты, прекрасного. "О, мука мук", - сам говорит поэт, - "что надо мне, ему (голому клену "на пустоте лазоревой и чистой"), щеглам, листве? И разве я пойму, зачем я должен радость этой муки, - вот этот небосклон, и этот звон, и темный смысл, которым полон он, вместить в созвучия и звуки?" Величие Бунина, как поэта, и заключается в том, что он эти звуки находит - и стих его не только дышит этой особой поэтической жаждой - все вместить, все выразить, все сберечь, - но жажду эту утоляет. Возвращаясь к понятию "прекрасного", можно отметить, что для Бунина "прекрасное" есть "преходящее", а "преходящее" он чувствует, как "вечно повторяющееся". В его мире, как и в ритме его стиха, есть сладостные повторения. А мир этот неслыханно обширен. В стихотворении "Собака" (начинающемся так характерно: "Мечтай, мечтай..."), сам поэт говорит, что он "как Бог, обречен познать тоску всех стран и всех времен". Русскую усадьбу и русскую сказочную глушь - "Русь киевских князей, медведей, лосей, туров"; долины Иордана и "пыльную дорогу в Назарет"; Итальянские глицинии и руины, и "огни и песни в Катане..."; "Забывший портик Феба" на острове, в Эгейском море; Нил и "живой и четкий след ступни", сохранившийся на голубом и тонком слое пыли и на пять тысяч лет умноживший жизнь, данную поэту; Босфорский дым, смешанный с холодом воды, пахнувший медом и ванилью; Индийский океан, где "от звезды к звезде шатался великой тростью зыбкий фок..." и "окраина земли" - Цейлон, - все прочувствовал Бунин, все передал. "Земля, земля! Несчетные следы я на тебе оставил... Но нет, во век не утолю я муки - любви к тебе!" И буниновские стихи о чужих странах не просто "описательные стихи" и не те "восточные мелодии", которыми так беззвучно щеголяют второстепенные поэты. Никакой "экзотики" в них нет. Мечту чужого народа, чужую легенду и незаметную для туриста подробность пейзажа Бунин чувствует так же живо, так же пронзительно, как "скрип прогнивших половиц" в родной усадьбе, сырой сад, озаряемый ночной молнией, или простую, грубоватую русскую сказку, - которую он, как никто, умеет оживить творческим дыханием. Этому

богатству тем соответствует богатство ритмов. Всеми размерами, всеми видами стиха Бунин владеет изумительно. Его сонеты, - по блеску и естественности рифм, по той легкости и незаметности, с которыми его мысль облекается в эту столь сложную гармонию, - бунинские сонеты - - лучшие в русской поэзии. Необыкновенное его зрение примечает грань черной тени на освещенной луной улице, особую густоту синевы сквозь листву, пятна солнца, скользящие кружевом по спинам лошадей, - и, уловляя световую гармонию в природе, поэт преображает ее в гармонию звуковую, как бы сохраняя тот же порядок, соблюдая ту же череду. "Мальчишка негр в турецкой грязной феске висит в бадье, по борту, красит бак, - и от воды на свежий красный лак зеркальные восходят арабски..."

Я говорил уже о том, что прекрасным для Бунина является "преходящее" (поэтому, столько у него стихов, посвященных гробницам, развалинам, пустыням...). Воскликнув "о, миг счастливый!", он добавляет "о, миг обманной!" Петух на церковном кресте, - который "плывет, течет, бежит ладьей" (чудесное бунинское повторение глаголов!) "поет о том, что все обман, что лишь на миг судьбою дан и отчий дом, и милый друг, и круг детей, и внуков круг..." На гробнице Рахили нет "ни имени, ни надписей, ни знаков..."

Казалось бы, что такое глубокое ощущение преходящего должно породить чувство безмерной печали. Но тоска больших поэтов - счастливая тоска. Ветром счастья веет от стихов Бунина, хотя не мало у него есть слов унылых, грозных, зловещих. Да, все проходит, - но: "Земля, земля! Весенний сладкий зов, ужель есть счастье даже и в утрате?" И Христос так говорил Матери (скорбящей о том, что одни цветы сгубит зной, другие срежут косами): "Мать! не солнце, - только землю тьма ночная кроет: смерть не семя губит, а срезает лишь цветы от семени земного. И земное семя не иссякнет. Скосит смерть - любовь опять посеет. Радуйся, любимая! Ты будешь утешаться до скончания века!" Все повторяется, все в мире - повторение, изменение, которым "неизменно утешается" поэт. Этот блаженный трепет, этот томно повторяющийся ритм есть, быть может, главное очарование стихов Бунина. Да, - все в мире обман и утрата, где были храмы, - ныне камни да мак, все живое угасает, все превращается в атласный прах на плитах склепа, - но не мнима ли сама утрата, если мимолетное в мире может быть заключено в бессмертный - и потому счастливый - стих?

В. С и р и н

ПЕТУХ НА ЦЕРКОВНОМ КРЕСТЕ

**Плывет, течет, бежит ладьей,
И как высоко над землей!
Назад идет весь небосвод,
А он вперед – и все поет.**

**Поет о том, что мы живем,
Что мы умрем, что день за днем
Идут года, текут века –
Вот как река, как облака.**

**Поет о том, что все обман,
Что лишь на миг судьбою дан
И отчий дом, и милый друг,
И круг детей, и внуков круг,**

**Что вечен только мертвых сон,
Да Божий храм, да крест, да он.**

12.IX.22

Амбуаз

Ты странствуешь, ты любишь, ты счастлива...

Где ты теперь? – Дивуешься волнам

Зеленого Бискайского залива

Меж белых платьев и павам.

Кровь древняя течет в тебе не даром.

Ты весела, свободна и проста...

Блеск темных глаз, румянец под загаром,

Худые милые уста...

Скажи поклоны князю и княгине.

Целую руку детскую твою

За ту любовь, которую отныне

Ни от кого я не таю.

IX.1918

Галерея
МАНЕЖ

-MANEGE- GALLERY

Галерея "Манеж"

- классическое и современное искусство.

- Консультации и экспертиза
- Организация ежегодной выставки "Возрождение традиции русского Салона"
- Некоммерческие выставки из частных коллекций

103009, Москва, Манежная пл., 1.
Тел. 202 8252,
факс 230 2453

Manegnaja pl., 16 Rossija, 103009, Moscow
Tel. 202 8252,
Fax 230 2453

ВНИМАНИЮ

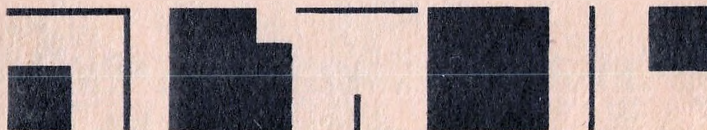
АВТОРОВ

ИЗДАТЕЛЕЙ

ПОЛИГРАФИСТОВ

ИНОСТРАННЫХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ



ПОДГОТОВИТ К ПЕЧАТИ книжно-журнальные издания, фотоальбомы от рукописи до тиражирования с использованием современной компьютерной техники и при необходимости финской полиграфии. **ВЫПОЛНИТ** все виды

рекламных работ на русском и иностранных языках с использованием оперативной полиграфии, разработает фирменный стиль, товарный знак, комплект деловой документации. **ОБЕСПЕЧИТ** все виды фотоуслуг для

полиграфического воспроизведения и оформления выставок. **ИЗГОТОВИТ** в 10-ти дневный срок на любом

языке приглашения, деловые бланки, поздравительные адреса, визитные карточки по заказам предприятий, организаций, посольств, консульств и иностранных фирм.

ВЫПОЛНИТ все виды почтовых отправок, обеспечив страхование.

Оплата в рублях или СКВ по перечислению.

Издательско-производственное объединение „АВТОР“

123423, Москва, просп. маршала Жукова, д.39, корп.1

Тел.: 947-90-96; 947-88-88 Факс: 943-00-90

Цена 18 руб.

Редакция благодарит
МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ РФ
за финансовую поддержку журнала

ЭРАБАНК –
универсальный коммерческий банк экономического развития
обслуживает Редакцию „ДРУГИЕ БЕРЕГА“
на спонсорских началах

Председатель Правления – *Александр СОКОВ*
Главный бухгалтер – *Любовь МОРЕВА*

Адрес банка: 1173033, Москва, Ленинский пр., д.57